

СИБИРСКИЕ ОГНИ



www.сибирскиеогни.рф

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Учредитель: Союз писателей России

Редакционная коллегия:

М.Н. АКИМОВА (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

Э.И. РУСАКОВ

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

М.Н. ЩУКИН

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

2 февраль 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил ЧВАНОВ. Серебристые облака. Роман-реквием.	3
Ким БАЛКОВ. Нетленный. Рассказ.	110
Виталий КРЕКОВ. Царство божие. Рассказ.	120
Александр ГРАНОВСКИЙ. Демогоргон. Рассказ.	128

ПОЭЗИЯ

Юрий КАЗАРИН. Белые-белые птицы. Стихи.	102
Александр ОРЛОВ. Солнце возле храма. Стихи.	117
Нина СТРУЧКОВА. «Самое лучшее платье надену...» Стихи.	124
Виктор ПЕТРОВ. Два стихотворения. Стихи.	136

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир КАРПОВ. Настоящие сибирские мужики.	140
Геннадий АТАМАНОВ. Мои родные старoverы. <i>Окончание.</i>	143
Дмитрий НЕЧИПУРЕНКО. Воспоминания.	161

СИБИРСКИЕ ОГНИ. ДЕБЮТ

Игорь ПРИНЦЕВ. Эу. Рассказ.	173
Андрей ЛИНЕНБУРГ. Звуки-сострадалцы. Стихи.	176

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Татьяна ЛАПТЕВА. О поэзии Станислава Золотцева. <i>Два эссе.</i>	178
Анатолий САЗЫКИН. Литературный портрет шориянки.	185

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

Юрий ТАТАРЕНКО. Мимо статуй и фресок. Стихи.	137
---	-----

Книжная полка

Зульфия АЛЬКАЕВА. «Ты дал мне дар: живое сердце...» (О книге Станислава Минакова «Невма»)	189
---	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Учредители: Союз писателей России и Администрация Новосибирской области.

Главный редактор: Берязев В.А.

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

Роман-реквием

Многими скорбями надлежит нам
войти в Царство Божие.

Деян. 14, 22

Не хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы вы не скор-
бели, как прочие, не имеющие надежды.

1 Фес. 4, 13

Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Я уже неделю жил в Париже...

Говорят: «Увидеть Париж — и умереть!» В другое время я, может, был бы счастлив, что, раньше даже не мечтая о нем, вдруг оказался в Париже. Но сейчас я не испытывал ни капли радости оттого, что нахожусь в Париже. Я не чувствовал с Парижем никакого родства, его красота не трогала мою душу, она была для меня чужой, холодной, даже мертвой. В своих прежних дорогах по другим странам, если не сразу, то через какое-то время, я чувствовал если не родство, то какую-то душевную близость с городами, в которых оказывался, с Софией, Римом, Варшавой, Краковом, о Белграде особый разговор... Разумеется, с красавицей Прагой, хотя Прага в моем сознании, вопреки разуму, существует как бы отдельно от братьев-чехов. Я знаю, что не прав, нельзя судить прямолинейно-односторонне, но я не могу простить их неоднократного предательства, начиная с нашей Гражданской войны, которую они практически спровоцировали, когда, пленными солдатами кайзеровской Германии оказавшись в России, где к ним относились как к братьям-славянам, повели себя в поверженной революцией стране практически как оккупанты, ничем, пожалуй, не уступая в мародерстве немцам в Великую Отечественную войну. Я не могу им простить, что за возможность втихую вывезти российский золотой запас они сдали большевикам Колчака и потом безбедно на это золото жили до самой Второй мировой войны, не очень-то сопротивляясь гитлеровской аннексии, и две трети танковых армий, брошенных Гитлером на Россию, были изготовлены на чешских заводах. Еще много чего я не могу им простить. Так что прекрасная Прага существовала для меня как бы сама по себе, а чехи, словно тараканы в ней, сами по себе. Конечно, я не прав, потому что и мы по отношению к ним не всегда вели себя по-родственному, достойно, но ничего не могу с собой поделать. Не найдя в Праге путеводителя на русском, я купил на немецком, в списке достопримечательностей прежде всего почему-то перечислялись многочисленные синагоги. Я находил род-



ство даже с Дамаском, в котором оказался в разгар американских бомбардировок Ирака: в стремительно сгущающихся сумерках, вглядываясь в силуэты минаретов на закатном небе, я совсем не как в чужие вслушивался в перекликающиеся голоса муэдзинов. Но с Парижем я не чувствовал никакого душевного родства.

И с самими французами, например, в отличие от итальянцев, я не чувствовал никакого душевного родства, впрочем, французов в Париже я почти и не видел. По крайней мере, в районе, в котором я жил, настоящих французов было меньше, чем негров и арабов, которых несколько разбавляли туристы да редкие странники вроде меня, мечущиеся по Земле и не находящие себе на ней места. А если встать пораньше, то вообще можно было подумать, что ты не в Париже, а где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке.

Спал я плохо, можно сказать, что вообще не спал, потому что измученной душой был далеко от Парижа, и потому вставал очень рано и выходил в город, в котором, как я уже говорил, в эти часы сновали, словно муравьи, одни только негры и арабы: рабочие коммунальных служб, ночных кафе и ресторанов, мусорщики... Я смотрел на еще сонный город со знаменитого Монмартра, недалеко от которого жил, и даже начинал чувствовать нечто вроде родства с Парижем, пока не вылезала из тумана эта самая Эйфелева башня, являющая собой яркий пример того, как с помощью назойливого пошлого пиара можно всего лишь за несколько десятилетий изменить понятие о красоте у целого народа, если не сказать — у всего мира, когда символом древнего, наверное, на самом деле прекрасного города становится нелепое подобие нефтяной вышки или гигантской высоковольтной опоры линии электропередачи...

Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Давно живущий в Париже, — нет, не как потомок несчастных русских беженцев в Гражданскую войну, а как международный сотрудник ЮНЕСКО, — и, разумеется, влюбленный в него, любезнейший Владимир Николаевич Сергеев вызвался показать мне ночной Париж. Полагаю, он специально готовился к этой поездке и, как только мы въехали в старый город, нетерпеливо спросил меня:

— Вы не будете против, если я включу Джо Дассена?

— Конечно, — сказал я, внутренне вздрогнув и напрягшись.

Разумеется, он включил «Если б не было тебя...». Он включил не что иное, как то, что сейчас особенно рвало мою душу, но откуда ему было знать об этом. Да еще взялся переводить мне на русский, а я из деликатности вынужден был скрывать, что знаю слова песни, что каждая строчка больно режет меня по сердцу: «Если б не было тебя, зачем, скажи, тогда б я жил? По земле я бродил бы, скорбя, без надежды и без крыл...» Эта песня всегда трогала меня, но до последнего времени я воспринимал ее отвлеченно, не принимая на свой счет.

А милейший Владимир Николаевич включал ее снова и снова, стараясь доставить мне удовольствие. Откуда ему было знать, что эта песня Джо Дассена сейчас имела ко мне самое прямое отношение, наполнялась самым прямым и жестоким смыслом? Я здесь, в Париже, если не в самом красивом, то, несомненно, в одном из красивейших городов мира, а дома у меня осталась, доживая последние месяцы, умирая от рака, жена, и я остаюсь один в этом все более непонятном для меня мире, со ставшими еще более тупиковыми вопросами: зачем существует он сам, этот мир, и зачем существую в нем я, зачем в нем существовала ты, когда все вдруг разом обрывается... И остаюсь я не просто один, я знаю, что оставшаяся жизнь будет для меня постоянным ощущением неискупимой вины перед тобой, хотя, наверное, я виноват перед тобой не больше, чем ты передо мной. Но зачем Бог из нас двоих оставляет на этом свете меня? В наказание? Впрочем, может у него на этот счет еще не все решено...



«Если б не было тебя, то для кого тогда б я жил?.. Я жив, пока ты есть...» — пел уже ушедший в мир иной Дассен, которого в России знают и любят больше, чем во Франции. Для французов это необъяснимая загадка, а объяснение этому, может, простое: в его песнях, о чем, скорее всего, он сам не подозревал, подспудно выразилось если не русское, то хотя бы российское происхождение его предков. Я видел, что Владимир Николаевич, наблюдая сбоку за моим бесстрастным лицом, если и не обиделся на меня, то был, мягко говоря, удивлен. Он ожидал от меня если не бурного восторга, то хотя бы какой-то реакции, какого-то слова, хотя бы молчаливой улыбки, а я, то и дело сглатывая спазмы, которые перехватывали горло, каменно молчал, тупо уставившись в лобовое стекло автомобиля, вернее, в асфальт перед ним, и совершенно не обращал внимания на окружающие дома, площади, соборы, фонтаны, я почти не слышал его... Да, своим поведением я, конечно же, обижал его. Но я почему-то не мог ему сказать, что эта песня, которую он включал снова и снова, имеет ко мне самое прямое и страшное отношение, что за тысячи километров отсюда медленно, но неотвратимо умираешь ты, что ты еще у меня есть, но в то же время тебя уже нет. Но почему-то я не хотел, точнее, не имел права сейчас ему об этом сказать, чтобы не испортить его романтически-возвышенного настроения и чтобы мне не пришлось объяснять, почему в такую жуткую для себя пору я оказался здесь, в Париже, ведь я, по всему, должен быть в эти последние дни рядом с тобой. А он кружил и кружил по ночному прекрасно-холодному Парижу, снова и снова включая Дассена...

Все было бы, может, не столь жутко, если мы были бы счастливы друг с другом, если бы у нас были дети, внуки, если бы ты оставила свое продолжение на Земле, а ты уходишь из этой жизни безродной, не испытав счастья и горя материнства, и в этом была моя главная и страшная вина перед тобой, которой, я знаю, нет прощения...

Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Мой друг летчик-космонавт Виктор Петрович Савиных однажды подарил мне свою сугубо научную книгу «Серебристые облака», с подзаголовком «Взгляд из космоса». Принимая книгу, я еле сдержал свое волнение, сам факт дарения показался мне не случайным, даже мистическим, потому что название книги разбудило во мне дремлющие, но время от времени ярко и томительно вспыхивающие смутные воспоминания-ассоциации, душевные потрясения детства, связанные с этими самыми серебристыми облаками.

У меня даже защипало в глазах, зачастил пульс. Придя домой, я сразу же раскрыл книжку, отбросив в сторону все свои дела: «Серебристые облака были обнаружены в 1885 году почти одновременно Т. Бакгаузом в Киссингене 8 июня, В. Лаской в Праге 10 июня и московским астрономом В. К. Цераским 12 июня. Летней ночью 12 июня 1885 г. В. К. Цераский, возвращаясь домой из обсерватории, по привычке посматривал на небо и вдруг заметил над Пресней, там, где только что были звезды, яркие, с голубым отливом, призрачные облака. Они были настолько яркими, что блеск от них ложился на мостовую. В. К. Цераский назвал обнаруженное им явление ночными светящимися облаками. Впоследствии немецкий ученый О. Иессе дал им более поэтичное и, может быть, потому прижившееся название — “серебристые облака”. В. К. Цераский очень образно описал увиденное им: “Это настолько блестящее явление, что совершенно невозможно составить себе о нем представление без рисунков и подробного описания. Некоторые длинные, ослепительно серебристые полосы, перекрещивающиеся или параллельные горизонту, изменяются довольно медленно и столь резки, что их можно удерживать в поле зрения телескопа... Отличаясь видом от прочих облаков, они бросались в глаза, прежде всего, своим блеском. Облака эти ярко блистали в ночном небе чистыми,



белыми, серебристыми лучами, иногда с легким голубым отливом... Бывали случаи, что от них становилось светло, стены зданий весьма заметно озарялись и неясно видимые предметы резко выступали...».

Далее в книге Виктора Петровича следовало перечисление различных гипотез, пытающихся объяснить происхождение серебристых облаков, временами зависающих над Землей на высоте примерно 80 километров.

В первый раз я увидел серебристые облака (или обратил на них внимание), кажется, после смерти деда, которого любил, как мне казалось, даже больше отца и матери. Правда, тогда я не знал, что у этих облаков есть свое название, как не знал и того, что они являются в своем роде необыкновенными. В неизбывном детском горе своем, при живых родителях, когда у всех моих сверстников отцы не вернулись с войны, и я слыл среди них счастливым, поздним вечером, снедаемый отчаянием и одиночеством, я вышел за околицу на обрыв реки, к притягивающей к себе, словно магнит, воде, и вдруг они засветились над горизонтом, еще больше тревожа и одновременно успокаивая душу, и почему-то я знал, что они засветились именно для меня. Может, они светились и раньше, а я, убитый горем, только сейчас поднял глаза? Или как раз они заставили оторвать от воды взгляд?

После этого случая мне не единожды в детстве приходилось видеть серебристые облака, почему-то всегда, когда мне было особенно горько, когда я особенно страдал от одиночества, тоскуя по чему-то или по кому-то неведомому. Я по-прежнему не знал, что у них есть название, что они своей необычностью волнуют не только меня, тем более, что они волнуют ученых, но они всегда почему-то странно беспокоили и в то же время успокаивали мою душу. Со временем, повзрослев и переехав жить в миллионный город, я не то чтобы совершенно забыл о них, но больше не замечал, или они исчезли совсем, или исчезли для меня, больше не нужные моей душе, может быть, я мог жить уже без них, а скорее, теперь их глушил искусственный электрический свет, отрывающий людей по ночам от неба, от звезд.

И вдруг эта книга Виктора Петровича Савиных! Я вдруг все вспомнил: как они не просто волновали меня в детстве, а, как тогда мне казалось, спасали от одиночества и, может, даже от последнего опрометчивого непоправимого шага. Я вдруг все вспомнил, в том числе то, о чем не хотелось вспоминать, что я специально постарался забыть, и несколько дней ходил взволнованный воспоминаниями, благодарностью к серебристым облакам и чувством вины перед ними, что я так легко их забыл, и почему-то я знал, что они тогда, в детстве, светились если не именно для меня, то в том числе для меня. И тогда же родилась тревога: Виктор Петрович мог и не догадываться, что подарил мне свою тоненькую книжицу не случайно, может, это своего рода напоминание серебристых облаков о своем существовании, в преддверии каких-то важных и печальных для меня событий, когда мне, как в детстве, никто и ничто не сможет помочь, кроме серебристых облаков... Летчик-космонавт В. И. Севастьянов, летавший в космос раньше Виктора Петровича, еще в 1970 году, записал в корабельном боржурнале: «Что меня поразило при наблюдении серебристых облаков, кроме того, что они так восхищают и притягивают наблюдателя своей необычной картиной? Меня поразили их блеск (матовый, но очень сильный, я назвал его “перламутровым”), их протяженность (мы наблюдали их над Камчаткой, а на следующем витке — от Урала до Камчатки, а затем в эти же сутки — над Канадой), их тонкая лазурная структура, похожая на блеск перьев лебедя». А. А. Леонов, летавший в космос еще раньше, в марте 1965 года, назвал серебристые облака «голубым поясом Земли» и позже не однажды рисовал их на своих картинах.

Почему серебристые облака были обнаружены только в 1885 году? Неужели до того времени они вообще не существовали? Как бы в подтверждение этого предположения: они были обнаружены в разных точках планеты практически в одно время: в июне 1885 года... Может быть, к этому времени в атмосфере Земли



произошло накопление чего-то — своего рода критической массы? Не может же быть, чтобы до этого на них просто не обращали внимания?

Я залпом, не отрываясь, прочитал книжку Виктора Петровича, но ответа не нашел. Сугубо научная, сухая, наполовину состоящая из схем и диаграмм, она снимала с серебристых облаков покров таинственности и приводила к выводу, что они не что иное, как всего лишь «спорадический плазменный слой в летней полярной мезопаузе», и что они «образуются в результате конденсации водяного пара на мельчайших пылинках в области самого глубокого минимума температуры во всей толще атмосферы». Правда, вывод этот был с некоторой оговоркой, что «до последнего времени остается нерешенным вопрос об источниках паров воды и о ядрах конденсации, хотя можно предположить, что проблему генезиса серебристых облаков можно решить на основе притока в атмосферу Земли огромного количества (порядка 20 в одну минуту) снежных ядер мини-комет», и что «для подтверждения и уточнения этих представлений необходима организация комплексных экспериментов».

И хотя книга Виктора Савиных вроде бы ясно и убедительно с точки зрения физики и метеорологии объясняла происхождение серебристых облаков, ее выводы не то чтобы вызвали у меня сомнение, но было ощущение, что они лишь поверхностно объясняют глубинную суть серебристых облаков. Более того, было такое чувство, что эти выводы как бы специально кем-то подсказаны ученым, чтобы они, якобы докопавшись до их сути, успокоились, чтобы по какой-то причине до поры до времени скрыть от нашего несовершенного ума, а главное — несовершенной души, их истинную сущность. Тем не менее книга гвоздем застряла у меня в голове. Если умом я — с некоторым разочарованием — согласился с ее выводами, то моя душа не то чтобы не приняла ее выводов, но она чувствовала, что они объясняют только внешнюю суть явления, скрывающую, как яичная скорлупа, зародыш внутри нее. Но я был благодарен этой книге, что она разбудила в моей очерствевшей душе детские воспоминания о встречах с необыкновенными облаками, которые спасали меня в минуты самого беспросветного детского и юношеского одиночества и сиротства и, может, даже однажды спасли от самоубийства. Что касается ученых, они любят ясность, если ее нет, они ее придумывают, в конце концов, если их устраивает такое, может, подсказанное кем-то объяснение происхождения серебристых облаков, пусть они так и считают. Со странным чувством я поставил тоненькую книжицу на полку, зажав ее между другими книгами, но неясная тревога осталась жить во мне.

Я пытался объяснить себе причину воздействия серебристых облаков на мою детскую душу, я словно пытался вспомнить утром печальный, но светлый сон, но мысль моя, вроде бы уцепившись за краешек этого объяснения, тут же наткнулась на подобие кодового замка и срывалась, словно кто-то отсекал ее от того, что по каким-то причинам мне еще не дано или уже не дано знать. Книга Виктора Петровича как бы вернула меня в детство, и я не знал, быть ему за это благодарным или нет. Я даже намеревался позвонить Виктору Петровичу и спросить: почему он, картограф и оптик, вдруг занялся серебристыми облаками? Какие он испытывал при встрече с ними чувства, что осталось за пределами его ученой книги?

Через некоторое время после этого я ехал поздней ночью через Уральские горы. Влетел-въехал на большой скорости на очередной хребет — и вдруг они повисли передо мной над близким окомом. А потом как бы даже резко приблизились — и висели теперь уже чуть ли не надо мной: то впереди, то слева, то справа, в зависимости от поворота дороги, душа замирала в какой-то мучительно-сладкой, мучительно-тревожной истоме, серебристые облака, мягко переливаясь изнутри перламутром, словно что-то говорили, о чем-то предупреждали, но я не понимал — что говорили и о чем предупреждали. Силился понять, вот-вот вроде пойму, но все равно не понимал, и от этой натуги даже звенело в ушах, и от этого непонимания



почему-то хотелось закричать или заплакать, и в то же время засмеяться сквозь слезы. Свернув на первый грунтовый перекресток, я остановил машину, мне ничуть не было страшно одному среди глухих гор в глухой ночи, под повисшими надо мной странными, будто живыми и говорящими, облаками, я чувствовал, я был уверен, что сейчас они, как тогда, в детстве, что-то говорят — именно мне и что-то очень важное для меня, мне казалось, что за десятки, а может, за сотни километров в этой странной ночи больше, кроме меня и кроме них, никого нет. И тревожно было, что я их языка не понимаю. Нет, это был не лунный свет, хотя Луна в полдиска тоже висела над хребтами, ее томительный свет тоже по-своему беспокоил душу, но это было совсем другое. Мгновением мелькнула простая и ясная мысль, не то чтобы объясняющая природу серебристых облаков, но приближающая к объяснению, но тут же, чуть зацепившись, не удержавшись, унеслась вверх. И тут я вдруг вспомнил (не приснилось же мне во сне, не придумал же я все это?!), как однажды в детстве я разговаривал с ними, а потом как бы заснул этот разговор, или кто-то заставил забыть его. Тогда они, как и сейчас, молча разговаривали со мной, но тогда мне был понятен их язык. Одиноким при живых родителях, мучающийся от их разлада, я часто уходил за деревню, на берег текущей, я уже тогда понимал, из Вечности в Вечность реки, и они иногда, мне казалось, когда мне было особенно горько, вдруг как бы специально для меня повисали над горизонтом, странно освещая ночную Землю, и бредили мою детскую и одновременно уже не детскую душу, словно пытались успокоить меня или давали знать о другой жизни, может, даже не земной, и хотелось плакать неизвестно отчего, и я уже не чувствовал себя одиноким в ночи. И однажды, когда текущая из Вечности в Вечность вода властно и бесповоротно потянула меня в себя, убедив, что в ней разом разрешатся все мои горести и печали, и я уже почти по плечи вошел в реку по стремительному перекаату, который в следующую минуту был готов, сделав невесомым, поднять меня и унести в крутящийся воронкой ниже переката под скалой омут, как они вдруг, каждую секунду изменяя цвет или идущий изнутри свет, тревожно мерцали в вышине, бросая отблески на воду, на которую я заворожено смотрел. Тревожное мерцание серебристых облаков заставило меня поднять глаза, и в этот момент я услышал как бы исходящий из них немой, но, удивительно, понятный мне ласковый голос: остановись, ты не одинок, мы с тобой!

И сейчас вот, в глухих ночных горах, мне показалось, что я снова услышал исходящий из серебристых облаков тот же голос, что и в детстве, я не различал слов, но смысл их мне, как тогда, был почти ясен, он выражался не в словах, и было в нем тревожное предупреждение и знак, что меня не оставят одного. Я не был абсолютно уверен, что голос был женским, он точно не был мужским, хотя никакого звукового выражения у этого голоса не было, как не было и самого голоса, тем не менее я его явственно слышал, раз мне был понятен смысл сказанного.

Руки так и чесались: взять ручку и записать! Мне показалось даже, что мне открылась тайна серебристых облаков, и она связана с тайной моего неясного бытия, они сами раскрыли мне ее, или я разгадал ее, только взять ручку и записать! Я сунулся во внутренний карман пиджака, в бардачок автомобиля, но — ни там, ни там ручки не оказалось. Ладно, запишу, когда доеду до дома или утром, успокоил я себя. И, когда серебристые облака через какое-то время немного померкли, как бы замолчали, я завел мотор и осторожно выехал на большую дорогу, с чувством, что не один в этой глухой ночи...

Но утром я уже ничего не помнил. Как ни старался, ничего не мог вспомнить, словно заснул сон: вот-вот вроде начинаю вспоминать, но нет, не получалось, словно срабатывал какой-то запрет. Брал в руки ручку, но записывать было нечего...

— Ты знаешь, мне приснился сон, что мы с тобой расстанемся, — перебив мои потуги, утром сказала ты. — Я уезжаю куда-то далеко-далеко, как мне кто-то сказал, навсегда, и я прошу тебя заботиться о собаках. Чтобы ты, когда Динка станет



совсем старой, забрал ее в город... Сон сном, а на самом деле, если что вдруг: ты заберешь ее потом в город?

— Ну, ты что?! — пытался я тебя успокоить, хотя глухая тревога обдала меня студеным ветром. Я вспомнил сон о серебристых облаках. Что они мне хотели сказать?

— Я вполне серьезно, — не унималась ты. — Обещаешь?

— Ну что у тебя за мысли?!

— Нет, ты скажи: обещаешь?

— Ну разумеется!

— Сон какой-то странный, нехороший... Всю ночь у меня снова ныло колено. Видимо, все-таки придется оперироваться. А я уж надеялась, что обойдется.

— Я тебе уже несколько раз говорил: не тяни с операцией. Давай вот прямо завтра позвоним в клинику.

— Сейчас не самое лучшее время для операций: лето, жара. Да и в саду самая работа: огурцы, помидоры поспевают, да и подходит самое любимое мое время: август, сентябрь. Теперь уж поздней осенью, когда слякоть, дождь, снег. Тогда не так тоскливо будет в больнице.

Спорить я с тобой не стал, да и бесполезно было с тобой спорить с твоим упертым характером, из-за которого, я считал, во многом и были наши беды. К тому же я считал себя отчасти виноватым в твоей беде с коленом: мениск ты надорвала ранней весной при обрезке яблонь, сорвалась с поставленной мною в снегу вместо стремянки перевернутой бочки, я потом проклинал себя, что, возможно, плохо поставил ее. А теперь думаю, что, может быть, моей вины в том не было, бочку, я помню, ставил прочно, несколько раз проверил. Скорее всего, уже тогда у тебя из-за метастазов в мозг была нарушена координация движений, и, может, надрыв мениска был предупреждением нам свыше: пока не поздно, обратиться к врачам, когда, может, твою судьбу определял не только каждый день, но даже час. Надо было силой везти тебя в больницу, но я, стараясь избежать очередного конфликта, не стал настаивать. Ты дотянула до декабря, а в декабре ты пришла из поликлиники, где проходила обследование перед операцией на колене, с потухшим потусторонним взглядом.

— Что? — замерев от дурного предчувствия, спросил я. За тридцать лет совместной жизни я привык к тому, что ты впадала в панику по любому, даже самому мелкому поводу, но таких безнадежных и потухших глаз у тебя еще никогда не видел.

Ты молчала, не в силах что-нибудь выговорить.

Я снял с тебя шубу, ты, казалось, даже не заметила этого: как стояла, так и стояла, гуттаперчево-послушная. Я не мог смотреть на твои безвольно опущенные плечи, в такие минуты я как никогда испытывал перед тобой великую и неискупимую вину:

— Ну, говори...

— У меня подозревают рак легких...

У меня гулко застучало в голове: «Вот он, пришел тот час, час расплаты... Не могло так без конца продолжаться, у всех вокруг та или иная беда, а нас, по большому счету, все обносило...»

— Насколько это точно? — наконец спросил я.

— Направили для установления окончательного диагноза в тубдиспансер. Ты сможешь завтра утром отвезти меня туда?

— Конечно.

Мы так и стояли в прихожей, я — с твоей шубой в руках.

— Что будем делать, если подтвердится? — подняла ты на меня глаза. Дело в том, что всего неделю назад ты снова заводила разговор о нашем разводе. Ты была убеждена, что мое плохое настроение оттого, что у меня есть другая женщина,



которую я по-настоящему люблю и от которой хочу иметь ребенка, а время уходит. А мое плохое настроение было оттого, что наше с тобой время уходит, а мы так и не нашли пути друг к другу.

— Будем бороться до конца! — сказал я и обнял тебя, после чего ты, кажется, немного посветлела. А меня резанул твой вопрос, и сейчас, если ты слышишь меня оттуда, из неведомого далека, я спрашиваю тебя: неужели ты могла ожидать от меня другого ответа? Неужели ты все годы так и не верила в меня до конца? Что я, каким бы ни был, по твоему мнению, плохим мужем, могу повести себя как-то иначе в такую минуту или вообще оставить тебя? Это, может, самое горькое в памяти о тебе...

Наутро в предраассветном морозном, промозглом смоге-тумане я повез тебя в туберкулезный диспансер.

— Хорошо бы — туберкулез, — говорила ты про позавчера еще казавшийся нам страшным туберкулез, теперь он казался спасительным счастьем. — Я бросила бы работу и целиком занялась бы домом, тобой. Я собрала бы в альбомы все твои экспедиционные фотографии, я стала бы перепечатывать твои рукописи. Ты всегда был недоволен, что я тебе не помогаю. Я бы подолгу, чтобы тебе не мешать, жила на даче с собаками... Жила бы себе ниже травы, тише воды, никому не мешая...

Мне хотелось тебя обнять и заплакать, но я был за рулем...

Но из тубдиспансера нас выпроводили, как воровски позарившихся на чужое счастье, направили в раковый центр, и я понял, что самое большое горе, до сих пор обходившее нас стороной, — а я почему-то всегда знал, что оно рано или поздно должно было к нам, грешным, виноватым как перед Богом, так и друг перед другом, прийти, — тихо, но в то же время оглушительно и страшно обрушилось на нас. Было 29 декабря, на обратном пути, не зная, что теперь подарить тебе на Новый год, — хотя всего неделю назад я знал, что подарю, но теперь в этом подарке не только не было смысла, но он был бы кошунственным, — заехав в магазин за хлебом — жить-то, сколько еще было отмеряно, все равно было надо, — и наткнувшись в магазине на цветочный киоск, я решил купить тебе в подарок кипарис в горшке. В прилагаемой фотографии-инструкции по уходу показывалось, каким большим и красивым деревом он будет через несколько лет. Это как бы укрепляло мою и должно было укрепить твою если не уверенность, то надежду, что ты увидишь через несколько лет, каким чудо-деревом станет свой кипарис. Ты только печально улыбнулась на это, но не стала спорить. Собравшись расплатиться за кипарис, я обнаружил, что потерял — скорее всего, на бензозаправке, куда заехал, не зная, куда себя деть, в ожидании окончательного приговора в раковом центре, — не говоря уж о деньгах, все документы, в том числе паспорт, водительские права... В тот день у меня что-то случилось с памятью, словно из нее исчезло нечто, раньше казавшееся нужным, а теперь лишь мешающее жить во вдруг сузившемся жизненном круге. Кроме того, я вдруг понял, что моя жизнь стремительно покатила под гору, что я больше не властен над ней, как самонадеянно считал до сих пор, более того — кто-то где-то все решает за меня. И я не стал, как раньше, противиться тому, ощутив свое бессилие перед судьбой, точнее сказать, роком, хотя еще вчера казалось, что у меня многое, если не главное, еще впереди...

В тот день у меня отрубилась память и о серебристых облаках. Только однажды, кажется, перед самой твоей смертью я вдруг больно и спасительно вспомнил о них, но, сколько ни искал их в предраассветном небе, не мог найти.

Увидел я серебристые облака снова, как и всегда, неожиданно, почему-то ни раньше ни позже, а на сороковой день после твоей смерти, и это неммым вопросом врезалось в мою память. Поздно вечером я возвращался домой, погруженный в свои печальные мысли, низко опустив голову, и вдруг — словно что-то толкнуло меня, я словно споткнулся, поднял голову и — вздрогнул: они висели за городом, за рекой, над горизонтом, мягко мерца и переливаясь перламутром, и словно что-то говорили мне, именно мне, и я не знал, висели ли они давно, или повисли только



что, и было такое чувство, как будто я в пору отчаянного одиночества неожиданно и так необходимо встретился с душевно близким человеком. Щемящая боль-печаль пронзила меня, и у меня родилась своя, совсем не научная гипотеза по поводу происхождения серебристых облаков: может, это души умерших в те сорок дней, в которые, как считается, они находятся на Земле, светятся и светят нам, как бы прощаются с нами, чтобы потом навсегда покинуть Землю и нас? И может, время от времени они снова посещают нас в виде серебристых облаков?

Весь следующий день я пытался дозвониться до Виктора Петровича Савиных, наконец, поймал его на международном конгрессе по космонавтике, кажется, в США.

— Скажи, а почему ты занялся серебристыми облаками?

— Ты только по этому поводу и разыскивал меня по всему земному шару? — удивился он. — А что это тебя вдруг заинтересовало?

— А все-таки? — настаивал я.

— Кому-то рано или поздно ими нужно было заняться, — мне показалось, уклончиво ответил он.

— Ну а все-таки — почему?

— Не знаю, — задумался он. — Может, потому, что волновали они меня еще в детстве, почему-то бредили душу. А потом, в космосе, особенно во время первого полета: висят внизу под тобой, светятся над ночной Землей, томят душу, словно что-то хотят сказать, но я, как ни силюсь, не понимаю этого языка, и от всего этого какая-то тревога на душе, но я бы не сказал, что она была тяжелой, скорее, наоборот, словами не объяснишь... И вот сейчас, по прошествии времени: вроде бы все ясно с ними, никакой научной тайны они больше не составляют, но все равно такое чувство, что в разгадке их чего-то главного мы так и не поняли...

Жизнь еще при тебе, но уже почти без тебя...

Мне никогда не забыть, как ты уходила по больничному коридору с направлением на операцию...

Мы прощально поцеловались...

Я, как завороченный, смотрел на порог, который ты только что переступила, и за которым остался я, как на водораздел между нами, как на водораздел между жизнью и смертью, но тогда еще была робкая надежда. Размазня по жизни, ты, в отличие от меня, вдруг собралась в пружину, ты шла по больничному коридору, — было как раз обеденное время, и по нему шмыгали в больничных пижамах и халатах, с подвешенными на шею послеоперационными бутылочками вчерашние люди, а ныне полусогнутые серые тени, — с гордо поднятой головой, как бы принципиально не имеющая никакого отношения к этому миру обреченных людей, как бы случайно или по недоразумению попавшая сюда, или пришедшая кого-то навестить, в лучшем своем брючном костюме, который так подчеркивал твою стройную фигуру, который ты так любила, с роскошной прической, как на какой-нибудь праздничный прием...

А перед этим мы заехали с тобой в Сергиевскую церковь и попали на архиерейскую службу: прославление иконы Божией Матери «Нечаянная радость». С каким смиренным и светлым лицом ты подошла под архиерейское благословение!..

Архиерей, уже знавший от меня о нашей беде, незаметно пожал мне руку и тихо добавил:

— Будем молиться. На все воля Божья!

— Может быть, не случайно, что мы попали именно на эту службу? — по выходе из храма с надеждой спросила ты меня.

Я промолчал...



Я верил в чудеса, правда, может, больше не как человек верующий, а как человек, не раз рисквавший своей жизнью и не раз смотревший смерти в лицо, но почему-то знал, что мы чудес не заслужили. Еще и потому, что, зная, что Он есть, мы до сегодняшнего дня жили вне Его и свои поступки сверяли не по Нему. А еще сегодня мне архиерей сказал, что если бы мы даже жили с Ним, у Него про каждого из нас свой замысел...

А потом была тяжелая операция за день до Рождества Христова...

Это была твоя не первая в жизни операция. Перенеся в детстве желтуху, ты часто, если не сказать постоянно, болела. За какие грехи, за что Бог наказал тебя еще ребенком? За грехи твоих предков?.. Но отец твой, прошедший Великую Отечественную войну офицером-железнодорожником, был добрейшим человеком, не способным обидеть козявку. Твоя психическая неуравновешенность, вспыльчивость, часто выводящая меня из себя и порой приводящая в отчаяние, что было одной из причин того, что у нас не было детей (одно время я остерегался их заводить, боясь за возможную наследственную психическую неполноценность), была от матери. Но была ли психическая неуравновешенность матери наследственной, а не приобретенной? И была ли в этом виновата твоя мать? Не приобрела ли она ее, когда с грудным ребенком на руках, твоей старшей сестрой, в девятнадцать лет, не раз попадала под бомбежки в эвакуационном поезде, который шел на восток от самой западной границы, где до того служил твой отец, чуть впереди наступающих немецких войск? Порой поезд по несколько суток простаивал опять-таки под бомбежками на полузаброшенных полустанках. Или когда пробиралась вглубь страны в полной неизвестности за свое будущее, в полной неизвестности, что с мужем, оставшимся на границе, а потом всю войну мыкалась полуголодной, без теплой одежды по общежитиям и коммуналкам на Урале, под Екатеринбургом, при этом надрываясь на самых тяжелых работах? Может, ты отвечала за грехи твоих более дальних предков, о которых ты даже знать не знаешь? Может, вина наша и в том, что мы не знаем наших предков дальше третьего колена и тем самым как бы снимаем с себя их вину? Как бы отказываемся от них, и потому их грехи висят на нас?.. Но почему мы должны отвечать за наших предков?..

Жизнь уже без тебя...

Через несколько месяцев после твоей смерти отец Алексей, настоятель одного из сельских храмов, в который я заехал, чтобы заказать сороковины по умершему тоже от рака, через девять месяцев после тебя, самому близкому моему другу Вячеславу Михайловичу Клыкову и панихиду по только что погибшей в авиакатастрофе в Иркутске Марии, дочери Валентина Григорьевича Распутина, убеждал меня, что мы до третьего точно, а может, и до пятого поколения несем ответственность за поступки и тем более за грехи своих предков. И приводил убедительные, по его мнению, доказательства на примере своих прихожан. Как, например, мучается страшной болезнью, прося Бога поскорее забрать ее, но никак не может умереть внучка бывшего партийного активиста, в тридцатые годы прошлого века сбросившего с храма колокола. Я кощунственно усмехнулся про себя: а мы проклинаям большевиков, официально цинично провозгласивших, что сын не отвечает за отца, а на самом деле отправлявших в тюрьмы, в лагеря и даже на расстрел не только жен, но и детей так называемых врагов народа. У них сын отвечал за существующие и несуществующие грехи отца. У большевиков — только за отца, а у Бога, оказывается, даже за деда и прапрадеда. Этого я никак не мог ни понять, ни принять. Мало того, оказывается, мы уже с рождения, сами еще не виновные ни в чем, в ответе не только за грехи своих предков, но даже за грехи Адама и Евы! Не могу допустить мысли, что Бог может быть таким жестоковымным. Не добавили ли тут чего от себя его толкователи?



— Батюшка, почему я через тысячи лет после Адама и Евы должен отвечать за их грехи? — приводя своим дерзким вопросом в смущение, спросил я отца Алексея, а получалось, что на самом деле через него я кощунственно обращался к самому Господу.

— Смерть вошла в мир через грех наших прародителей, когда Адам и Ева, нарушив послушание Богу, совершили грех, — заученно стал вразумлять меня отец Алексей. — И благодать Божия оставила их. А так как все мы, люди, являемся потомками Адама и Евы, то уже с рождения заражены их грехом, к тому же сами продолжаем грешить, потому смерть является и нашим уделом. В «Послании к римлянам» сказано: «Сего ради якоже едином человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки *вниде*, в немже вси согрешиша».

— Батюшка, я сейчас не о том, что мы продолжаем грешить, и потому наказания, это понятно. И даже не о том, что за грех по высшему замыслу бессмертных Адама и Евы Бог сделал их и их потомков смертными... Я о другом: вот человек только родился, он еще даже не осознает себя, только из утробы матери, только сделал первый глоток воздуха и закричал, оповещая о своем рождении, и он уж грешен?

— Да!..

— Но чем тогда Господь отличается от большевиков? Но тогда большевики и подобные им — сущие агнцы, у них только сын отвечает за отца...

— Тем, что судить о степени греха может только Господь, — строго и уверенно, но отведя глаза, сказал отец Алексей. Мне почему-то показалось, что, несмотря на твердость и уверенность в ответе, он тоже в чем-то сомневался. — И я имею в виду, разумеется, нравственный грех, грех перед Богом, а не перед властью, который может быть совсем не грехом... Да, существуют родовые болезни, — видя, что не убедил, вразумляя меня отец Алексей, — настаивающие за грехи рода...

— Иначе говоря, наследственные? — попытался я уточнить, может, не дав ему закончить мысль. — Например, у одного из родителей была болезнь сердца, и эта слабость сердца может передаваться и ребенку.

— Это так. Но я говорю о других случаях, не сугубо о тех, что рассматривает медицина, а о родовых, которые передаются из поколения в поколение не по наследству, а за грехи предков...

Как бы предупреждая мой следующий кощунственный вопрос, он добавил:

— Но их можно отмотить праведной жизнью, и тем самым снять их со своих потомков... И с предков тоже, ведь, не прощенные, они мучаются там.

— А дети, умирающие в младенчестве? За что им такое наказание? — спрашивал я.

И на это у отца Алексея был готовый ответ:

— Младенцы, невинные дети, пострадавшие ради обращения родителей к покаянию, получают от Бога жизнь вечную и избавление от ада. Промыслу Божию свойственно не только исправлять последствия совершенных злых деяний, но в некоторых случаях предотвращать еще не совершенные. Предвидя будущий греховный образ человека, Господь преждевременно похищает его из жизни, чтобы предусмотренное зло не было совершено.

— А какова судьба некрещеных младенцев? — не унимался я.

Отец Алексей несколько смутился, замаялся:

— Однозначного ответа у нас, православных, на этот вопрос нет. Но в синаксарии субботы мясопустной говорится о том, что крещеные младенцы наслаются сладости рая, некрещеные же и языческие сладости не наслаются, но и в гиену огненную не попадут.

— Но тогда какова же их судьба? И разве они виноваты, что не были крещены? И это не всегда может быть виной их родителей, потому как они, например, где-нибудь в глухой Африке или в Австралии, даже не подозревали о существовании Иисуса Христа?



— Судьба некрещеных младенцев вверяется всеблагодарному Промыслу Божию, — ушел от прямого ответа отец Алексей.

— А вот у католиков я вычитал, что некрещеные младенцы попадают в специальную секцию ада.

— Нет, это не так. А зачем вы читаете католиков?

— Но они же тоже исповедуют Иисуса Христа.

— Они ложно его исповедуют, в корне извращают. Даже мусульмане исповедуют его ближе к истине.

Я видел, что своими вопросами ставлю отца Алексея в тупик, потому сумел себя вовремя остановить.

Я усмехнулся про себя: значит, младенцев, раз они еще невинны, хотя в то же время уже грешны, можно сразу забирать в рай из исправительного концлагеря на Земле. Не важно, что они никогда не познают земного счастья, земной любви, счастья отцовства и материнства, не увидят земных рассветов и закатов, осеннего листопада, луговых цветов, текущей из Вечности в Вечность воды. Смогут ли они, не пройдя земного чистилища и страданий, радости и печали, стать полноценными помощниками Богу?..

— Но всегда ли смерть ребенка обращает убитых горем родителей к покаянию? — словно бес снова проснулся во мне. — Не бывает ли наоборот? Не вызывает ли это протест, даже духовный бунт? Вон Калоев, потерявший во время авиакатастрофы над Боденским озером всю семью. За какой грех он наказан таким страшным наказанием, что ценой его покаяния должна была стать смерть всей его семьи, прежде всего детей? Строитель, отец добропорядочного семейства, глубоко или не очень глубоко веровавший в Бога, но возводивший в родном городе на свои средства храм во имя Георгия Победоносца. И вдруг такое наказание! За какой такой страшный грех, к какому покаянию его призывал Господь? Каждый человек не безгрешен, но какова же должна быть степень совершенного им греха, или греха, который он готов был совершить, если такое наказание?!

— А если это было не наказание, а испытание?

— К чему готовил его Господь, дав такое испытание? Как оказалось, непосильное испытание. Это страшное наказание или испытание у Калоева вызвало не покаяние, а умопомрачение, в котором он как раз и совершил страшный грех: наказал, убил человека, которого справедливо считал виновным в гибели его семьи и которого никаким образом не наказало так называемое правосудие. Но это еще не все. Гибель в авиакатастрофе всей семьи вызвала у Калоева не покаяние, а самое страшное — отрицание Бога. После отсидки в швейцарской тюрьме, вернувшись на родину, он вошел в храм, который до того строил, и во всеуслышание сказал, что Бога нет, если бы Он был, Он такого не допустил бы. И с ним трудно спорить. Я не исключаю, что этот случай отвратил от Бога и других.

— Это временное умопомрачение... — нахмурился отец Алексей. — Значит, вера в Господа Бога была у него не очень крепка, поверхностна.

Эти общие слова я слышал уже не раз. Они не способны убедить, а наоборот, способны только вызвать сомнение. Отец Алексей видел, что ни в чем меня не убедил.

— Не очень ли жестокая проверка веры в Бога?

— Мы своим скудным умом не всегда готовы понять промысел Божий, — опять ушел от прямого ответа отец Алексей, может быть, сам не зная ответа на мой вопрос. — Нам только остается верить, что, в конце концов, Господь всегда милосерден...

— Почему милосердный Господь не защищает праведных и добродетельных от внезапной и порой нелепой смерти? — продолжал я немилосердно мучить отца Алексея вопросами. — Таких, например, как Мария, дочь писателя Валентина Григорьевича Распутина, погибшая в авиакатастрофе? Была ниже травы, тише воды,



играла на органе, призывала людей задуматься о высшем, вопреки специально созданному в мире сатанинскому музыкальному хаосу. Орган, полагают, как и колокольный звон, как и икона, является средством общения, независимо от национальности, на всем понятном языке с тем высшим, неведомым нам горним миром. Бог разделил заблудшие, впавшие в гордыню народы на языки, но оставил для них единый язык общения, как между собой, так и с ним, с Богом, — музыку... Вот вы мне объясните, что касается Марии, дочери Валентина Григорьевича Распутина: почему он не защитил праведную и добродетельную душу ее отца, вобравшую в себя всю боль вымирающего русского народа? К какому покаянию Всевышний таким образом призывал его? Может, таким образом Он хотел наказать зародившуюся гордыню в писателе Валентине Распутине, который, по Его мнению, в последних своих произведениях стал мнить себя, подобно Александру Солженицыну, мессией или вселенским судьей? Но скромнее Валентина Григорьевича Распутина писателя, наверное, трудно найти. Или, видя, что он как писатель, а настоящий писатель в какой-то мере всегда пророк, иссякает, начинает жить несколько благодушно, что ли, в некотором достатке, загородный домик на Байкале вон начал строить, Всевышний поступил по принципу: все великое рождается в результате великих страданий, и добавил их Валентину Григорьевичу Распутину, чтобы он мог сказать новое, так нужное сейчас людям слово, раз они глухи к Евангелию? А что если эти страдания его, физически и так не очень здорового, совсем придавят к земле, если вообще не загонят в землю?.. Я вот звонил ему недавно: «Наверное, я больше ничего не смогу написать...» Или как раз этого добивался Господь? Или таким образом Всевышний торопит его туда, в горний мир?.. И еще: вот, например, преподобный Амвросий Оптинский писал: «Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность или когда не видит никакой надежды на его исправление». Что, Господь собрал в одном самолете специально тех, кто уже был готов к вечности или, наоборот, одних грешников, тех, в ком он не видит никакой надежды на исправление?.. Или тех и других поровну?..

Отец Алексей молчал.

— Вон в Таиланде от цунами погибли в одночасье двести тысяч человек, приехавших на отдых из разных стран, — не мог остановиться я. — Что, все они были грешниками или святыми, и Господь специально собирал их в одно место со всей планеты? Или: две мировые войны, обрушившиеся на мир в прошлом веке, — что, все десятки миллионов погибших и сотни миллионов так или иначе пострадавших — были неисправимыми грешниками, в том числе дети? Миллионы, десятки миллионов людей, погибших во время эпидемий, голода — это что, тоже следствие этой особой божественной любви? А верующие в иных богов? Разве они виноваты, что они не познали истинного Бога?.. Почему Всевышний часто попускает страдать от ужасных болезней, а потом умирать раньше времени людям, безраздельно верующим в Него и прославляющим Его?

— Бог не защищает праведных и благодетельных, чтобы очистить их от малейших следов греховных страстей и потом увенчать большой славой на небесах, — ни на секунду не задумался, отчеканил отец Алексей. У них, священников, как у унтер-офицеров царской армии — все по уставу и на все заученные, готовые и простые, ответы.

«Всякая слава, тем более на небесах, конечно, хороша, но ведь любая слава, где бы то ни было, — это не что иное, как гордыня, — хотелось мне закричать. — А что если человеку не нужна эта слава на небесах, о которой вы заученно рапортуете, как, впрочем, и земная слава тоже, человек хотел мирно и безропотно возделывать кусочек земли на Земле, никому не мешая, спасая бездомных собак и лютой, бескормной зимой подкармливая птичек Божиих?!»

А отец Алексей продолжал, пытаясь меня вразумить:



— Подумайте, если Бог дал своего Возлюбленного Сына на страдание и Крестную смерть, что мы можем сказать о людях праведных, но имеющих греховные пятна? У одного священника, доброго священника, сгорело в пожаре пятеро детей. Когда знакомый их семьи узнал об этом, в нем поднялось смятение: «За что, Господи?! Добрее этого человека я не встречал! Как и не встречал священника лучше!» Но он понимал, что этот протест — грех, и исповедал его. Ответ духовника был прост и одновременно мудр: «Запомни одно: Бог никогда не ошибается». Запомним это и мы, что бы с нами ни случилось. Его крестная пасхальная любовь часто действует непостижимым для нас образом... — Отец Алексей помолчал. — Я чувствую, что не убедил вас.

— Нет, отец, не убедили, — честно сказал я. — Подобное я уже где-то слышал. Например, в кратком курсе истории ВКП(б): «Партия не ошибается». Были у партии большевиков так называемые «тройки», руководствующиеся этим постулатом, которые в пять минут решали — разумеется, в высших целях, ради светлого будущего всего человечества, — приговорить ли к длительному сроку или же к расстрелу чаще всего невинного даже перед этой партией человека. Чтобы остальных держать в постоянном страхе неминуемого наказания. Может, во всех этих случаях, как и в случае со священником, у которого в пожаре сгорели дети, Бога мы вспоминаем всуе? Может, Он тут не при чем? Может, в некоторых случаях Он просто не в силах противостоять укоренившемуся злу?.. Ведь еще что получается: за грехи наказанием — долгая жизнь на земле и безболезненная, может, внезапная смерть? А праведному — рано умирать, к тому же мучительной смертью, в страшных страданиях? И умом не понимаю, и сердцем не приемлю я почему-то такой милости и такой любви. Не приемлю я и ответа вашего духовника по поводу сгоревших в пожаре детей. Не верю, что его ответ был искренним. Просто он не знал, что ответить, а честно признаться в этом не хотел, потому как ему нужно было предстать перед простым человеком мудрым посредником между ним и Всевышним... Как и не приемлю я: почему чем лучше, добродетельнее человек, тем скорее должен уйти с Земли?! Что, человек исправился, отбыл свой тюремный срок на Земле — и нужен там?.. Да, здесь, на Земле, мы, наверное, только учимся жить. И смерть потому поставлена в конце жизни, чтобы мы могли к ней подготовиться. И мы не знаем, что там. И вы, священники, не знаете. И никто не знает. И ради Бога, не делайте вид, что знаете! И от незнания соблазняйте меня халявой, что там всего в обилии, что там не работают, а лежат весь день на мягких перинах, мед пьют, и каждый норовит как можно ближе к Господу сесть, который вроде генерального секретаря. А я не хочу лежать на мягких перинах, это для меня, как для всякого нормального человека, хуже тюрьмы, я без работы на второй день попрошусь обратно на Землю, а обратно уже нельзя... Получается, если там все так хорошо, я должен радоваться смерти ближних, но я почему-то не радуюсь, а в великом смятении моя душа... Душа моя просится в храм, я неосознанно, по зову ее, пусть редко, но иду сюда, здесь трепетно и хорошо ей и мне, но только до тех пор, пока вы не начинаете звать меня с Земли. Многое, что вы проповедуете, нарушает молчаливое согласие моей души с храмом, и порой я ухожу отсюда не умиротворенным, а в тревоге и смятении. Дай Бог, чтобы я ошибался, но такое чувство, словно кто-то упорно старается увести нас с Земли, освободить ее для какого-то другого народа, и делает это хитро, от имени Бога...

— Значит, вы еще не пришли к Господу Богу. Значит, вы еще не веруете, а только хотите веровать, — мягко сказал отец Алексей. — Веровать и хотеть веровать — это совсем не одно и то же...

— Наверное, это так. Скорее всего, это так: я страстно хочу веровать, но еще не верую. Простите, батюшка, но я хочу там, в горнем мире, быть пусть скромным, но соработником Богу в его делах, и чтобы пот с меня тек в три ручья к вечеру, если пот есть там и вечер тоже. Я хочу возвращаться домой усталым, если есть там понятие дома, но довольным от сделанного мною ради общего дела, а вы, повторяю, меня

соблазните халявой на том свете, что там не сеют, не пашут, а только едят с утра до вечера всякие яства, даже реки там молочные с кисельными берегами, на большее фантазии нищего человека не хватило. Теперь вот, наверное, соблазня олигархов, черную икру и трепангов там будут обещать. И почти через каждое слово — обещание славы, хотя всякое мечтание о славе, о любой славе, как и обещание ее, по моему разумению, — как раз не христианское чувство. Мечта о молочных реках с кисельными берегами — это мечта не работника, тем более не работника на земле, который определил себя на Земле крестьянином, то есть христианином. Мечта о молочных реках с кисельными берегами — это мечта люмпен-пролетария, бездельника, лентяя, не говоря уже о том, что вредно спать на мягких перинах и беспредельно обжираться, и я начинаю подозревать, что ваши рассказы о халявном рае — не более чем сказка, придуманная древними лентяями-пролетариями — вроде недавних славных ленинцев, которые рано или поздно, разуверившись в своей сказке, начинают с помощью кистеня и револьвера строить халявный рай на Земле. А что, если и там они начнут строить подобное? Может, этим объясняется отторжение Саганы от Господа, превращении его из Ангела в Дьявола? Не из этих ли сладостно-благих сказок о халявном мире рождаются всевозможные революционно-коммунистические идеи? Не потому ли еще плодятся всякие секты, всякая беспоповщина, попытки, минуя священников, общаться напрямую с Богом, что людей смущают, мягко говоря, ваши сказки о горнем мире? Не потому ли появились протестанты, крепкие мужики, не мечтающие о небесной халяве, пытающиеся обустроить достойную жизнь на Земле — как некий прообраз горнего мира, как подготовку к нему? Если тут, на Земле, мы действительно только учимся жить, то, наверное, мы должны стремиться навести элементарный порядок на Земле, это своего рода нам как экзамен. Но нет, протестанты тоже нам не нравятся, и не потому, что в каких-то деталях расходятся с нами в трактовке Священного Писания, а прежде всего потому, что пытаются, по своему разумению, строить свою жизнь на Земле по образу горнего мира, спокойно, обстоятельно, потому у них везде чистота и порядок, они не бросают кладбища своих предков расхристанными. А у нас коровы по ним ходят, а нам ничего не надо, мы своих предков дальше дедов, в лучшем случае — прадедов, не знаем, нам это не надо, так как мы временные здесь, а все мечты наши о горнем мире с халявой и мягкими перинами. Они не хуже нас знают, что они тоже временные на Земле, но они думают о тех, кто останется после них, им, в отличие от нас, почему-то стыдно оставлять после себя кучи гниющего хлама. Или еще мечты о Беловодье. Нет чтобы навести порядок на кусочке Земли, где тебе Богом определено было родиться, — а Богом не случайно определено тебе родиться именно здесь, — мы, бросив родную землю-люльку, потащимся искать халявные молочные реки с кисельными берегами за тридевять земель, а оставшиеся, в том числе и вышедшая из народа и не вернувшаяся в народ писательская интеллигенция, будут восторгаться нами, приводить другим в пример. Понимаете, не надо меня, у которого на руках мозоли от лопаты, топора и косы, и все это мне делать нравится, соблазнять мягкими перинами, сверкающими одеждами и славой, в которой я даже здесь, на грешной Земле, давно не нуждаюсь, и тем более не буду нуждаться там. Не надо меня соблазнять тем, повторяю, что меня там могут посадить в президиум по правую руку от Господа Бога, может, еще и за красную скатерть. Да и физически не может Он всех нас посадить рядом, кому-то придется сидеть в зале. Вы скажете, что я кощунственно упрощаю. Да нет, я только цитирую ваши слова и многочисленные книжки, продающиеся в церковных лавках. И появятся недовольные, что их обманули, обещали посадить рядом, а не посадили, и взбунтуются, и захотят устроить там революцию. Может, действительно, так и появились падшие ангелы? И порой я невольно начинаю думать: может, это химера, выдуманная люмпен-пролетариатом древности? Или тогдашними властями — для простого народа, чтобы держать его в узде? А он рано или поздно не выдерживает





ожидания халявного рая и берет в руку кистень... Не из нетерпения ли поскорее увидеть этот халявный рай, не из разочарования ли рождаются всякие революции, нередко из бывших семинаристов?

— Не надо трактовку потустороннего мира людей простодушных и наивных принимать за истину, — вздохнул отец Алексей.

— Но если это измышления людей простодушных и наивных, почему вы издаете все это по благословлению Святейшего огромными тиражами? — показал я на развал книг. — Вот, посмотрите, половина вашей литературы состоит из этих сказок, якобы доказывающих существование Бога, рая и ада. А не имеют ли они обратного действия?.. — Меня неожиданно для самого себя понесло: — И еще: сейчас вы меня снова будете убеждать, что на любую болезнь и даже на смерть не нужно жаловаться, а нужно благодарить за нее Господа, что Он послал ее тебе, таким образом Он выражает особую любовь к тебе.

— Именно так...

— Вот даже Святейший недавно, после длительного недомогания, проникновенно по телевизору благодарил Бога за то, что тот наградил его болезнью, тем самым проявив к нему великую милость. Зачем же тогда, спрашивается, к врачам обращался, в больницу, да еще не в простую, а для высших правительственных чиновников?.. Бога благодарил за болезнь и в то же время просил исцеления?.. Прости меня ради Бога, батюшка! — остановил я себя.

— Бог простит! У Бога просите прощения, а не у меня... Вы еще не отошли от своего горя...

Мы торопливо и неловко распрощались...

Да, скорее, моя вера не глубока. Да, скорее, я еще не верую, а только хочу веровать, а душа, может, так и осталась языческой. Да, скорее всего, это так. Да, я знаю, что Всевышний есть, но почему-то в моем представлении он не совсем такой, если не сказать, что совсем не такой, каким мне его рисуют священники, не знающие доли сомнения, или делающие вид, что не сомневаются. Я верю, я знаю, что Всевышний есть, потому как он зримо являет нам, неверующим, свои чудеса, такие, как Благодатный Огонь в Пасху в Иерусалиме (а нам и этого мало, а вдруг это мистификация?), я верю в Него и Матерь Божию, потому, что мироточат ее иконы, как и иконы многих святых, но никому не дано знать, что там, в горнем мире, и не надо меня соблазнять сказками про халявный рай для пролетариев-тунеядцев. Иначе можно перестать верить.

Верю я, пусть еще, может, и не верую. Но я не знаю Его отношения ко мне: может, за свои грехи и за грехи моих предков, о которых я даже не подозреваю, я исключен из сферы Его влияния. И мы существуем с Ним как бы в разных Вселенных. И, может, потому так одиноко металась всю жизнь в поисках ответного человеческого тепла моя сиротская беспризорная душа, и мечется до сих пор, и не находит ответа. Может быть, потому она не нашла полного единения и с твоей душой? Утверждают: человек — любимейшее творение Бога. Но неужели Бог не может выразить свою любовь к человеку иным способом, не накладывая печать первородного греха на цепь человеческих поколений? Или, наоборот, мы оговариваем Бога, приписываем Ему чужие деяния, чужие свойства, может быть, даже деяния и свойства Сатаны? Не только об отдельном человеке, обо всей России как о физической и духовной цельности толкуют, что Бог не наказал, а наградил (что, получается, одно и то же), в том числе в XX веке, великими страданиями русский народ потому, что, разуверившись в первом богоизбранном народе, возлюбил русский народ, избрал теперь его для особой цели — и потому испытует. Какова цель этого испытания, если заранее можно предугадать участь второго богоизбранного народа, если катастрофически истончается он количественно и, прежде всего, духовно? Или все это уже не во власти Бога? Или Бог уже разочаровался и во втором избранном Им народе и махнул на него рукой? А может, мы эгоистично,



подобно первому избранному народу, приписали себе особую любовь Бога, как и приписали, придумали себе особую роль на Земле, и от этого наши страдания? А у Него все народы одинаково любимы, и как только какой-нибудь народ начинает претендовать на особую любовь, даже в виде особых страданий и испытаний, и придумывает себе особый, на самом деле не существующий, мессианский мандат от имени Бога, он тут же и получает эти испытания? Господь тем самым как бы ставит его на место. А мы все толкуем и толкуем о своей богоизбранности. И мы, может, так далеко зашли в своем закоренелом убеждении, что мы самые любимые, мы так привыкли к своей исключительности, что навлекаем на себя все новые и новые испытания, может, уже давно для нас непосильные?

«Кого Бог любит, того и испытывает», — проникновенно шепчут старушки в храмах, неубедительно утешая себя по поводу своих старческих хворей, но мне почему-то кажется, что они сами мало верят в это. Так, по привычке, заученно повторяют, чтобы не показаться неверующими даже самим себе. Так заученно утешают их и священники.

Твои постоянные болезни были одной из причин нашей бездетности. Мы все надеялись на лучшее, но годы летели, лечилась ты плохо, бессистемно, чуть становилось полегче, забрасывала лечение, что выводило меня из себя. Врачи на наши прямые вопросы отвечали уклончиво. Наверное, надо было рискнуть. Но, может, Бог специально оберегал нас, раз говорят, что все в воле Божией? Потому как другими причинами были: твой неуравновешенный, вспыльчивый характер и твоя ничем не обоснованная ревность, которая глубоко — до душевного потрясения — оскорбляла меня и убивала во мне самое главное в чувстве к тебе, как и твой решительный отказ взять ребенка из детского дома. Твое недоверие было самым страшным ударом: раз мне все равно не верят, я стал невольно отдаляться от тебя и обращать внимание на других женщин, ища в них не физической близости, а душевного понимания. Я видел, что ты все больше и больше становишься похожей на мать, у которой душевная неуравновешенность со временем приняла агрессивный характер и которая своей ревностью и своими психопатическими припадками буквально свела мужа в могилу. И я боялся, что это у тебя наследственное и что это может передаваться детям. А надо было решиться. Может, рождение ребенка разом бы привело тебя в душевное равновесие.

Годы шли, кончилось все это тем, что однажды на даче у тебя началось сильное маточное кровотечение. Почему-то в тот день мы были без машины, кажется, она была в ремонте, к счастью, подъехал сосед, мы успели доехать до поста ГАИ, где тебя забрала скорая. Прямо из приемного покоя тебя увезли в операционную, во время операции, после которой о детях уже не приходилось думать, ты перенесла клиническую смерть. Потом ты рассказывала о той пресловутой трубе, по которой якобы летишь вверх, и в конце той трубы неземной ласковый свет, и как тебе хотелось вернуться обратно на Землю, и кто-то услышал тебя и вернул. Было ли это так на самом деле? Или тебе приснилось ранее прочитанное в книгах и неоднократно виденное по телевизору о клинической смерти? Если было, то почему Бог развернул тебя в этой трубе обратно? Что, ты еще недостаточно намучалась на Земле, не осознала до конца, не искупила свои грехи? Поэтому он обрек тебя (или наградил?) на самые невероятные физические и душевные страдания, которые приносит рак, обрек на мучительную безнадежность, а главное, на мысли, связанные с ней?..

Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Уже которую ночь мне снится один и тот же жуткий сон. То ли кино, то ли телеэкран, голос за кадром:

«Уже на четвертой неделе у человеческого зародыша начинает биться сердце. А в два месяца, когда делают аборт, ребенок уже понимает, что его хотят убить».



И я снова и снова ясно вижу, как начинает отчаянно колотиться крошечное сердце человеческого зародыша, как число ударов достигает 200 в минуту. Он раскрывает ротик и беззвучно кричит от ужаса в предчувствии убийства. Он уже живой, он уже все понимает...

И на этом я просыпаюсь в холодном, липком поту и уже до утра не могу забыть.

Почему я поздно пришел к страшному для себя выводу, что я убийца, хоть и решились мы на это по настоянию врачей? Мало того, что, мечтая о детях, я подспудно, не признаваясь себе в этом, был рад такому исходу, потому как, зная о твоей неуравновешенности, — а была ли она на самом деле таковой и передалась ли бы она ребенку? — не хотел ребенка именно от тебя. Просто до поры до времени я себе в этом не признавался.

И потому нет и не может мне быть прощения ни на этом, ни на том свете...

Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Операция шла долго, и у меня, сидящего перед оперблоком в коридоре, появилась надежда на лучшее, ведь при раке самое страшное, когда операция короткая: значит, разрежали и зашили. Но вышедший из операционной и выжатый, как тряпка, хирург хмуро сказал: «Сделал все возможное. Все оказалось гораздо хуже, чем предполагали, чем показал рентген: пришлось убрать все правое легкое. Очень поздно, уже затронуты лимфоузлы. Но будем ждать результатов гистологии. Примерно через неделю».

Через неделю, налив себе и мне по полстакана принесенной мною в качестве презента какой-то элитной, в красивой бутылке, водки, он, смертельно уставший после очередной безнадежной операции, сказал: «Мужайтесь: самая плохая форма рака: плоскоклеточная карцинома. К тому же третья стадия. В девяносто девяти случаях — метастазы, и, как правило, в мозг. Если уже их там нет...»

Так началась наша Голгофа...

Впрочем, моя — в наказание за грехи мои — продолжается по сей день...

И чем дальше, тем мучительней.

Что я должен осознать в результате этих мучений?..

Каким образом искупить — хоть отчасти! — неискупимый грех?..

Не приведи Господь кому пережить подобное! Хотя миллионы людей каждый год именно это и переживают, каждый седьмой ныне умирает от рака. А остальные этого не замечают. Или стараются не замечать, чтобы не бередить раньше времени душу: авось пронесет. Кого-то и пронесит. Но только в одном нашем городе раковый центр, своего рода приготовительный класс или призывной пункт на тот свет, занимает целый квартал, а чтобы попасть в него, нужно вытерпеть огромную очередь. Люди месяцами ждут своего «счастливого» часа, чтобы в большинстве своем оттуда не вернуться. Огромные очереди за смертью, потому что редко кому выпадает счастье выйти оттуда живым, но и это еще не значит, что ты снова туда не вернешься: смерть, замешкавшись, просмотрела, что ты шмыгнул не в ту дверь, и рано или поздно исправит ошибку...

Проезжая мимо ракового центра по гудящему главному городскому проспекту, люди, кто знает, стараются не замечать его, некоторые даже заранее поворачиваются спиной. А кто до поры до времени не знает, что за серые здания без архитектурных излишеств занимают огромный квартал за филиалом преуспевающего коммерческого банка и за ярко раскрашенной лукойловской бензоколонкой, те не подозревают, что когда-нибудь займут очередь в эти серые дома, если не сами, то их родные или близкие...

Мы быстро попали туда — по знакомству, можно сказать, по благу... Блат, чтобы попасть в очередь за смертью!.. Неизвестно, по какому принципу рак, или



кто или что стоит за ним, выбирает жертву. Да, больше вероятность у курящих, у пьющих, да, какую-то роль играет наследственность. Но порой человек не курит, не пьет, и вообще следит за своим здоровьем, никому за всю свою жизнь не сделал зла, в Бога верует, и вдруг — рак. Другой и курит, и пьет, и богохульствует, и вор, и бандит — и живет себе. Рак неожиданно может выбрать богатого или бедного, счастливого или несчастного, для него ничего не значит депутатская и прочая неприкосновенность. Теперь он уже не щадит детей и даже младенцев. А говорят, было время, и не так давно, еще в начале прошлого века, когда врач-хирург за всю свою практику не встречал ни одного больного раком. Я вспоминаю растерянность одного знакомого, преуспевающего предпринимателя. Все вроде бы прекрасно в жизни складывалось. Сумел практически с нуля поднять огромное производство, дал сотням людей рабочие места, построил для своих инженеров и рабочих два больших дома, молодая красивая жена, двое детей. Построил церковь, крестился в ней. Бог вроде должен был любить такого человека. И вдруг — рак. Только раскрутился, только бы дальше жить, на радость себе и людям — и вдруг рак... Что, Бог посчитал его достаточно подготовленным для того света? А что, такие люди не нужны на этом свете? Тогда получается, что, действительно, на Земле только нечто вроде подготовительного класса или исправительной колонии.

Что касается нас, все началось тогда, когда рентгенолог-пенсионер, несколько недель замещавший штатного поликлинического рентгенолога, который в твоём снимке грудной клетки ничего подозрительного не обнаружил и ушел в отпуск, забыв расписаться в заключении, — а тебе это заключение срочно нужно было для предоставления в хирургическую клинику для предполагавшейся операции на колене, — с огромным опозданием, можно сказать, случайно, обнаружил у тебя рак. Если бы рентгенолог из поликлиники не забыл расписаться, ты так и ходила бы, может, до конца, потому как легкие при раке не болят, только общая слабость, на которую ты в последние годы жаловалась постоянно. И неизвестно еще, что было бы лучше: неожиданный конец или эти трехлетние послеоперационные мучения, а главное — мысли, мысли... Да, может, короче был бы твой жизненный путь, но не было бы этих тяжелых трехлетних страданий и напрасной надежды... Может быть, операция на какое-то время тебе продлила жизнь. Но что это была за жизнь?! Три года постоянных мучительных мыслей... Но, может, в этих мучениях и мыслях весь смысл рака, не только как Божьего наказания, но и как духовного осмысления прожитой жизни и своих грехов? Своего рода духовная подготовка, без которой не берут в ту заоблачную страну?..

Все началось не с прочитанного рентгеновского снимка, на самом деле все началось с того дня, когда однажды, придя с работы, я нашел тебя в большом смятении: скорее всего, не небрежно, а неумело поставленная тобой в моем кабинете перед иконой Божией Матери свеча, когда ты отвлеклась на кухне, повалилась на икону, уткнувшись в висок Младенца-Бога, обуглив его, но пожара не устроила, как бы только предупредила о чем-то.

В твоих глазах стоял ужас.

Я, как мог, старался тебя успокоить. Что это ничего не значит, что и роняют иконы, и нечаянно разбивают. Просто нужно сходить в церковь и помолиться по этому случаю, попросить прощения. Я, как мог, успокаивал тебя, хотя сам холодел от предчувствия беды. Почему свеча уткнулась именно в голову Бога-Младенца? Что этим нам пытаются сказать? О чем предупредить?

В церковь ты ходила, как и я, не раз, и не в одну, пытаясь отмолить свой нечаянный грех. Но у меня в голове, словно гвоздь, засел точащий вопрос: что это было за предупреждение?.. А в том, что это было предупреждение, я не сомневался: уперлась в висок, но не устроила пожара. Почему именно в висок?

Постепенно этот случай вроде бы забылся. По крайней мере, оба мы о нем вслух старались не вспоминать. Но у меня он шилом торчал в голове, время от



времени напоминая о себе. Знаю, что и у тебя тоже. Время шло, и порой приходила успокаивающая мысль: авось пронесет.

Но когда ты пришла из поликлиники с потухшими глазами, и еще позже, когда поставили окончательный диагноз, в котором говорилось о возможных метастазах в мозг, я понял, что это действительно было предупреждение... Видимо, там, наверху, уже тогда все было решено: не прощен был наш совместный — непрощаемый! — грех. И я знал, что это был за грех... И ты знала... Но оба мы делали вид, что не знаем или что вообще не было никакого греха. Но меня Всевышний, видимо, решил наказать вдвойне...

Ты умерла от метастазов в мозг. Я снова и снова вспоминаю ту упавшую на висок Младенца-Бога свечу.

И я не знаю, что делать с этой иконой...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Как мы в первый раз после твоей операции, после тяжелейшего восстановления ехали на дачу! Ты уже вообще не верила, что увидишь ее, а вот мы, как только позволили тающие снега, поехали! Была вторая половина апреля, время пробуждения всего сущего. В лощинах с северной стороны нашей горы, которая называлась Девичьей, еще лежал снег, я объезжал его пригорками, в небе звенели жаворонки, они были невидимы в вышине, и было ощущение, что нежно звенит само небо; внизу расстилался широкий разлив аксаковской реки Демы. Какими глазами ты смотрела на все это! Как ты любила эту пору! Все кругом наполнилось весной, жизнью, и казалось нелепым само существование смерти.

Мы не доехали до нашего сада каких-то пятьсот метров. Путь преградил сугроб, надутый в лес с поля. Как ты перебиралась через этот последний сугроб, ноздреватый, присыпанный вытаявшими старыми листьями, в то же время первые свежие листочки уже распускались на деревьях... На все это ты смотрела такими глазами, словно видела впервые. Увы, это была твоя последняя весна. Я отвернулся, чтобы спрятать слезы, так не хотелось в это верить.

— Господи, оставил бы ты меня на Земле еще на какое-то время! — шептала ты, прижавшись лбом к березе. — Я никому не мешала бы, не лезла бы ни в какие дела, в твои тоже, — повернулась ты ко мне, — копалась бы в земле, кормила бездомных собак...

Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Немного отойдя от операции, ты настояла, чтобы врачебная комиссия сняла с тебя статус нетрудоспособной. Силы вроде бы возвращались к тебе. А в саду ты вообще ожила. Ты собиралась выйти на работу. Я не противоречил, хотя знал, что этому, увы, не бывать. Потому как после очередной плановой консультации, когда лечащий врач, как мне показалось, искренне похвалила тебя, что ты хорошо выглядишь, а ты действительно хорошо выглядела, перед уходом улучив момент, я спросил ее о наших перспективах.

— Это временное улучшение, — ища что-то на столе и не поднимая глаз, сухо сказала она. — Третья стадия... Я могла бы соврать, но потом вам было бы еще тяжелее... Конечно, дай бы Бог!.. Надеяться можно только на Него...

Однажды к вечеру, сидя на скамеечке перед садовым домом, уставшая после трудов на земле, счастливо оглядывая сделанное за день, поглаживая любимых своих собак, которые были тебе вместо детей, одной рукой Динку, другой — Дружка, прильнувших к тебе с двух сторон, ты вдруг спросила меня:

— Я тебе не мешаю на этом свете?

— Ну, ты что?



— Знаю, что ты всегда мечтал о детях. Считаю меня психопаткой, ты боялся иметь детей от меня. Твое время еще не ушло, женишься на молодой... У тебя никого нет? Не бойся, я не буду устраивать тебе скандалов. Дурой я была. Мне просто нужно знать, может, зря я так держусь за этот свет, может, я тебе мешаю. Может получится так, что я промучаюсь и промучаю тебя еще несколько лет, а твое время уйдет или тебя не дождутся.

— Ну, ты что?! — я встал перед тобой на колени. — У меня никого нет. — У меня на самом деле никого не было. — А без тебя мне будет очень и очень тяжело на этом свете.

— Правда?

— Правда!

— Я никому бы не мешала, если дал бы Бог, — говорила ты сквозь слезы. — Жила бы вот здесь, среди цветов, птичек и собак. Никому бы не мешала. И зачем я бросилась в эту дурацкую журналистику. Мое призвание — быть врачом. Даже, скорее, ветеринарным врачом, потому что животные такие беззащитные.

И действительно, в силу ли того, что ты часто болела, или в силу особого таланта, ты разбиралась в болезнях и лекарствах лучше многих врачей...

А однажды утром в постели, стесняясь, как когда-то в первую нашу ночь, ты прошептала:

— Ты уже совершенно равнодушен ко мне как к женщине? Почему ты не обнимешь меня? Или ты равнодушен только ко мне?

— Я думал, что тебе это не надо, — растерялся я от неожиданности. — Или что я принесу тебе боль.

— Обними меня...

Потом ты, как в прежние времена, лежала у меня на плече, перебирая мои волосы.

— Это было не против твоего желания? — застенчиво спросила ты. — Впервые в жизни я тебя вынудила, можно сказать, заставила... Мне, наверное, было хорошо, как никогда. Я проснулась от этого желания и сначала даже испугалась его. А потом не могла пересилить себя, разбудила тебя. И сейчас вот думаю: неужели это было мне дано в последний раз, как бы на прощание? Или все-таки, может, это признак перелома и начала выздоровления? Может, Матерь Божия услышала мои молитвы, и Бог меня простил, ведь я всех простила, кроме себя, и живу, как трава, никому не мешая. Только разве мешаю тебе, я вижу, как ты измучился со мной.

Это было короткое хрупко-счастливое время надежды. Потому что и в меня, хотя я знал, что ты обречена, вселилась надежда, что, может, это начало перелома. Бывает же, пусть редко, так: вроде бы уже все, человек на пороге смерти, и вдруг начинает выздоравливать.

Сейчас я думаю: зачем, кто на смертном одре дал тебе это желание мужской ласки и, может, посеял в нас обоих надежду: раз вернулось желание, значит, ты выздоравливаешь и будешь жить? Чтобы потом было еще тяжелее?

Да, в это утро, несмотря ни на что, во мне затеплилась надежда. Потому что ты оживала на глазах. Твоя сестра на радостях сшила тебе несколько новых платьев. Словно они могли удержать тебя на этом свете: раз они сшиты, значит, их нужно носить.

Тогда же ты затеяла шитье двух костюмов для меня: темного и светлого, которые я надевал бы в зависимости от обстоятельств и времени года. И вот теперь по всяким торжественным случаям я надеваю их, каждый раз с благодарностью и жгучей печалью вспоминая тебя. Ткани были куплены, наверное, лет двадцать назад, по случаю, когда они еще были дефицитом. Но я обходился покупными пиджаками и брюками, которые менял на другие, когда прежние затирали до лоска. Ты время от времени предлагала, наконец, сшить костюмы, или хотя бы на первых порах один, но я ссылался то на недостаток времени, денег, то еще на что. А тут ты сказала решительно:



— Сколько ткани могут лежать! Если умру, по крайней мере, несколько лет тебе будет в чем ходить.

Скрепя сердце, я согласился. Заодно ты собралась отремонтировать свою уже потрепанную шубу, а потом остановилась из суеверия: если выберешь, то на следующий год... А я загадал: тогда куплю тебе новую.

Как раз в это время ты увидела телепередачу о чудодейственном препарате мегамине, который придумали и производили в маленькой фармацевтической фирме в Хорватии. Только что закончилась страшная братоубийственная война между сербами и хорватами, свидетелем которой мне пришлось быть, страшнее которой, кажется, не было в XX веке, война была не просто между двумя братскими славянскими народами, а народами, говорящими на одном языке, которые, более того, на самом деле суть единый народ, исповедующий Христа. Только часть его, хорваты, в силу исторических обстоятельств приняла католичество и устроила геноцид православных сербов, которые мешают им, хорватам, строить Великую Хорватию. Злодеяния хорватских националистов были столь чудовищны, что в штат музея геноцида сербов в Белграде была включена медсестра, потому что люди падали в обморок от жутких свидетельств этого геноцида. Что позже меня поразило: знакомый предприниматель, через несколько лет после войны по дешевке купивший дом в Хорватии и пригласивший меня в гости, был удивлен причиной моего отказа, он не верил, что хорваты способны на такое: «Наверное, это пропаганда, тихие приветливые люди, только немного ленивые и не очень обязательные», — говорил он. И вот теперь судьбе было угодно, чтобы за спасительным для тебя лекарством я обратился к хорватам. Ученый-хорват, придумавший этот препарат и якобы успешно применявший его в своей клинике, скорее всего, не имел отношения к геноциду сербов, но все равно... Я позвонил в Женеву своему знакомому, который работал в центральном аппарате ООН, и он по своим каналам достал этот препарат и по дипломатической цепочке передал в Москву, где я его и забрал. Ты с воодушевлением пила этот препарат, тебе казалось, что это помогает, и рассказывала о нем другим. Это было короткое хрупко-счастливое время надежды.

Но чудодейственный препарат, который, как оказалось, не был даже внесен в список лекарственных средств и на самом деле был чем-то вроде биологически активной добавки, правда, обладающей мощными антиоксидантными свойствами, уничтожающей свободные радикалы, вызывающие рак, не помог. Все же, что тебе предписывалось в онкологическом центре, как я понял, только на какое-то время отодвигало твою смерть.

А перед этим мне дали телефон так называемой народной целительницы в Москве, которая якобы разработала свою методику лечения рака на основе растительных ядов и вытащила много людей чуть ли не с того света. Меня, конечно, насторожило, что она без каких-либо оговорок отвергла официальную онкологию, кроме экстренного хирургического вмешательства. Она оговаривала, что соглашается браться за лечение только в том случае, если больной не проходил химиотерапию, которая лишь ослабляет организм, так как вместе с раковыми разрушает и здоровые клетки организма. Конечно, я не исключал, что это ее условие могло быть ничем иным, как хитрой уловкой на случай заведомо печального исхода, потому что к целителям обращаются, как правило, уже безнадежные больные, уже после целого ряда курсов химиотерапии. На раковых больных, когда человек цепляется за любую соломинку, как я понял, делается огромный бизнес. Но есть, наверное, и истинные целители? И как отличить их от шарлатанов, наживающихся на чужом горе? В этом же случае меня подкупило то, что она была, — по крайней мере, назвалась, — доктором биологических наук, хотя смутило, что, назвав по телефону одну сумму за свои препараты, с моего друга, которого я попросил забрать их у нее в Москве, она взяла вдвое больше. Когда я об этой целительнице сказал твоему лечащему врачу, вдруг это ее заинтересует, даже если не применительно к тебе, она усмехнулась:



— Пробуйте, если хотите, запретить я не могу, но после них все равно рано или поздно возвращаются к нам.

Целители отрицают официальную медицину, а официальная медицина отрицает целителей, тоже наживающихся на человеческом горе, и я уже не знал, кому верить. Я в растерянности метался между ними. Ты же почему-то сразу не поверила этой целительнице и скоро, при первом ухудшении, перестала пить ее препараты, хотя та предупреждала, что может быть обострение, более того, что это обострение признак того, что организм начинает бороться с раком.

Как бы там ни было, в один день все резко покатило назад: улучшение твоего состояния оказалось, как и предупреждала меня лечащий врач, временным, мнимым. Глаза твои снова стали гаснуть, кроме того, они стали как бы выпирать изнутри, это было уже зримое действие опухоли головного мозга, хотя врачи об этом еще не говорили. Я снова и снова вспоминал свечу, упавшую на икону и обуглившую висок Бога-Младенца...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Ты еще была жива, но в твое больничное отсутствие постепенно один за другим стали погибать посаженные тобой цветы, хотя, скорее всего, мистики тут никакой не было: они погибали в результате моего неправильного, а скорее, нерегулярного ухода, когда ты в очередной раз оказывалась в раковом центре, а я жил как бы в подвешенном состоянии, метался между ним, работой и домом.

Но так же неумело и нерегулярно — то поливал мало, то, наоборот, заливал — я ухаживал и за другими цветами, посаженными мной, но они держались. Последним из твоих растений погиб, засох подаренный мной кипарис. Обнаружила это ты, когда я в очередной раз привез тебя домой на побывку. А я и не заметил, что кипарис высох, продолжал его поливать.

— Значит, все! — обреченно и спокойно сказала ты. Потому что, когда в тот страшный день я купил кипарис, ты загадала: «Приживется кипарис, может, выживу и я».

— Но я просто, видимо, несколько дней его не поливал или очень мало поливал, боясь залить, — попытался я тебя успокоить. — Ты ведь всегда меня ругала, что я заливаю цветы, и у них начинают подгнивать корни.

— Это ничего не меняет, — печально сказала ты.

И как раз в это время подвернулась халявная поездка в Париж. Первой об этой поездке узнала ты: позвонили из Москвы домой, не застав меня на работе, разумеется, не подозревая о наших печальных делах.

— Не поеду я в этот чертов Париж! — сказал я тебе. Мне на самом деле не хотелось ехать в Париж, никуда не хотелось. Что-то сломалось во мне еще до того страшного дня, когда нам сообщили диагноз-приговор.

— Езжай, — сказала ты. — Когда еще удасться. Париж — все-таки Париж. Я не хочу, чтобы ты из-за меня не увидел Париж.

— Я на самом деле не хочу в Париж, — искренне сказал я.

— Езжай! Развейся немного. Впереди самое тяжелое. Уходить, как говорят, я буду очень тяжело. Вспомни Чебаевского. Ухаживая за умирающей от рака женой, он умер на день раньше ее, не выдержало сердце. Так вместе и лежали сутки, мертвые, в одной постели... Езжай, пока я еще на ногах, — твердо сказала ты, можно сказать, решила за меня...

Прежде я мечтал попать в Софию, в Прагу, в Варшаву, в Рим, наконец, в Иерусалим, но почему-то никогда не стремился в Париж, может, потому, что туда все стремились, или же считал это неосуществимой мечтой: ну придется вдруг увидеть — хорошо, не придется — тоже особой печали не будет. А ехать сейчас?



Но в то же время поехать сейчас — может, дать тебе какую-то надежду, что не все у нас с тобой так безнадежно...

Прежде всего, наверное, этим состоянием души и объяснялось, что Париж не только не потряс, но даже не удивил меня. Может быть, только Русская церковь на улице Дарю да кладбище Сент-Женевьев-де-Буа тронули мое сердце. Но они были печальной частью России...

Я ходил по Парижу как по мертвому городу-музею и думал, как страшно одиноко тут жилось русскому изгнаннику. Католические храмы меня угнетали: своей величественностью, беспредельностью сводов, утонченностью каменной резьбы и в то же время какой-то холодной душой, давящей на мою русскую суть. Бог в них мной ощущался жестоким, немилосердным, холодным и равнодушным к человеческой судьбе, как эта тончайшая каменная вязь. Я не испытывал в величественных католических храмах того тихого трепета, какой я, может, не очень верующий, испытывал в православных храмах, особенно в небогатых сельских церквушках...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

В бессилии помочь тебе, я жил с постоянным чувством того, как сокращается твое, а заодно и мое, оставшееся на этом свете, стремительно убывающее время: перед глазами у меня то и дело возникали песочные часы. За полгода до Парижа, оказавшись в Сирии, я объехал древние монастыри первых веков христианства, где просил Бога и его святых угодников за тебя, — мне, я знал, прощения быть не может, и был спокоен по этому поводу. Так я оказался в великой Сирийской пустыне. Я попросил остановить машину и ушел в сторону от так неуместной здесь черной ленты асфальта. Великое молчание раскаленной каменной равнины и выцветшего, без единого облачка, неба оглушило меня. Это было великое молчание Вечности и остановившегося или, может, наоборот, ускоренно уходящего Времени. Куда оно уходило? Кто властелин его? В одинокой палатке бедуина, который, судя по снисходительно-спокойному взгляду, которым он меня окинул, был тоже частицей Вечности, я посмотрел на термометр: в девять часов утра было 47 градусов в тени. В голове слегка звенело от раскаленного воздуха, от ощущения Вечности и от печальных мыслей о тебе и о себе, от которых некуда было деться...

Здесь, в великой Сирийской пустыне, лежащей как бы между двумя мирами, между Небом и Землей, еще более была очевидна нелепость ныне существующего на планете мира: искусственных государств, политических партий, может быть, даже бессмысленность самого человеческого бытия: вслушиваясь в эту звенящую тишину вечности, трудно было поверить, что в какой-то сотне километров от этой тишины американцы бомбили Ирак, гибли тысячи людей. Одиночество, которое всегда, сколько я помню себя, было со мной и во мне, окончательно охватило меня, и я понял, что смысл существования человека на Земле — только в заботе о ближнем. Но почему я понял это только сейчас? Или только вчера, когда беда уже обрушилась на нас, и моя забота о тебе была уже бесполезной?

По пути в Сирийскую пустыню, в складках рыжих холмов, в которых, цепляясь за жизнь, пряталась редкая растительность, то и дело попадались наслоенные друг на друга развалины древнейших, древних и не очень древних городов, государств, целых цивилизаций. Наслоенные друг на друга пласты человеческой жизни. Границы нынешних садов, огородов под разными углами равнодушно пересекают стены разрушенных древних храмов, жилищ, пренебрегая ими, словно их и не было, словно они всего лишь естественное нагромождение камней. Порой половина древнего дома на участке одного хозяина, вторая — на участке соседа, или нынешняя граница между огородами пересекает древний фундамент по диагонали, в одном саду стоит, обвитая плющом, чудом сохранив-



шаяся величественная мраморная колонна, в другом — богатый, может быть, даже царский древний саркофаг, ныне используемый как сарайчик для хранения садового инвентаря. Миллионы людей до нас уходили в мир иной, если он, конечно, существует, с такими же, как ныне, болезнями и мучениями, но этих мучений и страданий человеку было как будто мало — и он уничтожал себя и себе подобных в бесконечных, сменяющих одна другую войнах. Зачем эти миллионы приходили в мир? Каков смысл их страданий? Копятся ли эти страдания где-нибудь, чтобы потом, достигнув критической точки, превратить этот мир в иное измерение, измерение доброты? Или, наоборот, печальна участь Земли, превращенная в многослойное кладбище цивилизаций и человеческих страданий, она погибнет, как, может быть, в свое время погибла или специально была уничтожена жизнь на Марсе и на других, может, прежде обитаемых, планетах? Неужели Земля действительно даже не детсад, не школьный класс, в котором мы учимся жить, а что-то вроде концлагеря для преступников или закрытого пансионата для безнадежных душевнобольных? Или многовековая, с самого начала появления на Земле человека, цепь бесконечных войн, человеческих страданий — это своеобразная школа, в которой каждое поколение начинает учиться заново, как бы с первого класса, и потому ошибки, страдания одного поколения не становятся уроками для следующего? И так из века в век. Только этим можно объяснить, почему уроки прежних поколений, народов, цивилизаций не пошли нам впрок. Может быть, поэтому человечество не взрослеет нравственно? Может, в принципе на Земле ничего разумного невозможно построить?..

Жить с этим чувством очень трудно. Нужно перейти какой-то рубеж, чтобы смириться с этим. Рубеж, какой, наверное, переходят, принимая монашество, обрубая даже мечты о земном счастье. Но я не могу переступить этот рубеж, это против моей сути. Видимо, чтобы человек созрел для этого, Всевышний в качестве урока посылает ему страдания и неизлечимые болезни, чтобы постепенно мы отрекались от всего земного?

Моя жизнь для меня давно потеряла главный смысл, у нее на Земле больше не было духовной опоры, и в то же время меня не прельщала другой мир, в котором мы якобы бессмертны, и теперь здесь, в великой Сирийской пустыне, я особенно почувствовал ненужность, бессмысленность своей жизни без тебя. Если бы это было возможно, если бы это спасло тебя, я теперь жил бы только для тебя и этим вернул бы смысл своей жизни. Только теперь, когда уже поздно, я понял, почему мы, каждый по-своему любившие друг друга, так и не нашли общего языка. Ты забыла простую заповедь: «Да убойтся жена мужа», хотя смысл этой заповеди совсем не в слове «бояться», а я, мучимый гордыней, не умел прощать.

В горном ущелье в деревне Малюле я молился о тебе в монастыре Св. Феклы, монастыре первого века христианства, где службу ведут еще на древнеарамейском языке, языке Иисуса Христа. А за день до этого, наоборот, на высокой горе в монастыре Седная я за тебя молил Бога и Божию Матерь у ее чудотворной иконы, которую, по преданию, писал сам св. апостол Лука. Я, видимо, не верующий сердцем, но только умом знающий, что чудо существует, как и знающий то, что мы его с тобой не заслужили, на чудо все-таки надеялся. Из монастыря Св. Феклы я привез тебе святой воды, по каплям собиравшейся в выбоину в скале, а ты по ошибке полила ею комнатные цветы, чем привела меня в полное отчаяние...

До свалившейся на нас беды мы жили вместе, но каждый сам по себе. И, как теперь понимаю, каждый в своей гордыне. Мы жили вместе, но словно в параллельных мирах, каждый в своей пустыне. Ты не могла что-то перешагнуть в себе и не только не смогла освободить меня от одиночества, но и, приняв его в штывки, усугубила его. Ты поняла его — как вызов тебе, как нелюбовь к тебе, как я ни пытался тебе объяснить обратного. Я, оскорбившись, еще больше замыкался в себе, а ты еще больше подозревала, что моя душа где-то в другом месте. Потом, после



твоей смерти, на обрывках бумаги я буду находить твои или чужие, но созвучные твоей душе, стихи:

Еще — надеюсь и терплю,
 А сил отпущено так мало.
 В тревожной суете вокзала
 Слова прощальные ловлю.
 Чужие, не твои черты,
 Чужие, не родные руки.
 В глазах — прелюдия разлуки.
 И я — не я, и ты — не ты.
 И все оборвалось. Как сон...
 И в грустной музыке рассвета
 Мне хочется кричать об этом,
 Но в горле застывает стон...

Я стоял посреди Сирийской пустыни и замороженно смотрел, как, зарождаясь на моих глазах, мимо меня, немо и медленно, шли друг за другом на восток пыльные смерчи, в ту сторону, куда вела раскаленная лента асфальта и где, в какой-то сотне километров от меня, шла страшная война...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

В Сирии, выехав утром красивым зеленым ущельем из города Алеппо, через какое-то время въехали на высокую, поднимающуюся над всей окружающей местностью гору — к бывшей обители Симеона Столпника. Разрушенный храм на месте столпа, на котором 37 лет, в непрекращающихся молитвах, днем и ночью, знойным иссушающим летом и студеной горной зимой, стремясь уйти от человеческой тщеты и приблизиться к Всевышнему, жил некто Симеон, прозванный Симеоном Столпником. Сначала его считали сумасшедшим, а потом возвели в ранг святого. Это было полторы тысячи лет назад! И все эти полторы тысячи лет люди со всей планеты идут и едут сюда, чтобы понять, что двигало этим человеком, святым или сумасшедшим. И вот я, тоже снедаемый бедами, в попытке понять смысл жизни, оказался здесь. Правда, еще неделю назад я ничего не знал о Симеоне Столпнике. Слышать — мельком слышал, конечно, даже читал, но глубоко не задумывался о сути этого подвига или безрассудства. И вот я тоже здесь. Правда, ничего просить я здесь не собирался, раз не понимал смысла его подвига, я был просто любопытным странником. Я пытался понять смысл его стояния, но не мог. Как не понимал и не принимал смысла юродства, хотя сам, может, в какой-то мере по жизни юродивый.

Я прикоснулся рукой к остаткам каменного, полторы тысячи лет назад бывшего двенадцатиметровым, столпа, который время и люди, растаскивающие его, верующие в его святость — как святыню, не верующие — на сувениры, укоротили до полутора метров, мой спутник припал к нему лбом. Его глаза светились радостью, а я не понимал всего этого, я не хотел врать ни себе, ни ему. Зачем рваться в небо, по крайней мере, раньше времени, с этой прекрасной Земли? Может, Симеон действительно был всего-навсего сумасшедшим? Ослепительной синевой сияло небо, внизу под нами лежала долина, где паслись стада, желтели поля, зеленели оливковые рощи. Словом, земной рай, жить и жить бы тут, но почему-то в присутствии столпа давила эта райская идиллия, почему-то трудно было оставаться здесь долго. И в то же время — хотелось остаться здесь навсегда.

Что за тайну-истину Симеон открыл за 37 лет стояния на этом камне себе и людям, которые вот уже полторы тысячи лет идут к нему? Может, потому и идут, что его тайна так и осталась тайной? Может, он так и умер, ни с чем? А люди ищут в этой пустоте тайный смысл?..



Я смотрел сверху вниз: по тропинке в гору медленно поднимаются к Симеону Столпнику паломники, одни — чтобы найти ответы на извечные вопросы, другие, больные, увечные, — в надежде, что он поможет подольше остаться на этом свете, потому как считается, что одно только прикосновение к столпу излечивает от многих болезней. Шли верующие и сомневающиеся. Он же, может, просто хотел уйти от человеческой суеты и тщеты. Может быть, это было великой жертвой? А может, обыкновенной гордыней: жизнью такой обратить на себя внимание Бога и тем самым приблизиться к Нему? Бесконечная молитва днем и ночью, в ясную погоду и в дождь, в пыльную бурю и в жаркий раскаленный день, в холодную сирийскую зиму. Но не было ли строительство его столпа похожим на строительство Вавилонской башни?

«Прикасаемся и прикасаемся к останкам столпа и думаем, как мог святой Симеон 37 лет пробыть на нем? А ведь он неустанно возносил к Богу свою молитву. Многих спас. Какая сила воли, духа! Сила духа! Мужество! Благодать, сошедшая свыше! Дар Божий!» — на обратном пути проникновенно говорил мой спутник.

А я молчал. Хотелось спросить: кого он спас? Каким образом? Я, низменный червь, не мог представить, как можно не мыться столько времени. Неужели святость исключает элементарную чистоту тела? Не самообман ли все это? И если мой спутник уходил с холма просветленным, то я — еще более смятенным. Я не понимал смысла этой жертвы, самоистязания. Нужна ли такая жертва Богу?

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Надо признаться себе, что наша вера в Господа неглубока, или ее вообще нет, она не идет дальше того: а вдруг поможет?

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

После Сирии я оказался в Черногории — с незабвенным моим другом и великим православным подвижником скульптором Вячеславом Михайловичем Клыкковым. Не знаю, он ли попросил или предложили наши черногорские друзья, но 12 мая, отложив все другие дела, мы поехали в вырубленный высоко в горах в отвесной скале монастырь Святого Василия, как оказалось, в день его преставления.

Какие только чудеса исцеления за Святым Василием не числились! От автомобильной трассы узким и крутым восьмикилометровым серпантинном над пропастью мы поднимались к монастырю, обгоняя обремененных тяжелыми болезнями паломников, некоторые из них весь этот путь от автотрассы, прося исцеления, шли уже который день на коленях...

Прижавшись лбом к холодной стене-скале храма, я и здесь просил за тебя...

Мог ли я предположить, что это последняя наша совместная дорога со Славой, только так Вячеслава Михайловича любовно называли в теперь уже бывшей Югославии. Мог ли я предположить, что его изнутри уже тоже, пока еще тайно, съедает тот же проклятый рак и что ему осталось жить всего полтора года... Ему не зачлись ни памятник игумену всея Руси Сергию Радонежскому — в России и Сербии, ни памятник Николаю Чудотворцу — в России и в Италии, ни памятник святой великомученице Елизавете Федоровне, ни памятник Пресвятой Богородице здесь, в Черногории, открывать который мы сейчас прилетели, ни памятники другим православным святым, ни весь его титанический подвижнический труд во славу Божию и во славу России. Ни восстановленный храм на месте погибшей родной деревни, которую он мечтал возродить и собирался первым поставить там дом, чтобы быть примером для других, и которую теперь без него никто не возродит. Неужели он, у кого на Земле осталось столько незавершенных дел, который был так необходим тут, потому как в России осталось мало подобных ему людей, уже более был нужен там? После тройных похорон в один год: сестры, матери и тебя —



у меня не хватит душевных сил поехать на его похороны. Потом я буду оправдывать себя тем, что, может, по воле Божией, а скорее, по его воле — мне не нужно было видеть его в гробу, как до этого, в последние его месяцы, — поверженным смертельной болезнью, что он должен остаться в моей памяти сильным, мощным, несокрушимым. Я соберу душевные силы поехать только на годовщину: прекрасный, белокаменный, поставленный им по собственному проекту храм одиноко стоял на пустыре, на месте погибшей деревни, в окружении заброшенных полей, и рядом — его одинокая могила... Неужто Господь был против, чтобы возродилось хотя бы одно село — в пример другим, как символ возрождения России?

Теперь я думаю, может, тогда Слава сам напросился поехать к Святому Василию? Может, он уже тогда все знал о себе? Вспоминаю, как он долго, более часа, на коленях, молился перед образом святого. Ведь первый его приступ, когда в мастерской ночью он упал с лесов, а мы посчитали, что это просто от переутомления, случился незадолго до этой поездки.

Жизнь при тебе, но уже почти без тебя...

Чтобы хоть что-то сделать для тебя, хоть как-то уменьшить, сгладить свою вину перед тобой, хоть как-то оставить тебя на этом свете — в памяти других, не только меня, даже после меня, раз у нас нет детей, я посвятил тебе один из своих последних рассказов — о странном сорочонке Тишке, неизвестно почему вдруг возлюбившем меня: стоило мне приехать на дачу, он откуда-то прилетал, безбоязненно садился передо мной или даже мне на плечо и что-то лопотал и лопотал, словно предупреждал о чем-то. Я позвонил в Москву в издательство, чтобы успеть в корректуре поставить посвящение. Успели, как и успели прислать книгу. Я оставил ее у тебя на подушке — как бы случайно открытой на странице с посвящением.

Ты, по крайней мере, внешне — осталась к этому равнодушной. Что-то хотела сказать, но промолчала...

Таким образом я попытался хоть как-то искупить свою вину перед тобой, хотя она была неискупима, и удержать память о тебе на этом свете...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Где-то после Нового года позвонила моя единственная сестра: перенесла операцию, что-то с печенью, чувствует себя плохо. В своих печальных заботах я не придавал этому серьезного значения: после операции всегда чувствуют себя плохо. Оказалось, что родственники скрыли от нее, что у нее рак, одновременно скрыли и от меня, полагая, что мне хватит и одного рака.

Ты говорила с сестрой по телефону, тоже успокаивала, что после любой операции тяжело: «Мне вот конец предписан, а ты, что сравнивать, постепенно поправишься...» С сестрой ты дружила.

Но летом позвонила племянница, сказала, что дни сестры сочтены, рак печени, что если я сколько-нибудь повременю с приездом, можно и не успеть. Я, не откладывая, поехал, от сестры ничего не осталось: кожа да кости, лимонно-желтая, высохла больше, чем даже ты, на лице ясная печать смерти. Но, в отличие от тебя, она верила до последнего часа, что выздоровеет, потому что не знала, что у нее рак, что она обречена.

Как она смотрела в окно, провожая меня... Перед тем как сесть в машину, я оглянулся и встретил ее взгляд, глаза ее знали, что она обречена, что мы видимся в последний раз, а она не знала. Я отъехал за угол и долго стоял, прежде чем, наконец, решил выехать на автостраду... Я знал, что больше я ее живой не увижу. Когда я через неделю приехал на похороны, мне рассказали: «Постеснялась попросить тебя, чтобы ты забрал ее с собой в город, она верила, что если бы ты забрал ее в областную больницу, ее непременно бы спасли...»



Когда позвонили, что моя сестра умерла, неожиданно опередив тебя, и тоже от рака, ты совсем замкнулась в себе и печально успокоилась. Ты поняла, что никакого чуда тебя не ждать, что очередь за тобой...

Жизнь с тобой, но почти уже без тебя...

Ты упорно, с трудом держа лопату, копалась в саду-огороде. Ты считала, что не можешь умереть, пока в саду, который был твоим детищем, не были закончены все предосенние работы...

Ты уже с трудом ходила. Без слез не могу вспомнить, как ты собирала свои последние в жизни грибы: уже спотыкаясь, с тростью, которую купили, когда много лет назад, после травмы в горах, мне сделали операцию на ноге по поводу остеомиелита. Потом я хотел ее выбросить, а ты меня остановила: может, еще пригодится. И вот пригодилась. Еле передвигая ноги, с трудом ты вышла за ворота в березовую рощу. Корзину держать в руках ты уже была не в силах, потому взяла пластиковый пакет и уже через полчаса вернулась с ним, полным аккуратных, один к одному, молодых сырых груздочков. Какой гордостью и какой печалью при этом светились твои глаза: сосед-грибник только что до тебя прошел рощей и ничего не нашел. Зачем тебе был нужен тот свет, даже рай?!

Это была, кажется, твоя последняя поездка на дачу. Уже за несколько дней до нее ты то и дело напоминала мне, что по пути нужно будет обязательно заехать в магазин «Дачник» и кое-что купить. Спотыкаясь, опираясь на трость, неестественно возбужденная, неестественно громко разговаривая, ты ходила по магазину и выбирала разные мелочи, которые тебе дома, в саду понадобятся не сегодня, и даже не завтра, а через месяц, через два, может, только на следующий дачный сезон, таким образом ты надеялась продлить свою жизнь: раз ты купила эти вещи, не может же быть, что они останутся не использованными, напрасно купленными?!

Так все это и лежит до сих пор в фирменном магазинном пластиковом пакете...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

После очередной химиотерапии у тебя случился микроинсульт, но дежурила в ту ночь твой лечащий врач, ее вовремя позвали, и она успела вытащить тебя почти с того света. Я узнал об этом только на следующий день к вечеру, в больничный тихий час, приехав навестить тебя. Ты уже даже улыбалась, хотя улыбка получилась жалостливой, потому как рот после микроинсульта как бы съехал набок. Ты попросила съездить на дачу, привезти теплый фланелевый халат, в свое время в спешке оставленный там, а заодно проведать собак:

— Вчера они что-то снились мне...

Приехал на дачу, открываю ворота. Вышел встревоженный сосед:

— Что-нибудь случилось? Ночью вдруг завывли все три собаки, и мы никак не могли их успокоить...

Жизнь еще при тебе...

Было прощенное воскресенье, мы оба знали, последнее в твоей жизни. Я встал перед тобой на колени:

— Прости меня, Воробышко?! — хотя знал, что прощения мне нет и не может быть, и ничего уже невозможно изменить: обратно, чтобы что-то поправить, не то что года, дня нельзя отсчитать.

— Я тебя давно простила! — опустила ты руки на мою грешную голову, мягко вороша волосы, и мне стало немного легче и гораздо горше, наверное, мне было бы



легче, если бы ты меня не простила, тогда бы получалось, что ты приняла на себя часть нашей общей вины. Не знаю, простила ли ты на самом деле или постаралась успокоить меня, ведь все равно уже ничего не изменить.

Неужели все твои страдания и все мои страдания были только для одного, чтобы мы, в конце концов, друг друга поняли и друг друга простили? Но для чего? Для будущей жизни, в которой мы встретимся, и все у нас будет иначе? Мы как бы повторим свою земную жизнь, только уже без ошибок?..

Только однажды, измученная страданиями, а главное — страшными безысходными мыслями, ты не сдержалась: «Ты оставил меня бездетной. Ты лишил меня счастья материнства».

Это было не совсем правдой, это было совсем не правдой. В старое время я бы взорвался и наговорил бы кучу возражений, в том числе несправедливых, что, наоборот, ты оставила меня бездетным, а сейчас покорно встал перед тобой на колени:

— Воробышко, теперь уже все поздно. Теперь мы должны жалеть друг друга, хотя бы потому, что я тоже живу на пределе. И ты меня пожалей хотя бы только потому, что может получиться, что я не выдержу и умру раньше тебя. И хоронить тебя придется чужим людям.

Жизнь еще при тебе...

Я настаивал на соборовании. Ты не то чтобы противилась, но все временила, потому что считала, что соборуют уже совершенно безнадежных, перед самой смертью, а ты все еще надеялась на чудо, в тебе еще теплилась надежда, надежда на Матерь Божию, что она услышит тебя.

— Я все поняла, все осознала, всех простила, но дал бы Бог хоть немного пожить на Земле. Я никому бы не мешала, жила бы на даче с собаками... — в который раз повторяла ты.

Я ожидал, что священник будет говорить об ином мире, о душевном приуготовлении к нему, а он неожиданно стал говорить о надежде, что бывает чудо, когда при раке люди встают со смертного одра, что надо надеяться.

Я стоял позади него, потрясенный: зачем? зачем он обманывал ее? Неужели в этом обмане смысл соборования?

Меня и раньше смущало, что этот священник, статный и благообразный, на проповеди в церкви говорил очень красиво, несколько артистически, прихожанам это нравилось, но меня почему-то как раз эти красавица и артистичность смущали...

Священник отказался от денег. Потом он приехал на отпевание тебя в чужой для него храм — помочь местному священнику, и опять отказался от денег.

Я позвонил ему через год, хотел попросить отслужить литию на твоей могиле, и узнал, что он в очередной раз сорвался, запил (об этом его недуге я не ведал), и владыка в наказание отправил его служить в какой-то отдаленный сельский храм: село все стерпит...

Почему-то у меня из головы не выходит этот священник: добрый, хороший человек, но почему-то мне тогда подумалось, что он, может, меньше меня верует в Господа Бога и в нашу загробную жизнь, может, потому и запил...

Жизнь при тебе, но уже почти без тебя...

Это было уже после последнего курса химиотерапии, по сути, напрасного, только еще больше измучившего тебя и, может, даже приблизившего твой уход. Врачи принимали это, но отказаться от нее не могли, иначе их обвинили бы в том, что они не сделали все возможное, и надзирающий орган или я могли бы подать на них в суд. Это одна из страшных тайн онкологии, как и медицины вообще, что некоторые, как правило, очень дорогостоящие лекарства или процедуры предписываются больному и даже обязательны (и лечащий врач при всем желании ничего не может противопо-



ставить этому, ведь он может быть обвинен в смерти больного) только потому, что на производстве этих, зачастую бесполезных и даже вредных, с взвинченными до предела ценами, лекарств и препаратов жирует — вкупе с медицинскими чиновниками — международная мафия по производству медицинских препаратов.

Даже уже став безнадежно больными, когда можно и нужно отбросить в сторону все условности и, может, отдаться родным и молитве, — мы не можем, не имеем права порвать с навязанным нам образом жизни, продолжаем идти на поводу у медицины и социальных служб: иначе не оплатят больничный, иначе не выплатят пенсию, иначе... И продолжаем без сопротивления катиться по проложенному руслу к неминуемому концу. Когда, казалось бы, надо бросить все и попытаться в одиночку, наперекор всему, наперекор течению поплыть к прежнему берегу жизни. Тогда, может, был бы хоть один шанс из тысячи, из миллиона...

После облучения ты была уже без волос — в парике. Уже — как безнадежная — выписана из клиники, перед этим посажена на наркотики, которые, по утверждениям врачей, или кто из чиновников придумал для красивой отчетности это изуверский термин, — улучшали «качество жизни» (врагу бы не пожелал такого «качества» жизни), с воспаленными и неестественно расширенными глазами от этих наркотиков и оттого, что метастазы опухоли в головном мозге давили на них изнутри. Я снова и снова вспоминал упавшую на икону Младенца-Бога твою неосторожную свечу: может, это бы предупреждение нам? Правда, под воздействием курса радиотерапии опухоль в мозге в последнее время вроде бы локализовалась, даже уменьшилась, это хорошо было видно на рентгеновском снимке, и даже у лечащего врача, сразу после операции сказавшей мне и позже несколько раз подтвердившей, что никакой надежды на выздоровление при плоскоклеточной карциноме третьей степени нет, — появилась надежда на лучшее. Она, оказывается, вопреки своему громадному печальному опыту, вопреки всему, за два года привязавшись к тебе, даже подружившись с тобой, все-таки тоже лелеяла какую-то надежду. Неужели она так с каждым больным? Она дала мне записку к известному профессору-нейрохирургу для консультации на предмет возможной операции на мозге, и ты, беспредельно уставшая от операции по удалению легкого и изматывающего «лечения», и уже смирившаяся с судьбой, сначала совсем не обрадовалась этому, потому что это не обещало ничего, кроме новых страданий:

— Я уже не вынесу этой операции, уже нет никаких сил... Может, смириться?..

Я промолчал, уже не зная, кого больше жалеть, тебя или себя, представив впереди очередной круг наших мучений. Но к вечеру ты уже твердо решила, что пойдешь и на эту операцию, несмотря на все мучения, связанные с ней. Ты по-прежнему страстно хотела жить или хотя бы сколько-нибудь продлить жизнь. Но в последние дни ты стала жаловаться на сильные боли в позвоночнике. Лечащий врач направила тебя на рентген, и по тому, как на следующий день, выйдя из рентгенкабинета, она хмуро, опустив глаза, пробежала мимо нас, сидящих в коридоре в ожидании результата рентгеноскопии, я понял, что дела наши плохи, а ты уже этого не замечала, жила надеждой, связанной с будущей операцией на мозге, ты уже плохо соображала, а лечащий врач, под каким-то предлогом отозвав меня в сторону, объявила, что у тебя уже весь позвоночник поражен метастазами, и я видел, что это было ударом и для нее...

Для меня она так и осталась загадкой: лет сорока, миловидная, строгая, немного сутулая, малословная, даже суховатая, никто из больных не видел ее улыбающейся. Нам потом говорили: вам повезло, что попали к ней, потому что за внешней сухостью кроется добрая душа, просто в раковом центре держать себя иначе нельзя, сам сломаешься. Еще про нее рассказывали, что она буквально вытащила с того света, выходила больного, а потом вышла за него замуж. Теперь он, инвалид, терроризирует ее и общую дочь. Не знаю, так ли это на самом деле. Однажды ты попросила меня подвезти ее до дома и обратно: ей нужно было срочно забрать какие-то документы. Я поразился разительной перемене в ней, вне стен ракового центра она



была совсем другая: никакой сутулости, моложе, очень красивая, смущающаяся, с очаровательной улыбкой. Потом я еще несколько раз подвозил ее домой или до травмпункта, когда она подвернула ногу и была на больничном, потому что обнаружили трещину в лодыжке, но все равно ходила на работу, потому что не могла или не на кого было оставить своих больных. Мне было легко и приятно с ней, мы как бы подружились, в такие минуты мы говорили с ней о чем угодно, только не о твоей болезни, а если все-таки разговор заходил о тебе, то так, словно ты была здорова и впереди у тебя были долгие годы. Словно между нами не стояла твоя близкая смерть. Она познакомила меня со своей дочерью, студенткой мединститута. Словом, у нас сложились добрые отношения.

Ты, видимо, заметила это. Потому что однажды неожиданно сказала мне:

— Мне кажется, вы симпатичны друг другу. У нее судьба не сложилась. Я была бы рада, если бы после меня вы нашли дорогу друг к другу.

После этого разговора я невольно задумался. Да, она мне была симпатична. Молодая, красивая, сильная женщина. Кроме всего прочего, за ней, наверное, как за каменной стеной. Но как жить с ней, каждый день встречающейся со смертью?! Как только я вспоминал, кто она по профессии, что она каждый или почти каждый день имеет дело с безнадежными раковыми больными и определяет людей на тот свет, у меня замирала душа. Она будет опаздывать с работы, а я буду думать, что в этот момент у нее кто-то умирает. Моего мужества не хватит и на несколько месяцев жизни с такой женщиной. Или я должен буду в корне измениться и изменить свое отношение к смерти. Откуда в ней такие силы? И, наверное, нужно иметь особого устройства душу, чтобы добровольно стать раковым врачом. Или надо быть хладнокровным, равнодушным роботом...

Раковый центр: сколько страданий видел он! Мы говорим о какой-нибудь церкви: эта церковь намолена, ей уже почти сто лет. А сколько молитв было вознесено к Господу здесь? Старушка, старшая медсестра, которая уже пятнадцать лет назад должна была выйти на пенсию, но не уходит, и не только потому, что у нее маленькая пенсия. Я не могу понять, только смутно догадываюсь, что ее держит здесь. Она знает, кто когда умрет, но с каждым ведет себя так, словно он выйдет отсюда здоровым. Наивные подарки безнадежных больных, наивные взятки, которые ничего не изменят в их судьбе. И которые тем не менее берут. Цинизм врачей и медсестер? Но тут есть вторая сторона: если не возьмут, значит, ты безнадежен или безнадежна. А раз взяли, значит, есть какая-то надежда.

Я не могу забыть, как лечащий врач оживленно обсуждала новинки парфюмерии и моды с твоей очередной соседкой по палате, которую перевели сюда после операции из туберкулезного диспансера, с виду вполне здоровой, розовощекой молодой женщиной, которая в мое отсутствие ухаживала за тобой и очень жалела тебя. А потом я узнал от тебя, а ты не могла узнать ни от кого другого, кроме лечащего врача, что твоя соседка не просто безнадежна, но что ее дни сочтены, и вся ее операция состояла в том, что разрежали и, убедившись, что легкие представляют собой сплошную опухоль, снова зашили, а она даже не подозревала об этом, ведь легкие не болят. Перевод в раковый центр ей объяснили лучшим уходом за послеоперационными больными и наличием лекарств. Более всего в этой истории меня поразило, что врачи, держа в тайне от безнадежных больных их судьбу, делятся этой тайной с другими, столь же безнадежными, больными. Не знаю, может быть, в этом есть какой-то психологический смысл: раз со мной делятся тайной безнадежного больного, значит, я не безнадежен...

Когда ты умерла, я позвонил лечащему врачу. Скорее всего, не нужно было этого делать, потому что каждый такой звонок был для нее, наверное, своеобразным укором. Но она все-таки была для нас не просто лечащим врачом, и потому я позвонил. Она в ответ сказала что-то невнятное. Разумеется, она не пришла на твои похороны, если бы она ходила на похороны всех своих пациентов, ей некогда было бы работать или она давно была бы в сумасшедшем доме.



Жизнь при тебе, но уже почти без тебя...

Самое страшное, что у тебя произошли изменения в психике. Это была ты и в то же время — уже не ты. Ты жила как бы в промежуточном состоянии между нормальными людьми и обреченными. Ты говорила: «Мы, онкобольные, у нас, онкобольных...» Радовалась любой заботе (или псевдозаботе) государства о раковых больных. Радовалась и даже гордилась, что в магазине париков тебе сделали чуть ли не 50-процентную скидку на парик. А я подумал, что магазин париков не случайно обосновался недалеко от ракового центра... Парики дорогие, парики дешевые... Рак косит людей независимо от благосостояния, но богатые и здесь пытаются показать, кто они...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Вспоминаю, как ты, уже с трудом сидя на постели, поддерживаемая подушками, с сестрой разбирала свои немногочисленные и недорогие украшения. Я никогда не баловал тебя ими, ты по скромности нашего бытия их не покупала, кроме дешевых безделушек, и то, как правило, во время отпускных поездок, как сувениры. Да и равнодушна была ты к дорогим украшениям. Я не мог без слез наблюдать, как ты разбирала эти безделушки. Как загорались твои глаза, когда ты вспоминала, в какой поездке что купила, казалось, даже на время ты забыла про свое состояние, эти безделушки как бы возвращали тебя в прошлое, давали надежду, ты уходила в мир иной, если он был, а они оставались, так не должно было быть, а потом, когда все было распределено, кому что отдать, долго молча смотрела в потолок, а потом долго и безутешно рыдала. И было бессмысленно тебя утешать...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Сначала ты, провожая меня на работу, шла со мной до порога. Потом, уже с трудом вставая, лишь подходила к окну. Выходя на улицу, я видел тебя в окне на девятом этаже и долго еще чувствовал твой печальный, выматывающий мою душу взгляд. И всегда представлял себя на твоём месте. Ты думала и о том, как я буду жить без тебя...

Но пришло время, когда ты уже не могла подойти и к окну. И мы общались только по мобильному телефону. И с каждым днем твой голос был все слабее и слабее...

Я жил словно во сне, а точнее, словно в бреду, порой не додумываясь до самых простых вещей. До сих пор не могу себе простить, что не сообразил, не купил телефонный удлинитель и не поставил тебе на постель городской телефон. А потом выяснилось, что удлинитель я купил, но забыл про него. Когда тебе позвонила откуда-то издалека, из-за границы твоя близкая подруга, ты не смогла с ней поговорить и в слезах, в отчаянии бросила мне:

— Ты даже такой мелочи не мог сделать для меня...

Я до сих пор не могу себе этого простить...

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Ты говорила уже с трудом:

— Потом не забудь, твои осенние туфли в шкафу, в самом низу. Когда на улице уже будет холодно. В суматохе похорон можешь забыть. Избаловала я тебя, ты ведь даже не знаешь, что где лежит. И еще боюсь, что ты однажды оставишь не выключенными утюг или электроплиту, как бывало не раз.

А это были твои чуть ли не последние слова:



— Не женись на первой попавшейся женщине, — глядя меня, низко склонившегося над тобой, по голове, прошептала ты, всю жизнь ревновавшая меня, с основанием и без основания. Ты заботилась обо мне, думала, как я буду жить, точнее, доживать без тебя.

Я молчал, ты не знала, что если бы я встретил ту единственную, которая беспрельдно поверила бы в меня, я, без сомнения, давно ушел бы к ней, а ты, может быть, нашла бы свое счастье с другим, ведь твоей руки, даже когда ты уже была замужем, добивалось столько мужчин, но, увы, такую женщину я так и не встретил.

Ты ревновала меня всю жизнь, а жениться мне после тебя не на ком. Я никого не мог представить на твоём месте. А тебе все казалось, что я только и ищу повода убежать от тебя.

— Может, Татьяна? — невесомо обняв меня, кажется, в последний раз своей уже бестелесной, слабеющей рукой, с трудом прошептала ты о женщине, с которой, ты подозревала, у меня был роман и которую ненавидела.

Я промолчал, хотя хотел сказать, что, кроме всего прочего, Татьяна давно замужем и что я никого не могу представить на твоём месте. Но почему-то промолчал, о чем жалею до сих пор.

До сих пор жалею, что тебе этого не сказал. Не знаю, легче или тяжелее было бы тебе с этим знанием умирать, что у меня никого нет.

Жизнь с тобой, но почти уже без тебя...

В один момент я поймал себя на мысли, что жду твоей смерти, что она, наконец, прекратит твои и мои мучения. Однажды ночью, когда ты потеряла сознание и стала, задыхаясь, метаться, я не вызвал скорую, во-первых, зная, что это бесполезно, что она быстро не придет и на мой вопрос, почему долго не приезжали, приехавший врач-интерн будет с укором говорить, что к безнадежным раковым больным они едут в последнюю очередь, потому что нужно спасать тех, кого еще есть надежда спасти. И по-своему они были правы. А во-вторых, если они и успеют приехать, тебе сделают поддерживающие сердце уколы, которые только продлят твою агонию... Ты жутко, со стоном закричала, а потом затихла, и я решил, что это все, и уткнулся лицом в постель рядом с тобой, но ты вдруг открыла глаза и спокойно, не подозревая о только что случившемся, попросила пить, и я не решился рассказать, что с тобой было и что я с тобой уже попрощался... Мне было стыдно перед тобой. И было горько за себя.

Ты после этой ночи жила еще неделю.

Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Ты знала, что твои дни на этом свете сочтены, но до какого-то времени все еще надеялась на чудо. Ты уже не верила врачам, но истово продолжала верить в Матерь Божию, что она не оставит тебя. Ты молилась перед иконой «Всецарицей», в надежде, что Она даст тебе возможность еще хоть немного побыть на этом свете. Ты молилась дома, ты молилась в церкви, куда, когда тебе становилось полегче, я тебя отвозил, все той же «Всецарице», которая в некоторых случаях, когда человек осознал свои грехи, исцеляет даже безнадежных раковых больных, но всю службу ты уже выстоять не могла.

Как ты до самых последних дней хотела жить! Боже мой, как ты хотела жить: смиренно, тихо, никому не мешая! Не раз, возвращаясь домой, я заставал тебя на коленях перед этой иконой, шепчущей молитву: «О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными



недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!.. Простри руке Твои, исполненный исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

И только в самые последние дни ты стала равнодушной ко всему, молча, ча-сами, замкнувшись, смотрела сквозь оконное стекло в небо. Что ты видела там? Ты пропускала мимо ушей даже мои сообщения о твоих любимых собаках. Тебя в этом мире, на этой Земле, кажется, уже ничто не интересовало.

Неужели ты мыслями и душой уже была в ином мире?

Только страшные боли заставляли тебя время от времени звать меня и просить, чтобы я поднял тебя выше на подушки, или, наоборот, убрал из-под головы одну из них.

— Господи, забери меня, я больше не могу, — не в силах больше терпеть, прошептала ты однажды.

Кажется, через неделю или чуть позже Господь и забрал тебя, может, посчитав, что ты, наконец, созрела для того, чтобы без жалости проститься со всем земным. Неужели обязательно нужно человека физическими и душевными страданиями довести до такого состояния, чтобы жизнь стала невыносимой, чтобы он сам попросился в мир иной, и неважно, есть он или только придуман? Неужели столько времени Господь ждал от тебя этой просьбы? А как только дождался, забрал к себе?

А было это так. Шла вторая половина августа, ты, как обычно, неподвижно и молча глядя в окно, в синеву неба без единого облачка, вдруг, не повернувшись ко мне, но зная, что я рядом, вдруг прошептала, словно прочитала там, в небе:

— Это случится в конце августа или в начале сентября.

Ты боялась слов «смерть» и «умру». Ты сказала: «Это случится...»

Это случилось 5 сентября в четыре часа дня...

...Ты смотрела вроде бы на меня, но в то же время куда-то мимо или сквозь меня, вверх, словно пыталась там что-то увидеть или уже увидела...

Потом ты глубоко вздохнула и медленно, почти неслышно испустила дух. Я осторожно поцеловал тебя в губы, они не ответили — раньше они отвечали, даже когда ты была без сознания. Я приложил к твоим губам зеркало — оно не запотело...

Трудно описать чувство, которое я тогда испытывал. Скорбь моя по тебе, казалось, уже давно вся изошла, осталась лишь жуткая усталость, но я знал, что потом скорбь снова вернется и станет еще безысходней, а сейчас я испытывал нечто вроде радости: нет, не оттого, что ты, наконец, освободила меня от мучений, и даже не оттого, что ты сама, наконец, отмучилась. Глядя на твое лицо, я испытал радость, видя, что ты испытываешь сейчас. Твое лицо менялось на глазах, стало спокойным и умиротворенным. Ты становилась моложе и красивей. Какой, наверное, была только в юности, когда я тебя встретил...

Каким молодым, прекрасным и одухотворенным стало твое лицо через какое-то время после смерти — поразились даже врачи, которые по роду своей профессии вроде бы уже ничему не должны были удивляться.

Но это состояние держалось всего несколько часов, может, около суток...

Потом передо мной лежала в гробу уже не ты...

Жизнь без тебя...

Я возвращался с похорон и поймал себя на мысли, что сейчас приду домой и расскажу тебе, кто был на похоронах. Кого мы совсем не ожидали видеть, кто, наоборот, не пришел...



Жизнь без тебя...

Пытаясь как-то осмыслить твою смерть и смерть вообще, обложился святоотеческой литературой.

Читаю:

«Одно из самых чудесных богослужений в Православной Церкви — это служба похорон. Она начинается словами, которые можно произнести только из глубины крепкой веры или напрягая все силы своего доверия к Богу: “Благословен Бог наш”. Благословен Бог на жизнь, но и благословен Он и на смерть. Но вспомни: когда Христос стоял перед лицом своей смерти, Он сказал ученикам: “Если бы вы Меня по-настоящему любили, то радовались бы за Меня, ибо Я отхожу к Отцу Своему...” И мы перед гробом таинственно созерцаем величественную встречу Бога и человека, момент, когда завершается весь земной путь человека, и он приходит домой».

Не могу выразить своего отношения к этому жутковатому утверждению, что «одно из самых чудесных богослужений в Православной Церкви — это служба похорон». Душа моя и разум сначала решительно не приемлют его, решительно восстают против него, но я снова и снова вспоминаю твое отпевание, необыкновенно торжественные слова священника: «Благословен Бог наш...» — и то необъяснимое чувство, которое я испытал при этом, и вроде бы начинаю соглашаться с сим утверждением...

Жизнь без тебя...

Читаю:

Архиепископ Иоанн (Максимович): «В течение первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может посещать на земле те места, которые ей дороги, но на третий день она перемещается в иные сферы».

Святоотеческое предание сообщает, что Ангел, сопровождавший в пустыне святого преподобного Макария Александрийского, сказал: «Душа умершего получает от стерегущего ее Ангела облегчение в скорби, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней Ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнездо себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение говорить правду...»

Конечно же, твоя душа посетила наш сад. Она не могла его не посетить, потому что в последние годы он был для тебя всем. Получается, что ты посетила его без меня. Я занимался похоронами, а ты в это время была в саду, потому что другого такого любимого места у тебя на Земле в последнее время не было. Разговаривала с деревьями, с собаками, из нашего бывшего огорода, который мы забросили, когда ты заболела, смотрела вниз на речную долину, на горизонт...

Может быть, ты не жалела, что меня нет с тобой, может быть, наоборот, я был даже лишним при этом прощании. Сад был тебе ближе, чем я, потому что он никогда тебя не предавал.

«Следует сказать, что эти два дня не являются обязательным правилом для всех. Они даются лишь тем, кто сохранил привязанность к земной мирской жизни, и кому трудно расстаться с нею и знать, что никогда уже он не будет жить в мире, который покинул. Но не все души, расстающиеся со своим телом, привязаны к земной жизни. Так, например, святые угодники, которые совсем не привязывались к земным вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир, не влекутся даже и к местам, где они творили добрые дела».



Не знаю, почему-то у меня, верующего или стремящегося верить в Иисуса Христа, нет благоговения перед этими святыми угодниками. Как это возможно: не любить Землю, на которой родился, как возможно не быть привязанным душой к Земле, если ты даже временно на ней?! Получается, что мы действительно на Земле только для исправления пороков, и она — не дом наш?

Нет, твоя душа обязательно посетила наш сад, дом, родник, прошла по только нам известной тропе на электричку, на деревьях появились первые желтые пряди...

Жизнь без тебя...

Читаю:

«Души грешников претерпевают до всеобщего суда различные мучения, как от угрызений совести, так и от злых духов, во власти которых они находятся. Если люди и умерли во грехах, но положили на земле начало покаяния и творили добрые дела, то по великому Божиему милосердию, за молитвы их близких и родных души их будут возведены из ада.

Души умерших не лишаются своих чувств и не теряют расположений своих, то есть надежды, радостей и скорбей, ожиданий всеобщего суда...

Жизнь душ грешных до всеобщего суда, по учению Православной Церкви, состоит, во-первых, в ясном и подробном осознании своих грехов, которыми они оскорбляли в сей жизни Бога, и угрызений совести, которая там пробудится со всей силой. Во-вторых, в мучительном томлении и тоске оттого, что их привязанность к плотскому и земному теперь не может уже находить удовлетворения. А к небесному и духовному желание и вкус не раскрыты, и не могут они раскрыть их. В третьих, в удалении от Бога и святых Его, а вместо того, в сообществе с другими, подобно несчастными душами и особенно со злыми духами, и в других действительных муках ада, что будет, впрочем, только началом и предвкушением вечных мук...»

Жизнь без тебя...

Читаю:

«Хотя душа и духовна, но она, как имеющая границы, сохраняет свою человеческую форму и по исходе из тела. Страдания ада передаются чисто духовными законами, которые для нас, облеченных плотью, не всегда объяснимы, но ощутимы. Если тебе доводилось испытывать некоторое томление души, оскудение жизни, то тебе будет частично понятно мучение души».

Жизнь без тебя...

В последние месяцы мы общались с тобой больше по мобильному телефону: я звонил тебе из дома, когда ты была в клинике, я звонил с работы или с дачи, когда ты была дома. Зная, что я нарушаю всякие правила, подозревая, что у меня едет крыша, в самый последний момент, прежде чем закрыли крышкой гроб, я незаметно положил тебе в ноги твой мобильный телефон...

И на другой день, и еще несколько дней, замирая, набирал твой номер, в ответ было: «Абонент недоступен или вне зоны действия сети».

Потом мобильник замолчал.

Жизнь без тебя...

Ты, конечно, помнишь: из каждой своей дальней поездки я обычно привозил несколько пленок фотографий. Мы с тобой любили их рассматривать. Мне не однажды говорили, что у меня талант фотохудожника. Некоторыми фотографиями



я действительно гордился. Когда ты умерла, я неожиданно для себя перестал фотографировать. А если даже — как бы по инерции — фотографировал, потому что не мог пропустить удачный кадр, то не печатал фотографии. Зачем? Кому я теперь все это оставляю? Я не знаю, что делать со всеми прежними фотографиями. Уже безнадежно больная, ты собиралась собрать их в альбомы, но не успела, может быть, потому, что уже догадывалась об их судьбе.

С неимоверной болью смотрю на твои фотографии последних лет, как правило, на даче: на лыжах, с собаками... Кому я оставляю их после себя? Может быть, самое страшное в том, что ты еще в какой-то степени будешь жива, пока я жив. А потом твои фотографии вместе с моими выкинут как ненужный хлам, и ты вместе со мной затеряешься в земной безвестности.

Только теперь я понял, почему старые люди перед смертью сжигают свои фотографии, письма...

Жизнь без тебя...

В первый раз после твоей смерти в Москве. Ловлю себя на мысли, что нужно позвонить домой, отчитаться, почему не звонил весь день. А звонить некуда и некому. Странное это ощущение, когда нигде на планете никто тебя больше не ждет.

Полная свобода, которая не только не нужна, а которая даже страшна...

Жизнь без тебя...

На даче пошел на родник за водой, хотя знал, что воды в нем нет, родник в этом году замолчал очень рано, еще в конце августа, как ты помнишь, в прошлом году была сухая осень, снег лег на мерзлую землю, и ты переживала, что в саду вымерзнут деревья. Переживала, хотя знала, что умрешь раньше их.

От родника смотрел вниз, в липово-осиновый распадок, где раньше у нас была с тобой зимняя тропа на электричку, очень аккуратная, потому что мы ее и проложили, и кроме нас с тобой по ней никто не ходил. Проложил я тропу по распадку потому, что ее тут в метели не передувало. Местами тропу пришлось буквально прорубать, пропиливать через упавшие деревья. Зимой я обычно приезжал на дачу на день раньше, чтобы разогреть остывший за неделю, а то и за полмесяца дом. А наутро шел к роднику встречать тебя, прихватив ведра, чтобы заодно набрать воды. В ведрах плавали, позвякивая о края, льдинки. Я ставил ведра в снег и, вслушиваясь в лес, смотрел вниз на тропу, откуда ты должна появиться. И собаки вместе со мной выжидающе смотрели вниз, они вычувывали или выслушивали тебя еще за поворотом и радостно бежали тебе навстречу. Радость была такой бурной, что они порой сваливали тебя в сугроб. А потом получалось, что я как бы встречал вас всех, и собаки так же радостно кидались ко мне, словно давно не виделись и со мной.

Теперь тропу то здесь, то там снова перегородили упавшие деревья. По ней давно никто не ходит. Это была только наша с тобой тропа. Подобным ей будет наш след на Земле, пройдет какое-то время, и никто даже догадываться не будет, что он был.

Уже ни Дружок, ни тем более Динка, дочь твоей Динки, отсюда, из распадка не встречали нас, они родились позже, когда у нас появилась машина, и зимой они ожидали нас с противоположной стороны, от Круглого леса, из деревни, где оставляли машину. Потому сейчас они недоуменно переводили взгляд с распадка на меня, не понимая, что я там хочу услышать или увидеть. Ноги начинают подмерзать, вода в ведре затягивается ледком, а я все стою и смотрю вниз, в распадок, и такое чувство, что собаки сейчас наострят уши и с радостным лаем бросятся навстречу тебе, выходящей из-за поворота. Но от прежней тропы, которую из собак помнит, может, только состарившийся бродяга пес Рыжик, — жив ли он? — не осталось и следа.

Тропа, как и ты, осталась только в моей памяти. А когда я уйду...
Какое все это имеет отношение к мировой истории?

Жизнь без тебя...

Метался по стране, и в каждом городе, в каждом храме заказывал панихиду по тебе: в Москве, Рязани, Иркутске... Но легче не становится, даже наоборот... Моя вина перед тобой меня гложет...

Жизнь без тебя...

Динка оценилась еще при тебе: под верандой у Козлова, но об этом я узнал только после твоей смерти. В последние твои поездки на дачу ты все гадала, куда Динка пропадает, обижалась на нее, подозревала, что та убегает, чуя твою смерть. После очередной химиотерапии она действительно сторонилась тебя, ее пугал этот резкий чужой запах, идущий от тебя, а точнее — из тебя. Увидев тебя, с трудом вылезавшую из машины после долгой разлуки, она радостно бросалась к тебе, а потом растеряннo останавливалась и начинала пятиться назад. Она ничего не могла понять: перед ней была ты и в то же время уже не ты.

— Динка, неужели я уже пахну смертью? — сквозь слезы спрашивала ты.

Динка боком, виновато опустив голову, кустами уходила в сосняк за нашим садом и больше уже не появлялась целый день. Ты очень тяжело переживала это, мы не подозревали, что она убегала к единственному щенку, хотя она обычно приносила пять-семь щенков, и мы не знали, куда их девать.

Щенка обнаружили случайно, когда ему было уже месяца полтора, Динка почти перестала его кормить, и он, голодный, стал высовываться из-под козловской веранды. Но сразу же прятался, стоило кому-нибудь приблизиться, а забраться под веранду из-за узкого лаза было невозможно. До меня только потом, через много времени, дойдет, почему Динка, чтобы оценить, выбрала такое место, что до него невозможно было добраться, раньше она обычно щенилась у нас под верандой: чтобы мы никому не отдали ее будущего единственного и последнего щенка. И мы не знали, что с диким щенком делать. Сторож Игорь нерегулярно кормил его, оставляя миску с едой у лаза под веранду. Потому щенок рос рахитичным.

Он не привык к людям, и когда его все-таки удалось извлечь из-под веранды и посадить на цепь, при появлении людей он прятался в конуре, и вытащить его можно было только за эту цепочку. У нас и без него было три собаки, к тому же щенок оказался сучкой, и садовый сторож Игорь с моего согласия несколько раз пытался от него избавиться: несколько раз договаривался в деревне, чтобы его забрали, но каждый раз в самый последний момент, даже не увидев его, по какой-нибудь причине от щенка отказывались. Тогда Игорь затолкал его в мешок и унес километров за пять в нижние сады, но уже на следующий день щенок вернулся. Тогда Игорь унес его в дальние сады, уже километров за восемь, он вернулся снова. Перегрыз веревочку, на которую его там посадили. И так он упорно возвращался каждый раз, и с какого-то времени, боясь очередного подвоха, перестал кого-либо близко подпускать к себе, ночами рыскал по садовым помойкам, благо что летом на них было, чем поживиться.

Потом Динка заболела. Когда я приезжал, поздоровавшись со мной, она тут же куда-то исчезала. Она ходила с горячей головой и гноящимися глазами, плохо ела. Однажды я вообще не обнаружил ее. Такое бывало и раньше, и я не очень-то беспокоился. Но она не появилась и на следующую пятницу. Тогда я пошел по всему садовому поселку искать ее, но никто ее в последнее время не видел. Я понял, что Динки больше нет. Но я не нашел ее и мертвой и решил, что она ушла умирать в лес. Мне кто-то говорил, что собаки, чуя свою смерть, уходят от человека.





Но потом пришел Султанов, наш сосед, и сказал, что неделю назад похоронил Динку. Приехав посреди недели, он нашел ее мертвой у себя на участке, около заколоченного лаза под веранду, где она двенадцать лет назад родила своих двух первенцев, а я перенес их к себе, как ты любила потом говорить: принес два ведра щенков. И еще Султанов сказал, что за два дня до этого видел тебя вместе с Динкой во сне.

Неужели он видел тебя во сне в день Динкиной смерти? Неужели Динка, любившая тебя больше всех, в том числе и больше меня, или, как все говорили, твоя собака, ушла вслед за тобой? (Потом соседи говорили, что если была бы жива ты, то обязательно бы ее выходила, как выходила ее раньше, болевшую чумкой.) Неужели она действительно ушла вслед за тобой, как умерли вслед за тобой посаженные тобой цветы?

Даже Султанов видел тебя во сне. Почему ты ни разу не пришла во сне ко мне? Сестра и та вроде бы один раз во сне окликнула, кажется, на годовщину своей смерти. Неужели ты меня все-таки не простила?..

А щенок так и жил у нас по-прежнему, неустроенным, бесхозным, без имени. Когда я спрашивал о нем, сторож Игорь пожимал плечами: «Никто не берет. Может, я еще раз его поймаю в мешок, а ты по пути в город где-нибудь его оставишь?» Но мне после твоей смерти не хотелось брать на себя такой грех.

Но однажды Игорь пришел с предложением: «Может, мы оставим ее себе? Неужели не прокормим? И Султанов вон говорит: давай вместо Динки оставим. Может, она специально для нас вместо себя оставила?» И у нас троих стало легче на душе, что таким образом разрешился этот вопрос. Но доверие щенка мы так и не заслужили: он подходил к миске с едой только ночью или тогда, когда мы далеко отходили.

Неужели Динка действительно знала, что этот щенок — последний, что она умрет вслед за тобой?..

Как не стало Динки — нас сразу обворовали: увели водяные баки из толстой нержавеющей стали, помнишь, которые в свое время я привез с Урала, со свалки оборонного завода. Ты, конечно, очень расстроилась бы, ты расстраивалась из-за всякой мелочи. А мне теперь как-то все равно, хотя, конечно, жалко.

Щенок по-прежнему не подпускал к себе, тем более не давался в руки. Он постепенно становился копией Динки, только, может, чуть поменьше: такие же стоячие острые уши, такие же внимательные рыжие глаза. Да и проявились Динкины сторожевые качества, хотя она по-прежнему пряталась даже от своих, но решительно облаивала чужих, а ночью вообще вела себя как настоящая сторожевая собака, в отличие от Дружка, который в деле охраны был лишь в помощниках у Динки, вахлак вахлаком, одинаково готовый приветить как своих, так и чужих.

Так и не выбрав для щенка имени, я стал его звать в память матери — Динкой, хоть так и не принято давать клички собакам. Ты в шутку звала умершую за тобой Динку «дикая собака Динка», хотя Динка была самой что ни на есть домашней собакой. А теперь у нас была действительно полудикая собака Динка. Она подружилась с Дружком, который был ей старшим братом, можно было видеть, как они трогательно и нежно относятся друг к другу.

Полудикая собака Динка с некоторых пор стала осторожно подходить ко мне, брать даже пищу с руки, но сразу же отпрыгивала в сторону, стоило протянуть к ней руку в попытке погладить, и, что удивительно, когда я первый раз назвал ее Динкой — она завилала хвостом. Она согласилась с тем, что теперь это ее имя. Она помнила, что так окликали ее мать.

Ей очень хочется приласкаться, она с завистью смотрит, как ласкается ко мне Дружок, как я глажу его. Так ей хочется приластиться, что она повизгивает, но в самый последний момент ее что-то останавливает. Хотя когда я уезжаю в город, ей так не хочется расставаться со мной, что она выбегает на дорогу и печально, как в свое время ее мать, смотрит мне вслед, а зимой, когда я ухожу с дачи на лыжах, она идет за мной до самой деревни, пока я не прикрикну на нее: «Домой!..»



Жизнь без тебя...

Вчера приходил приبلудный, уже совсем старый пес Рыжик, который каждое лето жил у нас, а на зиму, не согласный со скудной кормежкой у сторожа, уходил на одну из соседних турбаз, как ты говорила, на заработки, где спал, скорее всего, в котельной, потому как по весне всегда приходил черный, в угольной пыли...

С трудом грыз кости. Ныл, скулил, убедившись, что тебя нет, на другой день ушел.

Нет тебя... Кажется, это чувствуют даже деревья. Твои грядки быстро заросли травой, словно их и не было. Так бывает и с ушедшим человеком, только ты никогда не уйдешь из моей воспаленной памяти...

Жизнь без тебя...

Не знаю, попаду ли я когда-нибудь снова в Париж, но он навсегда останется для меня городом, в котором я прощался с тобой: ты еще была жива, но в то же время тебя почти уже не было. Городом, в котором я жил со страшным чувством бесприютности и бессмысленности жизни, по крайней мере, своей...

Жизнь без тебя...

Человеческое общество по большому счету лишено сострадания к людям, оказавшимся на грани жизни и смерти. Оно торопливо, скрывая растерянность, а вслед за ней раздражение, что нарушен привычный бег жизни, отгораживается от них, бестактно напоминающих о смерти и мешающих бездумной жизни на Земле. Человек, пока это не касается его лично, ведет себя так, словно сам никогда не окажется в таком положении, более того, своим поведением он как бы пытается обмануть самого себя. Иначе говоря, человек, оказавшийся на грани жизни и смерти, словно бы отрицает земные цели общества, заставляет усомниться в них, и общество это раздражает...

Как старались не выписывать тебе первую группу инвалидности, хотя знали, что ты уже безнадежна, что жить тебе осталось не более полугода. Боялись, что ты обворуешь государство, пожелавшее на тебе сэкономить... Врачебно-трудовая комиссия имеет тайную и строгую инструкцию: выписывать первую группу в самый последний момент, чтобы платить эти жалкие крохи не больше месяца или двух. А ты поступила бесчестно по отношению к государству: протянула, промучилась еще почти год.

Жизнь без тебя...

Золотая осень...

Сажу в саду на твоей лавочке у крыльца...

Падают перезревшие яблоки...

Вспоминаю...

Яблони цвели еще при тебе. Ты еще успела подкормить их. Первый раз дала плоды, и очень крупные, сочные, почти прозрачные, уральская наливная, которую мы с тобой в течение ряда лет пересаживали с места на место, пока, наконец, не нашли пристанище около сарая, которое ей понравилось, и она сразу пошла в рост. Но при тебе яблочки были еще зеленые, а потом ты уже не ездила на дачу и даже попробовать их не могла, ты жила уже только на жидкой пище и на наркотиках. Для определения суточной дозы последних тебя перевели в так называемое паллиативное отделение, разлучив с лечащим врачом. Качество жизни!



Я думал, что паллиативное отделение: тишина, музыка, покой, особенный уход, может быть, врач-психолог... Оказалось, это две переполненные комнатухи, духота, равнодушные и хамоватые студенты вместо врачей. А в местной «Вечерке» прочитал, что у нас чуть ли не лучшее в стране паллиативное отделение. Боже мой, что же тогда представляют собой худшие, и как у главного врача ракового центра повернулся язык хвалиться подобным?!

Жизнь без тебя...

Может, хорошо, что ты всего этого уже не увидела: как будут заброшены, зарастут чертополохом окружавшие наш садовый поселок поля. От озера-старницы, которое «новые русские» от окрестных деревень, от всего остального мира отгородят глубоким, почти противотанковым рвом, на нас будет надвигаться так называемый элитный дачный поселок, местная Рублевка, забивший мусором поднимающийся по склону от озера березовый лес, в котором ты любила собирать грибы. Многоэтажные особняки новых хозяев жизни, словно ядовитые грибы, выросли на прежде духовитых покосах, где ты собирала цветы. Все чаще добираются до нас наводнившие элитный поселок, завезенные в качестве дешевой рабочей силы беспаспортные и полуголодные мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии... Пока они ведут себя тише воды и ниже травы, но я невольно вспоминаю Париж, в котором коренные парижане уже вроде изгоев... Может, хорошо, что ты не увидишь разрушения своего любимого мира, в котором мы уже чужие...

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Однажды в саду, уставшая от садовых дел, сидя на скамеечке около южного крылечка, оглядывая наш уютный, возделанный твоими и отчасти моими руками сад, ты сказала мне:

— Лишь бы умереть не зимой, чтобы вам было меньше хлопот с похоронами.

Ты, оказывается, постоянно думала об этом. Ты помнила, как в жуткий январский мороз в 43 градуса мы хоронили твоего отца, у меня подошвы примерзли к валенкам...

Господь хоть тут услышал тебя...

Жизнь без тебя...

Как я уже писал, незадолго до тебя, неожиданно опередив тебя, умерла моя сестра Вера. Потом — мать. Но только когда умерла ты, я понял, что жизнь не только конечна, но, может, и бессмысленна, если ты в молодости наделал кучу непоправимых ошибок. И если даже ты совершил всего одну, но страшную ошибку. Но почему Господь не вразумил меня? Или Он пытался вразумить меня, но я не понял Его вразумления? Я стараюсь представить твои последние мысли. Я пытался поставить себя на твое место, и мне становилось стыло и жутко. Ни детей, ни племянников. Наш с тобой грех еще в том, что мы оставили твою бездетную сестру без племянников, ей придется доживать свой век без единого родственника. И еще ты знала, что когда умру, то лягу не рядом с тобой, а скорее всего, на своем сельском кладбище. Страшно подумать, что ты только не передумала в последние твои три года: за спиной пустота, впереди — черная неизвестность.

Твои вещи. Мне больно их перебирать, я не знаю, что с ними делать, раньше отдавали в храмы нищим, теперь нищих нет, мы сами, по большому счету, были нищими. Теперь магазины завалены дешевой одеждой. Теперь больше нищих духом.



Жизнь без тебя...

Господи! После тебя я снова, как в детстве, стал задаваться самыми простыми и в то же время самыми неразрешимыми вопросами, какие задает себе и другим только ребенок. Зачем цветет вот этот цветок, который рано или поздно, если до этого времени его не сорвут, если его не съест корова, все равно завянет? Зачем миллионы лет течет мимо меня эта река? Зачем Бог создал человека? Наделил его разумом, если это можно назвать разумом? В чем смысл мировой истории?

Зачем существует Вселенная, растения, другие живые существа, планеты, Солнце, если они тоже со временем погибают? Зачем существует само Время? Хотя без ощущения текучести Времени, наверное, жутко было бы жить. Но если где-то существует вечная жизнь, значит, там нет Времени?

Почему люди страдают и раньше времени умирают от неизлечимых болезней?

Кактус на моем подоконнике, странное колючее растение, цветет раз в году и всего лишь сутки, благоухая необыкновенно нежным влажным запахом. Для кого он цветет? И почему только сутки, когда другие цветы цветут несколько дней, неделю, несколько раз в году, постоянно?

Почему на Земле такой жестокий мир? У каждого живого существа — свой враг. И все это пытаются оправдать грехопадением человека.

Что является первопричиной войн и междоусобиц? Почему Господь разделил нас на народы, а не сделал единым народом?

Жизнь без тебя...

Иду по городу. Этот дом при тебе был построен только на три этажа. А этот дом построен уже без тебя. И так весь город в моем сознании невидимым для других водоразделом делился как бы на две части: при тебе и после тебя. И все, что происходило и происходит на Земле: при тебе и после тебя.

Жизнь без тебя...

Перед своей смертью ты купила мне теплый свитер, зимние сапоги. Очень переживала, что не успела купить осенние туфли... Ты думала о том, как я буду жить после тебя.

Господи! Если можно было бы хоть что-то вернуть, хоть какой-то кусочек жизни прожить снова, иначе — в искупление вины перед тобой...

Жизнь без тебя...

В конце ноября, наверное, в последний раз в этом году, пока не глубокий снег, поехал на кладбище. В студеном снегу твоя последняя фотография, на которой ты кормишь уток в озере ниже Святых ключей, места явления Табынской иконы Божией Матери, туда мы ездили на несколько дней молиться. Был прекрасный тихий августовский день, и никак не верилось, что у нас с тобой впереди всего год, а может, и меньше: ты, светло-печальная, кормила уток хлебом, а я тебя фотографировал...

Еще в октябре, когда выпал первый снег, я порывался забрать фотографию, зябко тебе в легкой блузке будет в снегу, а потом он закроет тебя с головой, но кто-то меня остановил, сказал, что с кладбища ничего нельзя забирать.

И сейчас вдруг — мурашки по спине, и по щеке побежала слеза: след какой-то зверушки из леса прямо на твою могилу, минуя другие, — то ли ласка, то ли молодая куница, прямо к твоей фотографии. Посидела около нее и ускакала обратно в лес. Неужели специально прибежала к тебе? Ведь ты любила всяких зверушек и



птиц, жалела их. Ты даже противилась, когда я валил на дрова сухостойные сосны за нашим забором: нечем будет кормиться дятлам.

Я еще раз проверил след, он действительно обошел стороной все другие могилы...

И еще: каждый раз, когда приезжаю к тебе на могилу, тут же прилетает какая-то птичка и начинает тенькать над ухом. Конечно, птички привыкли к тому, что пришедшие на кладбище кормят их, как только кто-нибудь появляется, они подлетают к нему. Но тем не менее точит мысль: а вдруг это ты, твоя душа что-то на птичьем языке говорит мне?

И, глядя на фотографию в снегу, я вспоминаю...

Это были, наверное, последние твои счастливые дни, если можно считать счастливым ожидание смерти. Но все-таки мы с тобой были по-своему счастливы, но не ожиданием смерти и приуготовлением к ней, к чему нас упорно призывают святые отцы, а тем, что мы жили надеждой на жизнь: все вокруг было так прекрасно, и все это было создано Богом — для жизни же, а не для смерти! Мы приехали на Святые ключи, место явления чудотворной Табынской иконы Божией Матери, и ждали чуда. Не чуда смерти, а чуда жизни. Но у Бога, видимо, уже было все решено. Видимо, мы не заслуживали прощения. А может, Бог решил, что мы заслужили только эти три дня счастья? Только три дня счастья с примесью ожидания твоей смерти и — все-таки — надежды. Потому что нужно ценить не только каждый день, но и каждый час на Земле...

Белый храм на горе над Святым источником. Ты окуналась в его ледяную воду без всякого страха, наоборот, с великой надеждой, потому что надеяться теперь оставалось только на чудо. Черета тихих, камышовых, с темной болотной водой, озер, на которых ты с руки кормила уток. Необыкновенно вкусный хлеб в соседнем поселке Красноуольске, который раньше назывался Богоявленским, по явленной здесь чудотворной иконе, а еще его называли Усольем, но большевики переименовали в Красноуольск. Почему-то они панически боялись слова «белый». За хлебом мы специально ездили по утрам, несмотря на то что поселок был за восемь километров от Святых ключей, и порой на обратном пути мы не замечали, что всухомятку, отламывая по кусочку, съедали всю буханку, такой он был вкусный, и с полпути опять приходилось возвращаться за ним, и нам это очень нравилось, и нам было так хорошо, что твоя смерть казалась невозможной.

Все три дня стояла удивительная погода: было еще лето, но во всем чувствовалось приближение, томительное ожидание осени, какая-то тихая благодать разливалась в воздухе. Так, наверное, человеку нужно готовиться к смерти, если за спиной нет тяжелого вороха грехов и если безоговорочно верить, что там, за порогом смерти, будет продолжение жизни. Как за зимой снова приходят весна и лето. Но нас давил ворох прошлых грехов...

Самой чудотворной иконы, покровительницы огромного пространства России от Волги до Тобола, ни на Святых ключах, ни в храме в соседнем селе Табынском, по которому она была названа, нет. Она с частью русского народа — с Оренбургской армией атамана Дутова и десятками тысяч беженцев в Гражданскую войну ушла в изгнание, в Китай. Почему Всевышний допустил эту страшную русскую междоусобицу? Страшны были все исходы русского народа того времени, но этот исход был особенно страшен. В воспоминаниях тоже вынужденного покинуть Родину историка и публициста, редактора журнала «Голос минувшего» С. П. Мельгунова я нашел такое свидетельство: «Что сказать про тот “Страшный поход” Оренбургской Южной армии, по сравнению с которым даже большевистский повествователь считает другие эвакуации “увеселительными прогулками”... С армией двигались десятки тысяч беженцев, которых косили голод и тиф. Те,



кто не мог идти, оставались в ледяной степи на верную смерть. Их убивали по их просьбе друзья, родные. Общее количество уходивших, по свидетельству большевистских источников, колебалось от 100 до 150 тысяч, границу Китая перешли не более 30 тысяч человек...»

Икону берегли как зеницу ока. Вот что писал после перехода китайской границы через ледовый перевал Карасарык атаман Дутов своему соратнику генералу Бакичу: «Дорога шла по карнизу и леднику. Ни кустика, нечем развести огонь, ни корма, ни воды... Срывались люди и лошади... Редкий воздух и тяжелый подъем расшевелили контузии мои, и я потерял сознание. Два киргиза на веревках спустили мое тело на 1 версту вниз, а там уже посадили на лошадь верхом, и после этого мы спустились еще 50 верст. Вспомнить только пережитое — один кошмар! И наконец, в 70 верстах от границы мы встретили первый калмыцкий пост. Вышли мы 50 % пешком, без вещей. Вынесли только Икону, пулеметы и оружие...»

Не спасла Табынская икона Божией Матери Оренбургскую армию, не спасла самого атамана Дутова, но стала духовной опорой в изгнании десятков тысяч русских людей. Есть свидетельства, что она явила там многие чудеса. Или они были придуманы людьми, желающими верить в чудеса, и икона была единственной связью с родиной? Следы иконы потерялись во время китайской «культурной революции», когда храм, в котором она находилась, был разграблен и сожжен.

Поразительно, что акафист в честь иконы, уже ушедшей в изгнание, в свое время написал юный иеромонах Иоанн, промыслительно освобожденный в Великую Отечественную войну по состоянию здоровья от фронта и, скорее всего, от гибели в первом же бою, и ставший позже, в преддверии нового Смутного времени, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладужским Иоанном, может быть, единственным источником света в новую русскую Смуту. А тогда, в юности, несмотря на свою монашескую покорность, он почему-то отказался изменить по повелению тогдашнего патриарха последние слова акафиста иконе: «Всего мира Надежду и Утешение». «Так надо, так будет!» — потупив глаза, твердо сказал он, словно, в отличие от остальных, он слышал глас сверху.

«Всего мира Надежду и Утешение...» Что за тайный смысл кроется в этих словах?

Но почему мысли о ней не дают мне покоя, перед ее списком я всегда чувствую особый трепет? И я чувствую вину свою перед ней, что она, по-прежнему бесприютная, за пределами России.

Жизнь без тебя...

Разбирая твои бумаги, нашел, не знаю, твои или, может, чьи-то понравившиеся тебе стихи — написанные твоим аккуратным почерком, несколько, а может, и много лет назад:

Апрельское волглое небо
Подперто ветвями берез.
В природе весенняя нега,
И хочется счастья до слез...

Сорваться с привычной орбиты
Извечных забот и проблем,
И миг ощущений забытых
Продлить, не считаясь ни с чем.

И вдруг на обрывке бумаги нахожу, несомненно, твои, потрясшие меня стихи — но уже неровным почерком твоих последних месяцев, над которыми я долго сижу, склонив голову:



Мой дачный дом —
приют моей души.
Там исчезают вдруг
мои печали.
Там я —
как будто бы в начале,
а не в конце пути
с названьем «жизнь»...

Жизнь без тебя...

Это было давным-давно, после очередной поры наших бурных и тяжелых разногласий (теперь-то я понимаю, если у нас были бы дети, которые связывали бы нас в единое целое, все было бы иначе), в пору примирения и короткого счастья. Я не помню, в каком это было году, но почему-то запомнил, что это было 19 октября.

У нас тогда, наверное, еще не было машины, потому что мы шли на электричку, на висячий мост через аксаковскую реку Дему, мимо лодочной переправы, которая к этому времени уже не работала. Спустившись с нашей горы через урмное чернолесье и перейдя нижнее поле (которое нынче заброшено), мы, как обычно, в последний раз оглянулись назад и остановились, пораженные: наша поросшая березовым лесом гора в предвечернем солнце полыхала каким-то неземным золотом и багрянцем. Мы сотни раз видели свою гору отсюда, потому что каждый раз, возвращаясь в город, в этом месте на краю поля непременно оглядывались на нее, но такой ее мы не видели, кажется, еще ни разу.

— Такие рощи бывают, наверное, только в раю, — задумчиво сказала ты.

И сейчас я подумал: может, в эти минуты ты бродишь там, в горнем мире, в такой вот березовой роще.

— Я не знаю, как там, но точно знаю, что таких рощ в раю нет, — ответил я. — Такие только на Земле, и потому они так светло печальны, и непонятно, зачем от них уходить...

Ты в ответ печально улыбнулась:

— Я подумала о том же...

— Давай запомним этот день навсегда! — предложил я. — Такой красоты, такой светлой печали больше, наверное, никогда не будет. Будет другая, но такой не будет.

— Давай, — радостно согласилась ты, и мы, счастливые и в то же время почему-то снедаемые печалью, поцеловались...

Наверное, это было уже за несколько дней до твоей смерти, когда ты уже не вставала с постели, говорила только шепотом и часами молча смотрела в небо за окном, ушедшая в свои невеселые мысли, время от времени тихо звала меня, чтобы я тебя повернул на другой бок или приподнял выше на подушки, — тебе казалось, что с изменением позы уменьшатся страшные боли: метастазы доедали твой позвоночник. Я знал, что, может, единственным отрадным воспоминанием были наш сад, наша гора...

Я не знал, о чем с тобой говорить, чтобы лишний раз не ранить тебя, мы были с тобой уже в разных мирах...

— Ты помнишь тот день, 19 октября, много лет назад, мы шли на электричку и дали слово друг другу запомнить его? — осторожно спросил я.

— Я как раз вспоминаю этот день, — слабо улыбнулась ты. — Это было 19 октября 1994 года... Тогда я тебе все простила...

Не знаю, изменили ли твою душу к лучшему эти, якобы Богом данные в особую любовь, страшные мучения, подготовили ли к той жизни, если она все-



таки есть? На самом ли деле ты простила меня и осознала нашу главную вину перед Богом?

Если ты на самом деле меня простила, то я себя не простил...

И каждый год 19 октября я отмечаю как праздник, как день, в который мы были бесконечно счастливы...

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

До поры до времени я не задумывался над этим. А ты, оказывается, давно думала об этом. Женщины живут дольше мужчин, это общеизвестно. За восемьдесят пять твоей матери, и моя мать умерла в восемьдесят три, а оба наши отца умерли рано: твой раньше, мой позже. Ты была уверена, что переживешь меня. И с болью, бездетная, думала об одинокой старости, потому что других родственников, ни близких, ни дальних, у тебя не оставалось.

А я до самого последнего времени, по сути, до того дня, когда по нам ударило великое горе, жил с чувством, что еще не вечер, старался не думать о будущем, зная, что мысли эти будут невеселыми, просто-напросто отгонял их прочь. Когда выдалась возможность, прибавил несколько соток к садовому участку. У тебя это не вызвало радости, к моему удивлению, наоборот, ты вдруг словно окатила меня холодной водой:

— Зачем? У нас никого нет. А потом я одна что с этой землей буду делать?

— Как одна? — не сразу до меня дошло.

— Ты хоть раз подумал о том, что мне придется куковать одной после тебя?..

Господь почему-то рассудил иначе. Может, мне наметил за грехи мои перед тобой и перед Ним это страшное испытание: жить после тебя?..

Жизнь без тебя...

Везде все напоминает о тебе. Дома, на даче — говорить нечего. Еду, иду по городу — попадают аптеки, в которых я, выстаивая очереди, по спецрецептам получал для тебя лекарства, а в последнюю пору — наркотики. Полетел в Москву, иду по Лубянской площади, мимо магазина «Детский мир», натыкаюсь на министерство транспорта, сюда приходил я забрать для тебя лекарство, которое мне пересылали из Хорватии.

Жизнь без тебя...

В думах о тебе родилась мысль, что инопланетяне — это ангелы атеистов.

Может быть, поэтому я терпеть не могу всякую фантастическую литературу...

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Однажды на Рижском взморье, в Дубултах, мы задались целью целый день до вечера идти по бесконечному пляжу вдоль моря, а обратно вернуться последней электричкой. Я оглядывал встречаемых женщин, ты была красивее всех. И все мужики заглядывались на тебя.

— Вот отдохнем, подлечимся, и заведем детей... — говорил я.

Если нам где-то в магазинах попадались, мы покупали, тогда они были дефицитом, детские смеси, детское питание. Потом я все их скормил собакам...



Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Настоятельница монастыря, в который мы заехали помолиться перед местной чудотворной иконой Божией Матери, увещевала тебя:

— Мы рождены не для того, чтобы жить на Земле, мы рождены, чтобы жить в раю. Но мы должны заслужить это, иначе попадем в ад.

Ты не хотела в ад, но, знаю, ты не хотела и в рай. Выйдя на пенсию, ты хотела хотя бы еще немного пожить на Земле, благоустроивая и облагораживая маленький кусочек ее в шесть соток, ни на что не претендуя, никому не мешая. Заслужила ли ты своими страданиями место в раю? Простил ли Всевышний твои грехи?

Читаю умную книгу:

«Кто в состоянии перечислить красоты рая? Прекрасно устройство его, блистательна каждая часть его; просторен рай для обитающих в нем. Светлы чертоги его; источники его улаждают своим благоуханием... Разнообразил и умножил красоты рая создавший их Художник: для низших Он назначил низшую часть рая, для средних — среднюю, а для высших — самую высоту. Как велико и различие степеней, так же велико число и различие в достоинстве поселяемых: первая степень назначена покаявшимся, средняя — праведным, высота — победителям...»

«Оказывается, и в раю неравенство, — усмехнулся я. — Если в раю неравенство, значит, там рано или поздно могут появиться недовольные. Может, действительно, так появились падшие ангелы, своего рода большевики, революционеры рая?»

«...Невозможно даже мысленно представить себе образ этого величественного и превознесенного сада, на вершине которого обитает Слава Господня...»

Нет темных пятен в обителях рая, потому что чисты они от греха, нет в них гнева, потому что они свободны от всякой раздражительности; нет насмешки, потому что им незнакомо коварство. Не делают они друг другу вреда, не питают в себе вражды, потому что для них не существует зависти, никого там не осуждают. Потому что нет там обид...

Кто не позволял себе ни проклятия, ни злословия, того прежде всего ожидает райское благословение. Кто взгляд очей своих постоянно хранил чистым и целомудренным, тот увидит наивысшую красоту рая. Кто всяческую горечь подавлял в своих помыслах, по членам того протекают источники сладостного веселия...

Когда выступил я из пределов рая и достиг земли, порождающей тернии, встретили меня болезни и страдания всякого рода. И увидел я, что страна наша есть темница, что перед взорами у меня — заключенные».

«Получается, так и есть, — снова усмехнулся я, — что мы на Земле всего лишь заключенные, у кого срок больше, у кого меньше».

Читаю дальше:

«Духи совершенных праведников, подобно душе Лазаря, прямо вознесутся на лоно Авраамово, где и пребывают в блаженстве до всеобщего суда. Блаженство их состоит, главным образом, в созерцании Бога — источника всего истинного, доброго и прекрасного... Там, на блаженной земле кротких, все тихо и безмятежно, все светло и богоугодно, нет там ни труда, ни слез, нет ни вражды, ни ревности, но в высшей степени есть радость, мир, веселье, там всегдашнее радование, вечное веселие, невечерний свет, незаходящее солнце...»

Я не могу представить себе счастья без труда даже в раю. Рай без труда — это счастье люмпен-пролетариата, это даже страшнее концлагеря, где силой заставляют работать, это тюрьма, где морят бездельем, а для нормального человека пытка бездельем, может, пострашнее всех других пыток.

Автор этой тошнотворно сладкой сказки о райских куцах некто Ефрем Сирий, которого Церковь возвела в ранг преподобного, жил на Земле в IV веке. Читаю в Православной энциклопедии: «Сын земледельца из г. Низибии в Месопотамии,



был в юношестве безрассудным и раздражительным, попал случайно в тюрьму по обвинению в краже овец, прозрел, удостоился слышать Глас Божий и смирился... Он оставил много толкований на св. Писание и др. сочинений, переведенных на греческий и читавшихся в церквах, а также умиленные молитвы и песнопения и покаянную молитву “Господи и Владыка живота моего” и много сочинений аскетического характера».

Кошунствую, но лукавить не буду, ибо лукавство — еще большее кошунство: не верю я Ефрему Сирину. Такие сказки только отвергают от Бога. Не говоря уже о том, что этот сказочник соблазнил, очаровал своими сказками очень многих на Земле. Многие, очень многие раньше времени попытались попасть в рай. Особенно любили Ефрема Сирина раскольники. С его книгой, нисколько не сомневаясь в истинности свидетельства, они бесстрашно всходили на костер целыми семьями, целыми селениями.

В раскольничьих скитах или в сооруженных на скорую руку шалашах в южно-уральской тайге не раз находили на останках отшельников и беглых рабочих с горных заводов именно книгу Ефрема Сирина. Измученные тяжелым, непосильным трудом, люди находили ответ в его преславных сказках и отшельничеством, голодом ускоряли свой уход в иной мир, где «глас празднующих», где нет «ни труда, ни слез, нет ни вражды, ни ревности, но в высшей степени есть радость, мир, веселье». Другие, далеко не самые худшие, разуверившись в возможности достижениярая или обыкновенного человеческого счастья на Земле, вычитав у того же Ефрема Сирина, что и там, в раю, оказывается, нет равенства, находили путь в еще более лукавом манифесте Карла Маркса и хватались за кистень, чтобы утвердить равенство на Земле, а к ним присоединялись просто разбойники, которые рано или поздно и брали власть в свои руки. Мне говорят, что свидетельства Ефрема Сирина надо понимать иносказательно, написано это по разумению людей того времени, но ведь не только его современники, но и люди последующих поколений понимают их буквально, верят, что это свидетельство побывавшего в раю, а не мечта, не опасный вымысел, выдаваемый за действительность, или, как бы определили литературоведы, не фантастическая литература.

Жизнь без тебя...

Поехал на Урал навестить родственников. На обратном пути, сделав небольшой крюк, заехал к отцу Алексею. Заказать панихиду по тебе. Почему-то меня тянуло в этот храм. А может, к отцу Алексею, у нас как бы остался не завершенным прежний разговор, больше похожий на спор.

Отец Алексей не очень обрадовался мне, перед этим я дал себе слово не втягиваться ни в какой богословский спор, но в какой-то момент не сдержался, и отец Алексей снова увещевал меня: три, четыре поколения, а то и больше, расплачиваются за грехи предков. Опять привел тот же пример: мужик в тридцатые годы сбрасывал колокола с колокольни, на фронте пуля попала в рот, но не убила, что было бы самым простым наказанием, а выбила все зубы, есть мог только жидкое. Так и жил, мучаясь, до глубокой старости. У дочери — куча болезней, по всем статьям давно должна была умереть, но мучается до сих пор: «Как бы я хотела умереть, батюшка. Отцовы грехи не пускают, еще не замолены...»

Как и прежде, он меня ни в чем не убедил. Даже у большевиков «сын не отвечает за отца». Почему же я должен расплачиваться за грехи Адама и Евы? Это справедливо только в том случае, если весь человеческий род — как бы один человек, который живет много веков, и потому мы отвечаем за грехи предков. И никто не вправе без воли Бога прервать эту нить. А я преступно ее прервал. Но, может, я прервал ее по воле Бога? Умерли раньше времени, молодыми, мои двоюродные братья, сыновья дяди Ивана, или не оставив никого после себя или оставив только



дочерей. Только дочери у моего брата. Может, Господь из-за какой-то страшной вины, о которой я не знаю, решил прекратить наш род?

Может, по этой причине, не признаваясь себе, я так страшусь того мира?

На грани этих миров, на осмыслении их происходит разрыв души моей. Я знаю, умом знаю, что есть Господь, но сердцем, видимо, не верую в Него. Мне хочется верить, но я только верю. Но безоглядной веры нет, только интуитивное знание, да и то...

Жизнь без тебя...

Я редко вижу сны, и, как правило, не помню их.

Но однажды, еще при тебе, но уже с осознанием того, что почти без тебя, видел смутный сон, которому первоначально не придал значения: то ли лунная ночь, то ли еще неясный рассвет, то ли какой другой, только не дневной, свет, какое-то кладбище на склоне пологого холма, низкий туман над влажной холодной травой, и вдоль огораживающего кладбище прясла то ли шла, то ли плавно плыла над самой землей, над низким холодным туманом, с неясными очертаниями, но в каком-то светлом ореоле, в длинном одеянии, ниспадающем с плеч, женщина — и что-то говорила мне, что-то печальное и в то же время успокаивающее, что она не оставит меня и — то ли звала, то ли не звала за собой. Я невольно, как бы по ее молчаливому приказу потянулся за ней, хотя мне туда не хотелось, хотя не знал, куда, но послушаться я не мог, но она вдруг оглянулась и плавным взмахом руки остановила меня: тебе не надо за мной, тебе еще рано... И я проснулся, не понимая, что это было: сон или явь? И кто эта женщина? Я боялся пошевелиться, осторожно дотронулся до тебя, чтобы убедиться, что я дома. Встал, стараясь тебя не разбудить, осторожно подошел к окну, за ним была глухая, сжимающая душу в крошечный комочек, предутренняя темень, и я снова торопливо лег, осторожно прижавшись к тебе, спасаясь от нахлынувшего на меня одиночества и предчувствия близкого расставания... И странно: обычно мучающийся бессонницей, если вдруг просыпался среди ночи, сейчас я мгновенно заснул. И утром, как обычно, уже не помнил ночного сна. И только через несколько дней, а может, недель, неожиданно вспомнил, и все было даже более отчетливо, чем во сне: и кладбище, и низко плывущий туман над землей, переходящий в обильную холодную росу, я даже промочил ноги, и странный, то ли лунный, то ли какой иной свет, и светлая женщина, скользящая по воздуху над самой землей. Только я по-прежнему не помнил или не понимал смысла сказанных ею слов — и только сейчас словно ударило меня: неужели это была Матерь Божия? Если так, зачем она явилась мне?

Теперь этот сон не выходил из головы. Неужели я просто придумал его? Нет, сон явственно был. И даже не сон, потому как я в то время вроде не спал, разбуженный твоей просьбой повернуть тебя на другой бок, лишь тревожно дремал. Это было передо мной как бы наяву. Я не рассказал об этом сне даже тебе — по нескольким причинам: во-первых, он был связан с кладбищем, во-вторых, мало ли что может присниться, а в-третьих, я не помнил сказанных ею слов и потому не знал, как толковать все это. Может, вот так придуманное выдают за действительное, когда утверждают, что к ним являлась Матерь Божия? Ведь снятся же сны о том, о чем накануне думал. И в то же время порой точит мысль: а что если на самом деле это приходила Матерь Божия?

И вот только сегодня, больше года прошло после твоей смерти, я вдруг вспомнил, что, кажется, в ту ночь, прежде чем снова лечь и прижаться к тебе, я что-то записал в своем дневнике, который с некоторых пор веду лишь время от времени.

И действительно, нашел неровную, наискось, карандашом, запись:

«Какая-то женщина неясно, но властно ведет за собой. Сначала по кладбищу. В каком-то тумане. Потом стало много воды. Какой-то поток. Потом женщина

мановением руки стала поднимать меня вверх. Мне стало страшно от высоты. И я стал проситься обратно на Землю — и проснулся...»

Жизнь без тебя...

Пройдет больше года после твоей смерти, я по каким-то делам буду ехать по городу, и неожиданно обнаружу себя на парковке около ракового центра, хотя мне было нужно ехать чуть ли не в противоположную сторону. Так я за три года привык к этому страшному маршруту...

Жизнь без тебя...

О смерти и о том, что ждет после нее, начинаешь всерьез думать только тогда, когда она напрямую коснется тебя.

После твоей смерти стал читать откровения так называемых святых праведников и старцев. Но чем больше они старались меня убедить в жизни после смерти и в существовании рая, тем меньше во все это я верил.

Меня всегда поражала, возмущала заброшенность, запущенность русских православных кладбищ. А если уж погибла деревня, то кладбище ненадолго переживет ее: уже через несколько лет распадется ограда, и оно будет затоптано скотом, через какое-то время через него проложат дорогу или даже ЛЭП... Но, может, действительно, это не от расхристанности души, а оттого, как некоторые меня убеждают, что русские, православные, на каком-то генетическом уровне всегда знали, что мы на Земле только временно, что бессмысленно и даже преступно не только строить рай на Земле, но и более или менее благополучно обустроиваться на ней?

Но вон у католиков, протестантов какие кладбища ухоженные. Но ведь они тоже знают, что они на Земле временно!

Труды всевозможных праведников приводили меня в смущение, прежде всего тем, что больно уж сладки, до приторности, их свидетельства о загробном мире, хотя они там никогда не бывали. Невольно закрадывается мысль: может, нас дурачат, обманывают, специально уводят с Земли, чтобы освободить место кому другому? Меня смущало и смущает, и это не дает покоя, что иная жизнь почему-то всегда представляется вечной халявой, где никто ничего не делает, но где все сыты и счастливы, разве только не пьяны. Этаким счастливым дурдом. Все мое существо, вся моя суть восстают против этого, не хочу я жить или быть в этом счастливом дурдоме. И на том свете я хочу соучаствовать в общем труде, пусть даже в аду в качестве каторжника, к примеру, на каменоломнях, конечно, зная, что эти камни пойдут на строительство чего-то важного.

Не лукавят ли святые праведники, обманывая самих себя, мечтая о вечном блаженстве? Не может быть счастья при вечном блаженстве. Зачем тогда душа?

Никто не может знать, что там, за гранью смерти, и потому не надо выдавать желаемое за действительное. Чем больше я читаю труды всевозможных праведников, тем более одолевает меня страх, что я становлюсь атеистом.

Я больше узнаю о том, Высшем, молча и благоговейно стоя перед иконами и свечами в небогатом сельском храме...

Если я не верую, то что меня время от времени заставляет идти в храм и, замерев телом и душой, стоять там, порой даже не вслушиваясь в смысл службы?

Жизнь без тебя...

Самое тяжелое в моей памяти о тебе то, что ты так и не смогла понять, что порой обрушивающаяся на меня печаль никак не связана с тобой. Что эта необъяснимая даже самому себе печаль-тоска сидит во мне, может быть, изначально,





как тоска по чему-то высшему, неведомому, но интуитивно чувствуемому, может быть, недостижимому, но без чего душа не может чувствовать себя счастливой. А ты, вместо того чтобы попытаться понять и разрушить это чувство, все подозревала, что причиной тому другие женщины, отчуждалась от меня, тем самым отталкивая меня от себя и усиливая эту тоску-одиночество. А я почему-то никак не мог тебе объяснить причину этой печали, может быть, потому, что сам не знал ее причины.

Ты не могла понять, что я от рождения, может, от нелюбви моих родителей друг к другу — одинокий неприкаянный человек, которому не хватает тепла. И пойми ты это, мы были бы, наверное, как никто счастливы. А от твоего неверия я замкнулся в себе, и между нами как бы встала невидимая стена, которую мы так и не смогли преодолеть. Ты не могла понять, что поверь ты мне, пригрей меня, и я расплавился бы как воск. Ты считала, что с появлением тебя в моей жизни я должен был постоянно улыбаться от счастья, но сама ничего не сделала для этого. Получалось: я мешал тебе быть самой собой, ты мешала мне быть самим собой. Так и жили, только в самом конце, на краю пропасти, кажется, поняв, что с обеих сторон это была нелепая гордыня. И чтобы понять это, нужна была твоя смертельная болезнь...

Любили или не любили мы друг друга? Или у каждого осталась неосуществленной мечта об истинной любви, которая, видимо, не всем на Земле дана?

Но все-таки: откуда, почему во мне эта как бы изначальная печаль?..

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Всего несколько лет назад, несмотря на то, что мне за шестьдесят, я летал во сне. Чуть ли не каждую ночь. Раскидывал руки в стороны и — летел...

Это что-то вроде полета на дельтаплане, только я летел на собственных раскинутых руках, да еще для большей летучести распахивал рубашку. И так отчетливо все было. Совсем не как во сне. Даже проверял, ощупывал себя, даже больно щипал себя: может, мне это действительно только приснилось, и убеждался: нет, не во сне.

Как правило, начинал полет от Круглого леса, от нашего огорода, с холма, который ты так любила, потому что с него открывались такие дали! Летел вниз в широкую речную долину, на холмы за ней, где лентой извивалась Транссибирская железнодорожная магистраль, поезда змейкой пробегали подо мной, но я торопливо отплывал в сторону, боясь линии электропередачи...

Порой поднимался так высоко, что становилось страшно, и скорее сбрасывал высоту, запахивая на груди рубаху...

А говорят, что летают во сне только в детстве...

Жизнь без тебя...

Иногда опять приходит кошунственная мысль, что по ту сторону смерти ничего нет, что бессмертие души мы придумали для самообмана, для оправдания пустоты за гранью жизни, чтобы не так страшно было умирать...

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

— Давай повременим с ребенком, — сказала ты, кажется, на следующий день после свадьбы. — Я так устала, мне хочется хоть немного отдохнуть, хоть какое-то время пожить свободно.

А я обрадовался, вместо того чтобы возразить: ребенок мог помешать моей недописанной книге, моим дорогам... Куда торопиться, у нас все впереди...

Это был наш первый и главный грех, из которого истекали все другие.



И потому нет нам прощения... И потому мне нет прощения, потому как своим предложением подождать, ты, может, проверяла меня.

Жизнь без тебя...

Ты ушла раньше меня. Этому есть какое-то оправдание, если существует тот, верхний мир, и тебе в нем сейчас хорошо. А может, ты ушла — в наказание мне, потому что моя вина несоизмеримо больше твоей, чтобы я мучился всю оставшуюся жизнь? Чтобы совершенствовалась моя душа? Но почему-то я этого не ощущаю.

Во мне осталось море неистраченной теплоты, которая тяжелым грузом давит на меня. Я готов обрушить ее на кого-нибудь, как бы в искупление вины перед тобой. Но не могу встретить того человека, которому это тепло было бы нужно, хотя вокруг меня ходят тысячи людей в поисках тепла.

Жизнь для самого себя для меня потеряла смысл.

Жизнь без тебя...

Неожиданно в твоём столе нашел обрывок бумаги:

«Прощай, Дымка, мой не родившийся сын! Ты не зря приходил ко мне в этот мир, из того, неизвестного мне, ровно на 9 месяцев, что отпущены природой каждой женщине. Ты хотел, чтобы я удержала тебя на этом свете, и Бог подсказывал мне: “Не уезжай. Твое место тут, рядом с ним”. Я это чувствовала, я знала, что необходима тебе, но, помимо своей воли, уехала... Прости, я слишком часто в своей жизни шла на поводу чужих желаний, чужих интересов и стремлений.

Ты, моя частичка, помнишь ли, как я несла тебя по скользкой, ненадежной земле, боясь уронить, потерять, как потеряла уже однажды, несколько лет назад, катаясь в жутких схватках? Прости, мой маленький... Бог свидетель, я не хотела, я держала тебя крепко-крепко, хотя было мне очень тяжело. Так же, как тогда, когда еще слабым комочком бился ты в утробе моей...

Прощай...

Скоро я буду далеко, но от этого не стану думать о тебе меньше, может, даже, наоборот, у меня будет свободной душа, чтобы проситься к тебе...»

Дымка — умерший от чумки щенок. Мы поняли, что он заболел, в воскресенье, перед самым отъездом с дачи, когда мы уже опаздывали домой, а среди недели по каким-то причинам я не мог поехать на дачу. А когда приехали вечером в следующую пятницу со всевозможными лекарствами, не обнаружили его. Я ходил по всему садовому поселку в поисках его, искал до самой темноты, но не нашел. Был уже конец октября, был первый настоящий заморозок, трава была белой от инея.

Ты всю ночь не могла успокоиться:

— Если он еще живой, где-то сейчас лежит на мерзлой земле.

Я молчал, я был уверен, что Дымки уже нет.

Утром ты встала чуть свет, тебя очень долго не было, я уже два раза подогревал поставленный на электроплитку чайник. Наконец ты появилась, совершенно вымученная, и без сил повалилась на постель:

— Почти полкилометра несла, выбилась из сил, — сказала ты отчужденно. — Ведь он, наверное, килограммов десять весит. Иди, что стоишь. Он вот там лежит, у посадки.

— А где ты его нашла?

— Плохо ты вчера искал. В лесу, у родника, в чилижнике...

Но уже никакие лекарства ему не помогли...

Сердце надрывается при чтении этого письма. Я не подозревал в тебе этой разрывающей душу тоски по детям. Ну, умер щенок — и умер. А он у тебя ассоциировался с не родившимся сыном. Вот поэтому, видимо, ты не приходишь ко мне во сне. Потому ты не простила меня, потому ты мне ни разу не приснилась.



Жизнь без тебя...

Я знал, что всю оставшуюся жизнь буду жить с чувством вины перед тобой. Но я не подозревал, что чем дальше, тем больше чувство вины перед тобой будет обостряться.

Чуть ли не последние твои слова:

— Скажи что-нибудь...

А я молчал как истукан. Так и осталась между нами — эта напряженная недосказанность.

Жизнь без тебя...

Снова и снова точит мысль: тебя считали доброй, меня считают добрым, но почему мы не были добрыми друг к другу? Почему только в самые последние месяцы и дни мы, наконец, стали друг друга понимать? Чтобы там, в иной жизни, встретиться уже совершенно родными, когда друг другу ничего не нужно будет объяснять, когда мы станем как бы единым целым?

Жизнь без тебя...

Читаю:

«Хотя умершие находятся с нами в постоянном общении, мы, однако, ничего об их близости не подозреваем, пока не наступит час видимого доказательства тесной связи их с Землей, по разным причинам продолжающей их притягивать.

Одни, по своей материальности, еще тяготеют к грубым ее радостям и не могут подняться до более высоких, более духовных радостей, пока еще им недоступных. Других около нас держит их привязанность к нам. Лучшие из них, то есть те, кто там уже достиг известного духовного совершенствования, получают возможность незримо общаться с близкими своими, пока еще живущими на Земле...»

В городской квартире, в которую мы въехали за пять лет до твоей смерти и в которую ты так не хотела въезжать, хотя, в отличие от прежней, она была большой и удобной, я не чувствую твоего присутствия, хотя все в ней напоминает о тебе, начиная с двух твоих фотографий на столе: в юности и через полгода после операции, за год до твоей смерти. В саду же, который на самом деле был твоим главным домом и куда до самых последних дней тянулась твоя душа, я постоянно чувствую твое присутствие: в посаженных тобой яблонях, в осеннем хозяйском поствисте синиц, в весеннем голосе кукушки, во внимательных, как бы укоризненных глазах полудикой собаки Динки, хотя она и родилась уже после тебя.

Жизнь без тебя...

То и дело точит мысль: вот неожиданно умру, погибну в автомобильной катастрофе или еще как: кому все это достанется: квартира, садовый дом?.. Даже не это сосет, мучает, а то, что чужие люди будут копаться в моих вещах, бумагах, письмах, в твоих фотографиях. Поскорее выбросят все на свалку, чтобы занять квартиру, а то вдруг объявятся какие-нибудь родственники. Откуда им знать, что родственников нет...

Жизнь без тебя...

Письмо Валентина Григорьевича Распутина: «Я ведь тоже теперь живу по инерции, надо — поднимаешься и садишься за стол или идешь куда-то, а по дороге понять не можешь, куда и зачем идешь. Все писательство (помнится, в сентябрьском



письме ты говорил о том же) — некрологи, воспоминания об ушедших, предисловия к чужим книгам, но и это все с трудом. Началось это еще до гибели Марии, а после уже усугубилось, прошло полгода, и мало кто верит, что за это время нельзя восполнить силы, приступают бесцеремонно: “Ты должен!..” Должен не должен, а не могу, и вернется ли то чувство долга, не знаю.

Удивляюсь я и еще одному совпадению с твоим то ли настроением, то ли ощущением: мы больше хотим верить, чем веруем на самом деле. Во мне это тоже есть, пытаешься погрузиться — и не получается, чувствуешь себя рядом с батюшками и серьезно верующими обманщиком. Я с владыкой нашим говорил об этом, он успокаивает: “Да вы веруете больше, чем верующие по всем буквам веры”. Но я-то знаю, что это не так и что своей откровенностью ставлю нашего добрейшего владыку в неловкое положение...»

Жизнь без тебя...

Снова и снова вспоминаю, как тебя забирал из ракового центра, уже окончательно выписанную — умирать.

Главврач великодушно предложил оставить тебя умирать в так называемом паллиативном отделении, как он хвалился в газете, чуть ли не лучшем в России. Я поспешно отказался. Без всякого сомнения, я забрал бы тебя из любого самого престижного хосписа, человек должен умирать дома, если, конечно, он у него есть, умирать же в таком паллиативном отделении не пожелаешь и врагу: плотно приставленные друг к другу, как, наверное, в тюремной камере, только второго яруса нет, еле протиснешься между ними, кровати в маленькой душной палате, разгороженной напополам ширмой. Напротив, через коридорчик, такая же мужская палата. Из-за духоты двери открыты, и ночью какой-то мужик, перепутав, пытался лечь рядом с твоей соседкой.

Вывозил я тебя к машине в выданной мне как бы на прокат больничной коляске черным ходом на хоздвор, чтобы не видели тебя только что поступившие или ждущие очереди в раковый центр, чтобы раньше времени не узнали, что большинство из них ждет в скором или в сравнительно скором будущем. Попадавшие в коридоре врачи и медсестры, еще неделю назад здоровавшиеся с тобой, молча расступались, смотрели как бы сквозь нас, делали вид, что не замечали нас, так как ты уже была вычеркнута не только из списков ракового центра, но и из списка живых. Голова твоя в нелепом парике уже почти не держалась на истонченной шее, заваливалась то в одну, то в другую сторону, и ты стеснительно, как бы извиняясь, что ставишь людей в неловкое положение, поддерживала ее столь же истонченными дрожащими руками. Через черный ход, кроме медперсонала, просачивались навещающие вне положенного времени своих родственников, и они с ужасом смотрели на тебя. А ты улыбалась виновато и все пыталась прямо держать голову, а она все заваливалась и заваливалась то в одну, то в другую сторону...

Жизнь без тебя...

В саду накатил приступ дурноты — до тошноты и сердечной тяжести, хоть ложись и умирай. Так бывало у меня и раньше — при резкой смене погоды, когда южный ветер вдруг менялся на студёный обжигающий северный: на резкое изменение атмосферного давления не успевают реагировать сосуды мозга — следствие тяжелой травмы головы и контузии в юности. В такой момент действительно можно неожиданно умереть. Но ты знала, как быстро снять такой приступ — а без тебя я сейчас не знал, что делать, растерянно копался в куче оставшихся после тебя, в большинстве своем просроченных лекарств и без особого сожаления готов был умереть.

Одно было только сожаление: на кого останутся твои собаки...



Жизнь без тебя...

Я один в лесном садовом поселке. Приехал на выходные дни покормить собак: машину оставил в деревне, дальше на лыжах. Не могу уснуть. Выхожу в морозную лунную ночь, искрится иней на ветвях березы, белым облаком нависшей над моим домом. Выше, неясные, мерцают звезды, словно что-то говорят, в том числе мне, хотя я знаю, что это всего лишь раскаленные сгустки плазмы, подобно нашему Солнцу. Знаю, но душой почему-то не соглашаюсь с этим, сейчас, в лесном одиночестве, они для меня живые. Друг детства, академик-химик, на днях поздно вечером, совершенно трезвый, позвонил мне и сказал на полном серьезе: «Американцы запустили телескоп “Хаббл”. Установили, что Солнце наше потухнет через 34 миллиарда лет, и мне стало грустно».

Странно томится душа. Она томится с детства, с самого первого дня, сколько помню себя. Даже в самые счастливые дни моей жизни, когда мне было хорошо, по крайней мере, мне так казалось, ей все равно чего-то не хватало, она все равно томилась по чему-то неизвестному...

Неожиданно для себя, запрокинув голову к звездам, говорю вслух:

— Не может у человека не быть продолжения после смерти, если всю свою жизнь, если до последнего дня своего он живет с ощущением, что если не все, то, по крайней мере, самое главное, у него еще впереди. Если с самого первого и до последнего дня у него томится душа по чему-то не осуществленному, если душа, по себе знаю, не стареет, с каждым годом все больше противоречит дряхлеющему телу. Оно становится как бы лишним ей. Душа по-прежнему, как в детстве, томится по чему-то неизбывному, для чего она на самом деле рождена и предназначена. Откуда у человека это стремление в небо, которое для его земных жизненных потребностей совершенно не нужно, откуда — пусть примитивное, на уровне технических средств, вроде полета Гагарина?..

Зашевелились под верандой собаки, встревоженные моим голосом. Чувствовалось, как им, наконец-то по-настоящему сытым, не хотелось выбираться из тепла на мороз, и я поторопился успокоить их:

— Спите, спите, это я сам с собой... Это я — с небесами...

Собаки, кажется, поняли меня и успокоились, только благодарно постучали хвостами о стену дома.

На следующий вечер неожиданно нахожу в одной из книг, трактующих святоотеческое учение:

«Желание жить всегда, которое находится в сердце каждого человека, дано Создателем не без цели. Это есть как бы первое указание на бессмертие души, как бы первое побуждение готовиться к жизни будущей. Желание жить связано с желанием счастья, которого ждет всякий. Эта жажда счастья полностью не утоляется здесь, на Земле, следовательно, должна быть жизнь будущая, где бы могло исполниться это пламенное желание нашего сердца. Но счастья мы ждем беспрестанно. Но никто не может дать нам его. Неужели это счастье нигде не существует? Ужели Бог вложил в нас это желание, не имея намерения когда-нибудь удовлетворить его?..

Смерть некогда будет истреблена. Таким образом, смерть представляется явлением временным и ненормальным. Смерть не есть установленный закон для человека. Смерть, как бы мы ни рассматривали ее, — зло, а зло Бог не мог сотворить. Напротив, все сотворенное Богом найдено Им самим прекрасным: “И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма”. Уже самый способ создания человека, природа которого, духовная и физическая, образует одно существо — человеческое, показывает, что смерть как расторжение двух природ его не входила первоначально в планы Божьи. По творческому плану Бога сущность человеческого существа должна состоять не из одного духа и не из одного тела, а из того и другого вместе, в неразрывном союзе и согласии: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и



вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Святое Писание ясно показывает, что человек даже и по телу создан для жизни бессмертной, когда говорит о древе жизни посреди рая, вкушая от плодов которого, человек и телом был бы безболезнен и бессмертен навсегда...»

Отрываю глаза от книги, чтобы осмыслить прочитанное. Ему не противится вдунутая в меня при рождении душа, а наоборот, вдумчиво, трепетно внимает.

А вот следующее утверждение осмыслить мне не по силам, и от этого тревожно:

«Между тем сам Бог, давая заповедь нашим прародителям о невкушении плодов от древа познания добра и зла под угрозой смерти, тем самым показывает, что люди могли избежать смерти и могут избежать истинной смерти, если они будут исполнять данную им заповедь».

А зачем он тогда взрастил в раю древо, на котором одновременно плоды познания и добра, и зла? И почему Он вообще попустил существование зла? Я тщусь, но никак не могу понять, моя мысль словно упирается в стену или повисает в пустоте, и рождается отчаяние и раздражение. Почему Господь дал первому человеку возможность совершения греха? Решил проверить его? Почему его первородный грех стал неотвратимым грехом всего человечества до скончания века: человек еще не родился, а он уже грешен?

И еще:

«По выражению Макария Великого, “до падения человека тело его было бессмертным, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховным и плотским ощущениям, ныне ему естественных”. Чувства его были несравненно тоньше, действия их были несравненно обширнее и вполне свободны. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою. Он был способен к общению с ними, а также к тому боговедению и общению с Богом, которые сродни святым духам. Святое тело человека не служило для него препятствием, не отделяло его от мира духов. Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в раю, в котором ныне могут пребывать одни святые и одними душами своими, с которыми по воскресению соединятся их тела. Тогда человек снова вступит в разряд святых духов и в открытое общение с ними. Образец тела, которое одновременно было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении.

С падением изменились и душа, и тело человека. В собственном смысле падение было для них вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть, в сущности, есть только разлучение души с телом, прежде того уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни, Бога. Мы рождаемся уже убитыми вечною смертью. Мы не чувствуем, что мы убиты, по общему чувству мертвецов не чувствовать своего умерщвления. Недуги нашего тела, подчинение его неприязненному влиянию различных веществ естественного мира, его дебелость — суть следствия падения. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных, оно существует жизнью своего падшего естества. Оно служит для души темницей и гробом».

Я пытаюсь все это понять и принять, но если в какой-то мере понимаю и принимаю, то больше умом, чем сердцем. И почему я должен принимать безоговорочно утверждения Макария Великого? Его утверждения, пусть даже они результат какого-то внутреннего зрения, видения — совершенно не доказательны, не подтверждены никаким опытом, в который я мог бы безоговорочно поверить. Это не больше, чем предположение, пусть даже гениальное. Зачем мне все это навязывается как безоговорочная истина, при этом постоянно присутствует какая-то недосказанность, которая, во-первых, дает мне возможность сомневаться в сказанном, а во-вторых, по-разному трактовать сказанное?

Пользуясь этой недосказанностью и почему-то заложенной во мне изначально, еще со времен прародителей человечества, неспособностью отличать плоды по-



знания добра и зла, мне, ищущему истину, то и дело подсовывают другие книги, тоже якобы проповедующие истину, цель которых — заставить меня если не усомниться в истинности существования загробного мира и явления Иисуса Христа, то хотя бы поверить в то, что это учение устарело. В этом ряду неожиданно для меня оказался и великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, который однажды вознамерился переписать и Иисуса Христа, и Конфуция, то есть заменить их собой. Я был поражен его ранней дневниковой записью, относящейся к 1855 году: «Ныне я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но обещающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

Но мало ли что приходит нам в голову в молодости, когда нами часто руководит гордыня. Меня поразило, что с годами Толстой не распрощался со своими нелепыми и кошунственными, и не только по мнению Церкви, идеями, а наоборот, укрепился в гордыне. Уже будучи, мягко говоря, в преклонных летах, за три года до смерти — он поставил себя на место Христа, даже пытался заменить его: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их исправлять, потому что они жили 3—5 тысяч лет тому назад».

Другие меня пытаются убедить, что Евангелие было извращено апостолами: не важно, по хитрости или из-за непонимания. Признаюсь, мне порой тоже приходят подобные мысли. Третьи снова и снова мне подсовывают ядовитую мысль, что утверждение о загробном мире — всего лишь сладостный самообман, а на самом деле там пустота. И потому, пусть духовно совершенствуясь, нужно жить — да, по совести — но только настоящим и брать от жизни все возможное здесь, на Земле, потому что никакой другой жизни не будет.

Однажды твоя подруга, помешанная на эзотеризме, всучила мне при встрече некую книгу:

— Это тебе обязательно нужно прочитать!

Я знаю, что в голове у нее полный хаос, там перемешались Библия, Блаватская, и, разумеется, Рерих, и еще много кто, только, наверное, черт знает всех. У меня было желание выбросить этот подарок в первый же встретившийся на пути мусорный контейнер, я не сделал этого только из уважения к книге как таковой. Толстенная книга некоего А. Клизовского, которая так и называется «О смысле жизни». Вызывая у меня раздражение и в то же время притягивая к себе, она долго лежала на журнальном столике. Наконец из любопытства заглянул в предисловие: написана в преддверии Второй мировой войны, ее автор за свои убеждения погиб в советском концлагере. Книга стараниями его последователей издана огромным для нашего времени тиражом. Перед сном, чтобы, наконец, решить судьбу книги, открываю:

«Вопрос о смысле жизни принадлежит к числу вечно волнующих, неразрешимых и роковых вопросов, которыми вот уже несколько десятков столетий болеют народы западного мира. Вопрос этот встает перед каждым достигшим известного развития, человеком, рано или поздно, на заре или закате жизни, неизбежно.

Откуда мы пришли, куда идем, какая цель существования человека на земле? Есть ли жизнь, как сказал поэт, “дар напрасный, дар случайный”, или в непрерывной, вечной круговерти жизни кроется какой-нибудь глубокий смысл? Какой смысл в кратковременном человеческом существовании, завершением которого должна быть неизбежная, неотвратимая смерть? Убийственно тяжела для человека мысль о



неизбежности смерти, ибо разум человеческий не мирится со смертью и не может признать разумности своего уничтожения. Главной причиной искания человеком смысла своего бытия является недоумение перед смертью, перед прыжком в бездну и неизвестность...

Человеку, утравившему истину о непрерывности жизни, смерть, действительно, должна казаться ужасной бессмыслицей, и, ища смысла жизни, человек хочет спастись от бессмысленности смерти. Во имя чего стоит жить, во имя какой высшей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность этой цели и приемлемость ее для всякого?

В выборе смертью своих очередных жертв нет никакой системы, никакого плана, никакого разумного основания. Если бы умирали люди, лишь дожившие до старости или даже до преклонного возраста, то это было бы понятно, но когда умирает человек в возрасте своей плодотворной деятельности или на заре своей юности, или даже только что родившийся, то здесь бессмысленность смерти выступает во всей своей ужасающей непонятности.

Результатом вызываемого смертью недоумения бывают ропот и упреки в несправедливости того, кого люди называют Богом, или появление апатии и потеря интереса к такой жизни, в которой нельзя найти смысла. Неизбежность бессмысленной смерти порождает у мыслящего человека горечь, разочарование и нежелание жить, что часто приводит его к еще большей бессмысленности — к прекращению своей жизни, что стало обычным явлением в наше время.

В своей жизни человек ищет конечной цели своего бытия, конечного смысла, который обнимал бы и поглощал бы собою все выдвигаемые жизнью цели и задачи. Он хочет такого объяснения смысла жизни, который не ставил бы в тупик перед смертью, но, перебросив мост между жизнью и смертью, соединил бы временное с вечным, конечное с бесконечным. Который вместе с разрешением этого кардинального вопроса разрешил бы и другие неразрешимые вопросы, вытекающие из этого основного вопроса, т. е. о душе, о загробной жизни, о Боге, о происхождении Вселенной...»

Все это созвучно мыслям, наверное, каждого из нас и притягивает, заставляет читать дальше:

«... Ответы на загадки бытия, которые дает христианская религия, вкратце следующие. Смысл жизни — в познании Бога, в приближении к Нему. Любовь к Богу как к источнику жизни и осуществление этой любви — в служении человечеству. Земное существование человека есть только начало, впереди лежит бесконечность, которая не поглощает человека, но приобщает его к себе. Смерть побеждается вечностью. Ключ к бессмертию заключается в воскресении Христа и в непреложности воскресения мертвых, уверовавших в воскресение Христа. По этой теории вечным блаженством и вечной жизнью могут наслаждаться лишь избранные. Но это еще не все. По учению христианской церкви, воскреснут из мертвых и наследуют жизнь вечную только верующие во Христа...»

Меня, как и автора этого труда, тоже смущает мысль об избранных: а что с остальными, которые — не по их вине — не познали Иисуса Христа?

Я полностью согласен с ним, я уже поддаюсь логике его мысли, хотя следующее его утверждение меня заставляет задуматься:

«По учению истиной науки, которая вместе с тем есть истинная философия и истинная религия — цель жизни есть жизнь. Но так как жизнь проявляется в движении, то синонимом жизни является движение. Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами: “Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”. Здесь ясное и прямое указание на необходимость беспредельного совершенствования, до подобия Отцу Небесному. Вечная жизнь управляется вечными и неизменными законами, которым подчинено все находящееся во Вселенной. В вечной жизни смерти нет. Сама смерть есть непрекращающееся действие жизни, которая отжившие формы жизни заменяет новыми, более совершенными...»



Что значит — истинная наука и истинная философия? Кто установил их неоспоримую истинность? Читаю дальше и начинаю подозревать, что меня, очаровав близкими мне и миллионам других людей мыслями о жизни и смерти, кто-то в очередной раз пытается ввести в смущение, иначе говоря, завербовать в одну из многочисленных сект, суть которых одна: увести от Иисуса Христа, подозревая, что у меня и мне подобных вера в Него не крепка, и своевременно нас нужно перехватить:

«В первую очередь необходимо дать ответ на возникающий у многих вопрос: для чего необходимо Новое Учение, когда существует Учение Христа?.. Ввиду того, что наступила пора людям от низшего сознания перейти к высшему, им дается новое, соответствующее этой надобности Учение, которое расширяет их кругозор и поднимает их сознание на необходимую высшую ступень. Поэтому полагать, что раз существует Учение Христа, то в новом нет надобности и без него можно обойтись, — значит или совершенно не уяснить себе законов эволюции и пребывать во тьме невежества и средневековых заблуждений, или, как ленивый школьник, который не хочет учиться, утверждать, что для него достаточно той премудрости, которую он освоил в основной школе, а высшей ему не нужно. То Учение, которое дается теперь, тоже не есть последнее.

Что касается имени Учителя, то для познавшего истину оно имеет второстепенное значение, ибо он знает, что каждый Учитель уже много раз приходил на Землю, принимая всякий раз новое имя, и какое имя он пожелает принять теперь, никому неизвестно.

Необходимо принять Учителя и Его Учение сердцем, тем высшим сознанием человека, которое все знает, которое ошибок не делает и которое допытываться об имени Учителя не станет. Тот, кто не может принять Учителя сердцем, желая постигнуть Его умом и, прежде чем принять Его, удостовериться, есть ли Он тот самый, которого в своем воображении представил себе, тот, и зная имя Учителя, Его не примет.

Христиане ждут прихода Христа, евреи ждут Мессию, магометане ждут Мунтазара, буддисты ждут Майтрею, последователи Зороастра ждут Саошьянта, индусы ждут Калки Аватара. Новое Учение говорит о наступлении эпохи Майтреи. Значит ли это, что только буддисты окажутся правыми, а все остальные ошибутся?

Нисколько. Теперь наступила пора объединения всего человечества, для чего и дается ему Единое Мировое Учение. Явится один Учитель, один Спаситель мира, но всякий ждущий и принимающий Его сердцем своим увидит Его в таком виде, в каком он ждет Его. Христианин увидит Его в образе Христа, магометанин — в виде Мунтазара, буддист — Майтрейей, индус — Калки-Аватаром и т. д.

Из этого явствует, что имя Учителя — вопрос второстепенный, ибо все те имена, которыми люди называют бывших Учителей и грядущего Учителя, суть имена не собственные, но нарицательные. Христос, Майтрея, Калки-Аватар, Мунтазар и Мессия обозначают Спасителя мира, единую Высочайшую Индивидуальность, но каждый народ и каждая страна знали этот Великий Облик в соответствующем воплощении...»

И мне уже все ясно с этой книгой, что это очередная масонская уловка, скрытая под красивые одежды, тайный смысл которой: давайте объединимся в общей вере, но без Иисуса Христа, который устарел, в общем боге, которого нет, но мы от имени Его и вместо Него будем править вами.

Но по инерции еще продолжаю читать:

«Особенностью языка священных писаний нужно считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрыта символами, что дает возможность всякому понимать скрытую символами истину сообразно своему развитию. Необходимость символического языка для сообщения людям трансцендентных истин вытекает из того, что религиозное учение дается не для одного поколения, не для сотен, не на один век, но на десяток веков, в течение которых в каждый данный момент существуют люди разного умственного и нравственного развития...»



Символический язык сохраняет жизненность и неувядающую свежесть писаний в течение веков, но он служит отчасти и причиной извращения и ложного понимания Учения. Когда человек своим малым ограниченным умом раньше времени пытается понять прикрытые символом истины, то неизбежно приходит к ошибкам и заблуждениям...»

Полностью согласен с последним утверждением, меня не однажды посещала эта мысль: почему Истина, коли она истинна, если с нами не лукавят, дана нашему несовершенному уму в виде символов? Ведь именно язык символов — причина многочисленных толкований Истины. Именно язык символов — основная причина появления бесчисленных сект, трактующих Истину. И невольно встает вопрос: тогда Истина ли это, раз ее прячут за символами, которые можно трактовать как угодно? И цель вышеприведенной хитрой тирады Клизовского: снова разбудить давно отвергнутые мной или дремавшие во мне вопросы, посеять сомнение, после чего можно уже в открытую идти в наступление, навязывая свою доктрину:

«Такая замена истины ложью произошла в христианском учении. Из него была изъята жемчужина — непрерывность жизни, и вместо этих ценностей была дана бессмысленнейшая теория вечных мук или вечного блаженства за дела одной короткой жизни. Поэтому, чтобы выйти из этого безвыходного положения и избавить последователей искаженного таким образом учения Христа от ужасных вечных мук, придумано было отпущение грехов. Возможность вечного мучения за одно мгновение, чем в сравнении с вечностью является человеческая жизнь, делает религиозное объяснение смысла жизни неудовлетворительным и неприемлемым. Человеческий разум и человеческое сознание, лишь подчиняясь жестокой необходимости, вопреки здравому смыслу делает вид, что принимает мировоззрение, которое проповедует как истину величайшую несправедливость и самую чудовищную жестокость, то есть дает возможность вечных мук за одну короткую жизнь. Но в действительности в глубине своего сознания человек никогда за истину признать этого не мог и не может...»

И я отчужденно отодвигаю в сторону эту книгу, определив ее в мусорный контейнер. А потом передумываю: увезу на дачу, сожгу в печке или на костре. Но в голове она все-таки, против моей воли, застряла, зародила ядовитые семена.

Ежегодно издаются, переиздаются и вновь пишутся десятки, сотни подобных книг о смысле жизни, о том, что будет с нами после смерти, вроде бы не отрицающих Христа, а как бы наоборот, продолжающих его, но хитро заставляющих сомневаться в его истинности...

В этом ряду особое место занимает учение Николая Рериха, от посредственных картин которого веет ледяным холодом, именем которого заморочены головы миллионов людей. Далеко не безобидная рериховская секта распустила свои шупальцы по всему миру, ее адепты не хотят слышать, что рериховская экспедиция на Тибет в поисках Шамбалы была экспедицией ОГПУ, что истинным руководителем ее был террорист и оккультист Яков Блюмкин. Учение «Живой этики» Елены Рерих — это сладко-ядовитая масонская антихристианская мистификация, рассчитанная на сомневающихся и простодушных. (Из поздних изданий благоразумно была вычеркнута саморазоблачающая сказка о «письме» великих махатм (учителей) Индии к великому махатме Ленину.)

В конце концов, я стал обходить стороной любые книги о смысле жизни, подозревая в них если не явный, то скрытый обман...

Жизнь без тебя...

Как обычно, в сумеречной тишине, о чем-то глухо и согласно переговариваясь между собой, над нашим лесным домом пролетели два ворона, семейная пара. Так низко, что был слышен посвист крыльев. Как помню, вороны летали над нами в



первый день, когда мы, оформив землю, поставили палатку на лесной поляне, и я стал копать ямы под столбы для ограды. Тогда они, видимо, нарушили свой обычный облет: пролетели над поляной взад-вперед несколько раз, пока не убедились, что это не случайная палатка туристов, что в их лесных владениях объявились новые жители. Я всегда задавался вопросом: где они умудряются гнездиться в нашем давно разреженном, без старых деревьев лесу? Неужели, совершая свой каждодневный вечерний облет, они прилетают откуда-то издалека?

Как известно, вороны живут до трехсот и более лет. Эти вороны жили здесь, чувствуя себя хозяевами, до нас, они пролетали над нами каждый вечер в сумерках при тебе, сейчас они пролетают над нашим домом каждый вечер без тебя, и я, невольно вспоминая о тебе, думаю, что так же они будут пролетать после меня. Я полагаю, что с высоты своего полета, с высоты своего долголетия они снисходительно смотрят на нашу быстротечную суетную жизнь. Что они думают о нас?

Жизнь без тебя...

Пришла третья весна после тебя. Сегодня возвращался с дачи. В высоких болотных сапогах, так как в низинах еще лежал глубокий снег, пробирался пригорками, которые выгятели лишь местами, в деревню, где оставил машину. Вспоминал, что раньше мы с тобой пробирались именно этим путем.

Невидимые глазу жаворонки торжествовали в небе. Низкие печальные полупрозрачные облака стелились над холмами, из них изредка сыпался еле осязаемый дождь. Солнца не было, но какой-то необыкновенно грустный, но в то же время торжествующий светлый свет окружал меня. И сейчас, весной, я снова вспомнил тот октябрьский день, когда мы с тобой с этой горы шли на электричку: перейдя внизу пшеничное поле, оглянулись назад, на полыхающую золотом и багрянцем гору, и с редким ощущением счастья и взаимного согласия, но словно предчувствуя, что впереди у нас что-то грозное, роковое, поцеловались и поклялись: «Давай помним этот день!»

Я буду помнить этот день до конца дней своих. Помнишь ли ты его там?..

Жизнь без тебя...

Господи, все-таки как хорошо на Земле, несмотря ни на что! Как все-таки прекрасна Земля! И не может того быть, чтобы мы уходили с нее безвозвратно! Не могу согласиться с тем, что мы только гости на ней! Как можно от такой красоты уходить навсегда?! Неужели мы никогда ни в каком качестве не вернемся на нее? Какой смысл нашей сегодняшней жизни, если мы никогда сюда не вернемся?

Почему-то хочется верить, что мы отправлены сюда не только на исправление, как в ГУЛаг, но и для того, чтобы мы приутожили Землю к чему-то очень важному, красивому, может, ко второму пришествию Христа и к нашей новой жизни вместе с Ним. Иначе какой смысл в нашем украшении Земли? Иначе почему так разрывается душа от печали, от одной только мысли будущего прощания с ней?

Как бы подтверждение этой мысли нахожу у преподобного Максима Исповедника. Он пишет, что замысел Бога был в том, чтобы через человека привести мир к еще большей гармонии, слаженности и единству. Человек был призван последовательно преодолеть в себе разделенность мира. Максим Исповедник недвусмысленно пишет, и эту мысль, волнуясь, горячо принимает моя душа, что человек должен был соединить рай со всей Землей, то есть, нося рай в себе в силу своего постоянного общения с Богом, он должен был превратить в рай всю Землю. После этого ему предстояло уничтожить пространство — не только для своего духа, но также и для тела, соединить Землю и Небо. Может быть, мы, умирая, все-таки

не навсегда покидаем Землю? Может, это не противоречит идее Бога о человеке? С этой мыслью мне будет легче умирать.

Жизнь без тебя...

Старец Амвросий Оптинский: «Господь только тогда прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в Вечность или же когда не видит никакой надежды на его исправление».

Это изречение очень любят повторять священники.

У меня это вызывает невольную усмешку: получается, что если хочешь подольше побыть на этом свете, то нельзя быть уж совсем откровенной сволочью, и в то же время не надо стремиться, даже наоборот, надо остерегаться попасть в праведники, надо — где-нибудь посередине...

Жизнь без тебя...

Когда ты уже была безнадежна и когда мы по пути из ракового центра в очередной раз проезжали мимо дома на бывшей Бекетовской, где начинали жить вместе и прожили большую часть нашей совместной жизни (а я почему-то всегда упорно ехал этой улицей, только в самый последний момент спохватываясь, что снова и снова возвращаю тебя к воспоминаниям), ты молча смотрела на когда-то застекленный мною балкон. На зиму я пристраивал на него какую-нибудь большую ветку, на которую привязывал пучки рябины и калины, а ниже пристраивал кормушку, в которую насыпал хлебные крошки и семечки. С приходом настоящих холодов на деревце собиралось множество самых разных птиц: синиц, снегирей, свиристелей, разумеется, воробьев, особенно хорошо птицы смотрелись в морозную ясную пору, и люди, идущие внизу, невольно поднимали головы и улыбались...

Теперь уже на чужом для нас балконе сушились детские вещи, но кормушку для птиц они оставили, даже не перевесили на другое место, и я весь сжимался от мысли, что сейчас происходит в твоей душе. Здесь мы были относительно счастливы. Здесь мы были несчастны, но почему-то никак не могли расстаться. Здесь мы совершили свои главные ошибки. Здесь прошла вся наша с тобой жизнь. Сейчас бывшую Бекетовскую переименовали в очередной раз. Это уже не наша улица. Рядом с нашим нынешним домом, незадолго до твоего ухода, огородили забором старый дом, обреченный на слом. Ты жалела даже не столько дом, сколько ель, которая когда-то кем-то была заботливо посажена у подъезда и которая теперь была обречена на вырубку. Она, как и ты, доживала последние дни.

Ель срубили однажды ночью, еще при тебе...

Жизнь без тебя...

В очередной раз приехали с твоей сестрой на кладбище.

Когда я вернулся от колонки с ведром воды, чтобы полить цветы, сестра, закончившая прибирать могилку, не смогла сдержать слез:

— Сколько воспоминаний, но одно не дает покоя: уже в гробу у нее по щеке вдруг побежала слеза... Боже, как она не хотела умирать!..

Боже, как ты не хотела уходить из этого мира, когда поняла, как нужно было жить!

Снова и снова вспоминаю, как ты была прекрасна в гробу, с лица ушли все следы страдания, оно было покойно и светло. Твое лицо, может, более всего говорило о существовании иного мира, иначе почему оно было таким, словно ты наконец нашла то, что всю жизнь искала?





Жизнь без тебя...

Через три года после твоего ухода — на твой день рождения! — неожиданно пришел приبلудный пес Рыжик, которого мы давно считали умершим. Было это так: утром, еще в темноте на кого-то заворчал Дружок. Я открыл дверь веранды, мимо меня с писком прорвался на веранду, а потом в дом, с грязными ногами, ночью был дождь, Рыжик, пробежал в кабинет, к топчану за печью, на котором мы с тобой раньше спали, но тебя там не было, жалобно заскулил и, опустив голову и прихрамывая, побрел на кухню, где, свернувшись в комок, привычно лег за печкой. Утром поел, поскулил, потыкался из угла в угол, то и дело заглядывая на топчан. Все так же поскуливая, послонялся по участку и ушел...

Жизнь без тебя...

Под Новый год неожиданно уволился сторож Игорь. По всему судя, он заранее готовился к этому. Осенью, под предлогом свозить в ветеринарную клинику, куда-то увез свою собаку. Самое неприятное, что, уходя, он даже не предупредил меня, а ведь с ним мы вроде бы даже дружили. Я только случайно через полмесяца узнал, что Дружок и Динка остались беспризорными. Дружок еще ладно, он будет ходить в соседний дачный кооператив, он там дружит с кем-то из сторожей или жителей. А вот полудикая собака Динка никуда не отходит от дома. Прячется от всех, но никуда не отходит. Потому, отказавшись от предложения друзей вместе отметить Новый год, в последний день старого года, несмотря на буран, еду в сад.

Новый год в обществе бездомных собак, без электричества: всю предновогоднюю ночь завывал, метался буран, и, видимо, где-то порвался электрический провод.

И всю зиму в любую погоду каждую субботу я вынужден ехать в сад: в деревне оставляю машину, встаю на лыжи и иду кормить собак.

Динка по-прежнему сторонится меня. Но когда я ухожу, она какое-то время идет за мной, а потом еще долго печально смотрит мне вслед, в то время как наевшийся до отвала Дружок преспокойно дрыхнет под верандой.

Ты — в образе полудикой собаки Динки — так и не отпускаешь меня. Большинство знакомых, знающих о Динке, сочувствуют мне, спрашивают о ней, даже собирают для нее с Дружком кости.

Однажды я чуть не женился. Это было в другом городе. Я гостил у этой женщины. Пришел день, и я сказал:

— Мне нужно ехать, я уже десять дней не был на даче. У меня там собаки голодные.

— А что с ними случится?! — равнодушно сказала она. — Собаки живучие. Это меня остановило.

Жизнь без тебя...

Никуда не деться и никогда мне не освободиться от памяти о тебе и обо всем, что связано с тобой. Снова и снова пытаюсь осмыслить твою клиническую смерть за десять лет до истинной, необратимой, когда наша последняя поздняя попытка родить ребенка окончилась страшным маточным кровотечением и выкидышем. Что это: Бог тогда хотел тебя взять к себе, но потом посчитал, что ты еще духовно не созрела для той жизни, что ты еще должна помучиться на Земле, осознать свои грехи? Потому как, вычитал я в церковных книжках, «иногда, по неведомому Промыслу Божию, человеку дается возможность пройти “сень смертную” и на время вернуться назад, в мир живых. Таким образом Господь помогает душе в деле нравственного самосознания и самоопределения, зная, что такой урок будет духовно полезен человеку, который оценит эту милость Божию и дальше будет жить по Его заповедям и воле, заботясь о внутреннем очищении».



Мне остается жить надеждой, что после всех твоих земных страданий, многим из которых я виной, тебе там хорошо. И если, забирая к себе, Бог не отбирает у нас память о земном, я знаю, ты все равно тоскуешь о нашем саде, о наших собаках, о деревьях, посаженных тобой, о щемящих земных горизонтах, которые, может, как раз и зовут в мир иной, о том — 19 октября 1994 года — необыкновенном, печально-торжественном, казавшемся нам неземным, а на самом деле самом земном свете, которым светилась, полыхая золотом и багрянцем, наша роща... Может быть, вспоминаешь обо мне...

Жизнь без тебя...

Может, нужно было тебе дать прочесть эту книгу, «Жизнь после смерти»? Другие подобные книги. Сейчас вот думаю: как ты отнеслась бы к этому? Легче тебе стало бы после прочтения их? Мы с тобой старались вообще избегать разговоров о смерти, даже в последние твои дни, словно этим могли обмануть ее. И я, читая тайком подобные книжки, прятал от тебя. А может, на том свете все совсем не так, как в этих книжках, и встреча с загробной действительностью после них стала бы горьким ударом?

Жизнь без тебя...

Только сейчас, по прошествии времени, я осознал, что после клинической смерти ты стала другой, а я этого в суете жизни не заметил. Прежде всего, изменилось отношение ко мне. Оно стало вроде отношения матери к уже взрослому ребенку, воспитание которого было неправильным, и надо воспринимать его таким, какой он есть. После клинической смерти ты не то чтобы простила все мои грехи, а стала смотреть на них иначе, с чувством, что уже ничего нельзя изменить. Я только потом с опозданием понял, что ты тогда не совсем вернулась с того света и на этом жила уже с памятью смертной, которая тебя вроде бы должна была примирить с будущей смертью, а ты, наоборот, еще больше хотела жить. Но жить, пусть с запозданием, в согласии с собой и со всеми. Твоим единственным миром стал наш сад и, потому как у нас не было детей, наши собаки, которые тебе заменяли детей. Ты не раз с горечью повторяла, что по молодости-дурости выбрала не ту профессию, что тебе нужно было стать врачом, точнее — ветеринарным врачом, так как животные, в отличие от людей, ни в чем не виноваты.

Я только сейчас многое стал понимать.

Но зачем мне сейчас это понимание, которое приносит только запоздалую боль?

А может, как раз смысл в этой боли? Может, это тоже своего рода подготовка к другой жизни? Может, поэтому Господь еще держит меня на этом свете?..

Мысли вслух...

А все-таки: надо ли человеку постоянно напоминать, что он смертный?

Не всякому это по силам — постоянно жить с этим чувством. Для одних это, как утверждают, благодатная память, ограждающая от грехов. Других же, и их, возможно, большинство, маловерующих или вообще неверующих, это прижимает к земле, понуждает торопиться жить, совершать грехи, в том числе самые смертные...

Мысли вслух...

Церкви — представительства, почтовые станции того света на Земле? В них через священников, какими они ни были бы, или напрямую люди общаются с Богом. Раковые центры — тоже своего рода представительства, почтовые станции того света на Земле...



Жизнь без тебя...

Включаю телевизор: передача о переселении душ. Люди видят себя в прошлой жизни, даже на других планетах. И некоторые случаи, примеры настолько убедительны, что не знаешь, во что верить. Когда, например, душа — или что иное? — девочки, погибшей в России, вдруг вселяется в тело девочки, пережившей клиническую смерть в Казахстане. Придя в себя, она не узнает своих родителей, зато признала за своих — родителей и родственников девочки, погибшей за тысячи километров от ее дома в России. И теперь живет то там, то там — на два дома.

Это противоречит основам веры в Иисуса Христа, принимаемого нами за единственную и вечную истину, но это — действительный факт.

Мысли вслух...

Как бы, наконец, опомнившись и в какой-то мере освободившись от разрушительной большевистской химеры, с причинами возникновения которой в России мне далеко не все ясно, в том числе в вопросе, за какие страшные грехи Всевышний наказал нас такой бедой, люди начали искать свои земные корни, составлять родословные. А зачем искать свои земные корни, уходящие в неведомые века, если мы здесь временно? Значит, мы подспудно знаем, что когда-то вернемся на Землю? Значит, для чего-то или для кого-то это нужно, разумеется, прежде всего, для нас самих, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы род тянулся из века в век.

Но иногда по какой-то причине, порой, нам кажется, не зависящей от нас, прерывается не только род, но и жизнь целого народа, даже целой цивилизации, да так, что о существовании ее даже не подозревают или только смутно догадываются потомки. Потому что как бы специально сгорают в пожарах древние библиотеки, где хранились сведения об этой цивилизации, словно кто-то специально стер память о ней, как, например, случилось с легендарной Атлантидой. Может, могущественная и процветающая, она погрязла в таких грехах, в таких нравственных неизлечимых болезнях, которые могли передаться потомкам? И так как уже ничего невозможно было исправить, легче было ее уничтожить целиком — страшным землетрясением, извержением вулкана или чем-то подобным, — и сделать все возможное, чтобы о существовании ее в будущем даже никто не догадывался.

Мы, русские, в большинстве своем не знаем, не помним своих корней, словно это нам не надо, словно мы действительно временные на Земле. Например, в отличие от татар, с которыми уже много веков живем не просто рядом, но и повязаны одной судьбой. Они, в отличие от нас, как правило, помнят своих предков до седьмого колена, а многие и того дальше.

Мы же, русские, до последнего времени в большинстве своем бывшие крестьяне, преимущественно беспамятны, никогда не вели родословных, в лучшем случае помнили лишь прадедов. Может, это не случайно? Как и не случайно заброшены наши кладбища? Это доказательство нашей ущербности? Или лишнее доказательство того, что как народ мы — не от мира сего и острее других, бессознательно, на генетическом уровне чувствуем, что мы временные на Земле и потому так равнодушны к своей земной судьбе? Но почему же тогда наши предки, будучи земледельцами, привязанными к земле, определили себя народом Христа — крестьянами? Но крестьянин — не просто земледелец, исповедующий Христа, но и добровольно разделивший, несущий вместе с ним его крест. Понятия «христианин» и «крестьянин» до последнего времени на Руси были синонимами. Случайно ли это? Русский народ чувствовал себя одновременно народом этого и того мира. Может ли такой народ быть временным на Земле? Зачем же нас так упорно зовут отсюда, соблазняя раем вне Земли?..



Но, может, в том и трагедия русского народа, что он, определив себя народом Христа, по-прежнему беспредельно привязан к земле, а это противоречит замыслу Всевышнего?..

Спohватившись, уже будучи с седой бородой, я с трудом проследил свою крестьянскую родословную по отцу до начала девятнадцатого века. Мои предки, пригнанные откуда-то из центральной России на южно-уральский Симский горный завод в качестве чернорабочих, в ревизских сказках начала девятнадцатого века назывались уже по фамилии, когда все другие односельчане именовались еще по принципу «Иван сын Петра». Вроде бы за моими предками не было никаких страшных грехов. И во власть никто не лез, правда, дед, будучи кузнецом, по своей грамотности по совместительству ходил в волостных писарях. Никто не вступал ни в какие партии, все, кого знаю, всегда были ниже травы, тише воды, но Господь почему-то решил прекратить наш род.

Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Оберегал тебя, как ребенка, от всяких неприятностей и, видимо, делал это неуклюже, потому что тебе казалось, что я имею от тебя какие-то свои тайны. Ты узнала о моей операции по поводу остеомиелита правой голени только на третий или четвертый день после операции, когда из реанимации меня уже перевели в палату. Отправляясь в дальние экспедиции, в места, где заведомо не было никакой связи, я оставлял на последней почте деньги, чтобы тебе время от времени от моего имени посылали телеграммы, что у меня все в порядке. Потом ты узнавала или догадывалась об этом и начинала думать, что у меня есть от тебя и другие тайны.

Получалось, что я все это делал во вред себе.

Вспоминаю...

Когда мы одно время жили каждый сам по себе: еще не в разводе и в то же время вроде бы уже договорившиеся о нем, казалось, нас удерживала лишь общая квартира (сколько несчастных семей удерживал и удерживает этот проклятый для России вопрос), однажды вечером ты как бы между прочим сказала мне:

— Мне предлагают выйти замуж...

Я молчал. Я знал, что у тебя есть поклонники, в том числе статный милицкий полковник, который откуда-то знал, что мы с тобой живем не в ладу, и который однажды на улице пытался заговорить со мной на эту тему, но я отмахнулся от него: «Почему я должен решать, пусть она решает».

— Что мне делать? — спросила ты.

— Решай сама.

— А ты что скажешь?

— Решай сама, — ушел я от прямого ответа.

Порой мне хотелось, чтобы ты ушла. Порой мне самому хотелось уйти от тебя, но я выжидал, чтобы это решение приняла ты, ибо причину наших разногласий я видел только в тебе. А сейчас порой думаю: может, не нужно было тебя тогда удерживать? Может, ушла бы ты к другим берегам, была бы счастлива? И были бы у тебя дети, внуки... Может, и у меня теперь были бы и дети, и внуки. Может, мой большой грех, что я тебя тогда удержал, не способный дать тебе счастье? И, может, не заболела бы ты этой страшной болезнью, ибо не было бы у тебя смертного греха перед Богом...

Однажды, измученная страшными болями, уже не в силах бороться с раздражительностью, ты в сердцах бросила мне: «Ты лишил меня материнства». Я едва



сдержался, чтобы не сказать в ответ, что ты лишила меня отцовства и обрекаешь на одиночество, но промолчал.

Но мы не задумывались, что на нас обоих еще один тяжкий грех: мы лишили будущего и твою бездетную от природы сестру, которая теперь, на старости лет, могла бы остаться с племянницей или племянником, которые заменили бы ей детей, а твою мать лишили возможности стать бабкой.

Господи, я знаю, что не имею права даже просить у тебя прощения!

Жизнь без тебя...

Умер от рака Г., второй человек в администрации губернатора. Мне приходилось обращаться к нему с некоторыми вопросами, он всегда старался помочь. Не помогли ему ни ЦКБ в Москве, ни дорогостоящие лекарства, ни знаменитые немецкие онкологические центры. Не знаю, когда в нем поселился рак, но за два года до этого, в авиационной катастрофе над Баденским озером, вместе с семьей Калоева у него погибла дочь, и говорили, что рак у него возник, возможно, в результате нервного потрясения. Всего месяц назад мы встретились с ним и обнялись в ночном аэропорту: я возвращался из Москвы, а он встречал прилетевшую этим же рейсом старшую дочь-студентку. Ничто не говорило о том, что жить ему осталось всего месяц...

Рак!

Что это за болезнь? Было время, еще в начале XX века, когда врач за всю свою медицинскую практику мог ни разу не встретиться с раком. Сейчас же ежегодно в мире от рака умирает около 5 миллионов человек и выявляется до 9 миллионов новых случаев заболевания. И с каждым годом эти цифры растут чуть ли не в геометрической прогрессии. И, главное, — катастрофически растет детская заболеваемость раком.

Какова причина рака? Стресс? Канцерогены? Вирусы? Чей-то, если кто наблюдает за нами со стороны, — способ борьбы с перенаселением планеты? В чем смысл неизлечимости рака, длительности, мучительности умирания?

Раком заболевают грешники, чьи души не могут иначе подготовиться к иной жизни? Может, раком заболевают также люди, которые настолько сильно привязаны к Земле, что в случае внезапной смерти без покаяния могут оказаться совершенно неподготовленными к иной жизни, а покаяние возможно только на Земле? И потому человек перед уходом с нее так мучается, что Бог из милости дает ему возможность осознать свои грехи и покаяться, чтобы ему было легче там?

Человек при раке высыхает так, что остается одна измученная душа. Вместе с ней мучаются, совершенствуясь при этом, души родных и близких?

Заболевший раком, хочет он этого или не хочет, начинает осмысливать прожитую жизнь, и в результате приходит к выводу, — но всегда ли? — что некоторые, а может, и многие его поступки и дела, которыми он, возможно, даже гордился, были грехами?

Но если признать, что причина рака только в несправедной жизни, то я знаю десятки людей, которые жили праведной жизнью, в том числе монахов, умерших от рака. И в то же время я знаю множество случаев, когда человек в результате этих мучений не очищался душой, наоборот, озлоблялся, не примирялся с уходом из этой жизни.

В бессилии перед раком мы прячем голову в песок: пока он не коснется нас лично, делаем вид, что вроде бы его вообще не существует. Пока он не коснется нас лично, мы стараемся не замечать, что рядом с нами почти в каждом крупном городе существует раковый центр, а теперь это, как правило, даже целый квартал, город в городе. И мы упорно продолжаем до поры до времени обманывать себя, что этот страшный пограничный город между этим и тем светом не заберет когонибудь из близких или нас самих. Может, в мире с каждым годом все больше и



больше грешников? Может, со временем раковые центры будут занимать целые микрорайоны? Может, уже бессильны все другие способы разбудить наши души? И скоро каждый человек будет проходить через рак?

По какому принципу и кто нас отбирает, чтобы забрать в этот страшный город в городе на границе миров? Кто-то умирает во сне, не подозревая о своей смерти. Многие мечтают о такой безболезненной и беспмятной смерти. Православные священники, наоборот, утверждают, что это большое несчастье: «Люди неверующие всегда желают умереть внезапно, вернее, избежать смерти через смерть бессознательную. Такая смерть — результат жизни бессмысленной. Насколько легка, спокойна, радостна смерть истинно верующих христиан, настолько она страшна и мучительна для неверующих или для людей, взявших свою веру не из Божественного Откровения. Смерть внезапная, без покаяния, страшна и часто является наказанием за наши грехи. Желание умереть во сне — из трусости. Господь посылает нам болезни для нашего спасения, для осмысления грехов наших, чтобы в немощах своих познавали силу Божию».

Кто решает, когда и как человеку умереть: от сердца — вдруг, неожиданно, или мучительно долго — от рака? Пытаясь найти ответ, открываю книгу приснопамятного владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, светоча России в новое — нынешнее — смутное время:

«Болезнь тела есть лишь следствие болезни души, поэтому главное лекарство для больного — это “дух сокрушен”, это искреннее раскаяние в совершенных грехах и намерение исправиться. О первопричине телесных болезней говорит сам Иисус Христос, исцеляя страждущих, Он напутствовал их такими словами: “Иди и больше не грехи!”»

Еще: «Ты неправильно понимаешь суть болезни... Господь хочет через болезнь привести тебя ко спасению, а ты расстраиваешься и тем самым идешь против воли Божией... Говори так: “Господь, укрепи меня в страданиях моих и даруй мне терпение, чтобы без ропота переносить все во имя Твое, помилуй мя”».

И еще: «Неверно рассуждаешь, что твоя болезнь якобы не от Господа. То, что она возникла у тебя не на почве порока, еще не значит, что она не от Бога. Это Он болезнями привел тебя к Себе, поэтому не смущайся, а твердо верь, чтобы посредством ее исцелить твою душу».

Оказывается, все просто и ясно, если ты веруешь в Бога. А раз тебе с этими простыми и ясными мыслями трудно смириться, значит, твоя вера некрепка, или ты только обманываешь себя, что веруешь. Простым гриппом окаменевшую душу не вылечишь. Но в то же время: противится этому душа, и без того так мало нам отпущено на этом свете. И каков принципа отбора, я уже говорил, что знаю людей, несомненно, праведных, но окончивших жизнь в страшных страданиях. Или у нас с Всевышним различны понятия о праведности?

И еще читаю: «Часто, возлюбленные братья и сестры, перед нами встает такой вопрос: почему не за всякого больного можно приносить молитвы? Ответ мы находим в житиях подвижников благочестия, которые правильно разумели суть событий. Они разумели, по какой причине происходит та или иная болезнь в естестве человеческого, и в зависимости от этого или умоляли Бога об исцелении, либо всецело предоставляли исход болезни Божественному промыслению о человеке... Я знаю, что современный нам подвижник благочестия протоиерей Иоанн Кронштадтский тоже не за всех молился, хотя и был весьма любвеобилен к немощам и страданиям людским, к человеческому горю. Праведник прежде прозревал причину болезни. И если видел, что она произошла вследствие грехопадения, тогда молился не об исцелении телесного организма, а об исцелении души человеческой».

Но вот что я еще читаю у владыки Иоанна, но уже применительно не к отдельному человеку, не к отдельной душе человеческой, а применительно ко всей России, к Новому Смутному времени:



«Никто не знает, сколько еще отпущено нам, чтобы опомниться и исправиться, поэтому каждый, не откладывая, не медля, спроси себя: “Не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех удерживает Отчизну в бездне падения? Не мое ли нерадение отлагает светлый миг воскресения?...” Русские люди, подумайте здраво — среди нас никого, кто мог бы оправдаться, случись ему отвечать на эти вопросы не пред земным бесстрастным и слабым человеческим судом, а перед Судом Всеведающим и Всесовершенным».

И сразу рождается мысль: если мы временные на Земле, почему митрополит Иоанн, взывая к нашей совести, говорит о будущем России, о ее воскресении? Где она воскреснет? Или уже есть параллельная небесная Россия? Или она воскреснет в час Воскресения вместе с нами?

Читаю дальше:

«Разумение своей нравственной немощи и побуждает человека стремиться к исправлению. Когда это стремление к чистоте и святости овладевает целым народом, он становится носителем и хранителем цели столь высокой, столь сильной, что это неизбежно сказывается на всем мироустройстве. Такова судьба русского народа».

Если мы временные на Земле, какова же наша цель как народа? Все утверждают, в том числе мусульмане, иудеи, буддисты, что мы временные на Земле, и все воюют между собой, порой за какой-нибудь незначительный кусок планеты. Зачем, если мы рано или поздно навсегда уходим с Земли? Или государства это тоже своего рода детская песочница, в которой, притираясь друг к другу, народы учатся жить?

И опять детский вопрос: зачем Бог — или все-таки не Бог? — разделил нас на разные народы, хотя нет у Бога ни эллинов, ни иудеев? Чтобы мы, время от времени выясняя между собой отношения, не поднимали глаза к небу? А мы, славяне, некогда единый народ, до сих пор продолжаем делиться, разбегаться — только что закончился кровавый дележ на Балканах, а, к примеру, у славянской Польши нет более ненавистного врага, чем братская Россия.

Мы говорим, чаще всего всуе, о небесной России. А что это такое? А что — есть и небесная Германия? Небесная Франция? Почему они не могут претендовать на свое место *там*? И мы там снова будем выяснять между собой отношения? И вообще, в чем смысл всемирной истории, если мы — временные на Земле? Или это попытка создания гармоничного общества на Земле — как зеркала того, высшего мира? Чем более гармоничен человек на Земле, тем более он готов к высшей жизни?

Но если все на Земле создал Бог, а человека он отправил на Землю на исправление, то зачем, создав параллельный человеку животный мир, для каждой твари он определил врага? И циничный смысл жизни каждой твари — всего лишь быть пищей другой твари? Всеми и всем на Земле кто-то питается, хотя у животных, несомненно, есть душа, радость жизни, это нетрудно понять, достаточно послушать весенний многоголосый ликующий птичий хор на рассвете. И в тоже время — страх смерти! Почему так устроен мир? Из-за греха Адама страдают не только люди, но и весь животный мир? Их вина в чем?

Но говорят, есть остров, где-то около Австралии, где нет хищников. Птицы и звери умирают там собственной смертью: по старости или по болезни. Почему Господь создал этот островок? По недосмотру? Ради эксперимента? Какой смысл во всем этом? И у человека было множество врагов. А когда он, сорвав яблоко с древа познания, стал всемогущим, у него не стало врагов, он определил врагом себе самого себя.

Но если мы вернемся на Землю после Страшного суда, хватит ли нам всем, воскресшим, на ней места? Или на нее вернутся только избранные? Определенные в рай? Или, наоборот, в ад? А может, мы уже живем в аду, за прежние грехи наши, только не подозреваем об этом?

Преподобный Варсонофий Великий: «И во второе пришествие Иисуса Христа будет воскресение мертвых, всеобщий суд, и тогда определится окончательно участь



каждого человека. Человек восстанет и с костями, и с жилами, и с власами — и в теле нетленном, бессмертном, славном».

Блаженный Феодорит: «Бессмертный дух не будет воскресать так, как тело, а только возвратится в оное».

Святитель Иоанн Златоуст: «В воскресении не женятся, не посягают, но как Ангелы. Состояние это утверждается благодатью, ведь и в раю жили девственной жизнью».

Раз мы воскреснем после Страшного суда в прежнем теле, а кости наши остались на Земле, значит, мы вернемся на Землю? Значит, мы ее благоустроиваем для себя? Пришел к этой мысли, точнее, обманул себя этой мыслью и успокоился. Пусть что угодно говорят, но раз воскреснем в прежнем теле, значит — снова на Земле!

Мысли

В конечном итоге я, кажется, внутренне согласился с мыслью, что болезни даются в наказание человеку, для осознания его грехов, в искупление их.

Получается, что какие бы причины возникновения рака мы бы не искали, он ниспослан нам для исправления души. Но как тогда быть с животными? Им Бог посылает болезни — тоже в исправление грехов? Но ведь Церковь утверждает, что у животных душа смертна, значит, не требует покаяния. Или они тоже будут жить в том прекрасном загадочном мире? Сколько погубили мы за тысячелетия в своих бесконечных человеческих войнах ни в чем не повинных лошадиных душ?! Тогда в раю должны пастись на зеленом вечном лугу несметные табуны погубленных нами коней, а человеку там вообще нет места, а если есть, то так, где-то стыдливо в сторонке.

Жизнь без тебя...

Как жить дальше? И сколько мне отмерено? Стоит ли дальше городить земной огород? Может, уже тоже пора собираться в дорогу? И если у меня еще есть время, какова цель, смысл моей оставшейся жизни?

В свое время, бывая в Болгарии, я не раз порывался поехать к известной прорицательнице Ванге, в том числе, может, чтобы узнать свое будущее. Мои болгарские друзья обещали устроить эту встречу. Другое дело: приняла ли бы она меня? Но в последний момент я отказывался от этой поездки. Что-то меня останавливало. Или кто-то меня останавливал. Соблазнительно и в то же время страшно знать свое будущее. С одной стороны, зная свой последний день, можно все спланировать, определить очередность дел, распорядиться своим скромным имуществом. С другой стороны: а вдруг это уже завтра или послезавтра, пусть уж лучше будет неожиданно...

Почему и кем Ванге дан был такой дар?

Почему Вангу не признала Церковь, хотя она считала себя православной? И после ее смерти долго не освящали построенный ею православный храм? Потому что своей мыслью вторгалась в запретное? Но она не просила этого дара, он пришел к ней свыше после несчастного случая. Или, видя будущее, она не имела права сообщать о нем? Получается, что ее предсказание, предвидение будущего — свидетельство того, что наша жизнь — не цепь случайностей, что мы не сами ее планируем, она кем-то запланирована, словно в нас заложен какой-то, вроде часового, механизм с жизненной программой, и мы не в силах в ней что-то изменить. Но ведь тогда получается, что и все наши грехи запланированы! Как же тогда быть с покаянием и с воспитанием души? Почему же некоторые, вроде Ванги, получают — от кого? — дар видеть будущее? Вангу в детстве поднял смерч и ударил о землю, в результате чего она ослепла, но обрела другое зрение, вну-



треннее. Другой попал в автомобильную катастрофу. Третий был сбит в самолете над Афганистаном...

Почему же Господь не дает нам, обыкновенным смертным, знать будущее?

Преподобный Иоанн Лествичник объясняет это так: «Некоторые испытывают и недоумевают, почему Бог не даровал нам преддверие смерти, если воспоминание о ней столько благотворно для нас? Эти люди не знают, что Бог чудным образом устраивает через это наше спасение. Ибо никто, задолго предузнавши время своей смерти, не спешил бы принять крещение или вступить в монашество, но каждый проводил бы всю свою жизнь в беззакониях, и на самом уже исходе из мира сего приходил бы ко крещению или к покаянию, но от долговременного навыка грех делался бы в человеке второю природою, и он оставался бы совершенно без исправления...»

Как и чем жить дальше?

Читаю у митрополита Антония Сурожского:

«Христиане в древности воспринимали смерть как решающий момент, когда закончится время деяния на Земле, и, значит, надо торопиться, надо спешить совершить на Земле все, что в наших силах. А целью жизни, особенно в понимании духовных наставников, было стать той подлинной личностью, какой мы были задуманы Богом, в меру приблизиться к этому, что апостол Павел называет полнотой роста Христова, стать — возможно совершеннее — неискаженным образом Его».

Кстати, Ванга тоже умерла от рака...

Читаю очередную книжку о жизни по ту сторону смерти:

«Мы всего лишь странники и пришельцы на этой земле — странники, идущие к Царствию Божию. Как странники, мы имеем за своими плечами котомки, и оттого, что мы запасем в них к концу нашего странствия, и будет зависеть наше спасение, либо наше отчуждение от жизни вечной. Если в конце нашего жизненного пути окажутся лишь прелести мира, чрезмерная привязанность ко всему тленному — тогда наступит погибель наша. Но если мы отрешимся от самих себя и приучим сердце к небесным благам, складывая в котомку души добродетели, — придет наше спасение».

Только я уверовал в наше будущее воскресение на Земле, как меня снова убеждают, что мы только временные на ней, отбывающие на ней свой срок наказания. Не от лукавого ли все это? Не лукавый ли таким образом, таким сладким языком, поддельваясь под Всевышнего, стремится нас поскорее увести с Земли? Что значит: чрезмерная привязанность ко всему тленному? Это значит: чрезмерная привязанность ко всему земному, к родным, близким?! Не может моя душа принять это.

Я мысли не могу допустить: как это — жить, заранее приучая себя к мысли, что все вокруг, что тебе с рождения дорого, эти рассветы и закаты, эта горящая золотом осенняя березовая роща — для тебя чужое. А если не чужое, то постепенно нужно отчуждать себя от всего этого, иначе тебе нет пути в мир иной. Это в собственном доме, на своей земле чувствовать себя иностранцем, случайным гостем?!

Снова сверлит мысль: тогда в чем смысл мировой истории? Зачем строить Святую Русь? Переживать о судьбах русского народа?

Смысл мировой истории единственно может быть в том, что мы должны осознать, в конце концов, что благоустраиваем Землю для самих себя, когда снова воскреснем.

И все-таки почти каждый человек уходит с мыслью: может, все это — насчет «того света» — обман: умру, а там пустота, ничего нет?

Сюжет: «Всю жизнь жил праведно, готовился к той, истинной жизни, какие только соблазны не отводил от себя, ни разу не согрешил — а там ничего не оказалось, черная пустота. Обманули святоши, а ничего уже не вернешь...»



Жизнь без тебя...

Зачем я снова и снова прокручиваю в памяти нашу с тобой жизнь, с каждым разом все больнее и острее чувствуя вину перед тобой, даже в тех случаях, в каких раньше считал себя невиновным? Тем самым терзая душу свою так, что порой кажется, что она не совершенствуется, а истончается, и однажды, истонченная до предела, порвется. Или все-таки в этих душевных муках она как бы шлифуется? Чтобы однажды, может, когда я до конца, без всяких оговорок, осознаю свою вину перед тобой, перед Богом, вопреки мне, вопреки разуму моему, она, может, неожиданно, а может, столь же мучительно, как у тебя, попросится из тела? Чтобы там, если нам суждено встретиться, встать перед тобой на колени, а ты, все простив мне или забыв по воле Божией, погладишь меня, как прежде, как ребенка, по голове?

Жизнь без тебя...

Очередной твой день рождения. Несмотря на осень, буйно цветут стоящие на столе перед твоими фотографиями фиалки. Остальные цветы так себе, безрадостные, еле живые.

Мысли вслух...

Опять у кого-то читаю: «Мы, христиане, не от мира сего». А я хочу быть от мира сего. Не хочу я райских кушей, я хотел бы видеть снова и снова — и так без конца — осенние березы в искрах первого морозца, печь в костре картошку, смотреть и вслушиваться в веселую горную речку...

Мысли вслух...

Мы с раннего детства, как только начинаем осознавать себя, живем будущим. Сначала торопимся стать взрослыми. И радуемся, когда нам говорят: «Какой большой стал!» И даже уже у взрослых: все лучшее у нас всегда впереди, мы никогда не довольствуемся настоящим и даже в лучшие свои времена живем завтрашним днем. И так чуть ли не до самого последнего дня.

Может, это не что иное, как тоска по тому другому, высшему миру, интуитивное и даже генетическое стремление приблизить его? Знаем, что жизнь коротка, а в то же время сами ее гоним и гоним, живя завтрашним днем — и все время в каком-то томлении души...

Вспомнил свою первую школьную любовь. Наверное, ангельская любовь — подобна первой детской невинной любви, когда нет еще телесного желания. А одно лишь желание видеть, быть рядом, быть полезным...

Мысли вслух...

Спрашиваешь ребенка:

— О чем ты мечтаешь?

— Поскорее стать взрослым.

Спрашиваешь взрослого:

— Ради чего живешь? В чем смысл жизни?

— Ради детей. В детях.

— А зачем дети?

Некоторые теряются, отвечают не сразу, другие отвечают, не задумываясь, но все, за редким исключением, отвечают в итоге одинаково:

— Продолжить род.



— А зачем продолжать род?

Недоуменно пожимают плечами: одни — не зная, что ответить, другие — считая вопрос нелепым.

И так — из поколения в поколение. Никто не живет для себя, исключая всяких там художников, писателей, по большому счету — людей ненормальных, больных тщеславием. Большинство живет для детей, для продолжения рода. Получается, что другого предназначения у человека на Земле нет. В этом есть какой-то высший смысл, которого мы не знаем. Вроде бы: зачем тянуть из века в век свой род, когда мы временные на Земле? Значит, мы не временные где-то там, куда уходят наши души?

Если бессмертна наша душа, зачем Господу столько новых душ? Для заселения пустой Вселенной? Для борьбы с дьяволом? Но дьявол отбирает у Господа все новые и новые души. Получается, что плодится как раз воинство дьявола?..

Читаю и пытаюсь понять

«Бог создал Адама и Еву и поселил их в раю сладости, чтобы они радовались его красотам и питались его плодами. *В испытании их послушания только от одного дерева запретил им вкушать — от дерева познания, на котором начертал смертный приговор.* Все прочие деревья, сказал он им, в вашей власти, берегитесь только, не вкушайте от этого, ибо Я решил, что, как только вы протянете к нему руку, тотчас умрете: «От дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2. 17)».

Зачем же Он тогда создал мужчину и женщину, если знал или предполагал, что они могут согрешить? Или: зачем Он тогда создал человека несовершенным, заложил в него сладкий яд самоуничтожения и посадил перед ним для испытания древо познания, зная или подозревая, что человек, сорвав с него плод, непременно додумается и до атомной бомбы? Может, не все было во власти Всевышнего? И тем более теперь — не в Его власти?

Ева первая протянула руку, взяла плод, съела сама и подала Адаму. Она поверила не Богу, а змию, который сказал: не умрете. Но почему тогда самым первым и самым верным христианином была женщина, Магдалина? И ныне, войди в любой в храм, увидишь, что там больше женщин?

Мало того что за первородный грех человек был наказан. Но ведь и природа, в которую был брошен человек, тоже была наказана: она стала тленной. «С преступлением человека изменилась и природа, — пишет Феодосий Антиохийский, — и хищники появились только после падения Адама. Природа стала враждебной по отношению к человеку». Что, хищные динозавры и прочие появились на Земле позже или одновременно с человеком, как следствие грехопадения его?

Но если бы не было греха Адама и Евы, как бы появился человеческий род? Они так и жили бы вдвоем в раю, бессмертными? Преп. Максим Исповедник пишет о духовном размножении человеческого рода. Но тогда снова встает вопрос: зачем Господь придумал разделение полов, зачем он создал женщину?

У подвижников церкви из книги в книгу переходит основополагающая мысль, что смерть — последствие грехопадения человека. Бог создал людей бессмертными, но в результате уклонения от заповедей Божиих люди стали смертными и тленными, как и вся Природа.

И вдруг у преподобного Исаака Сирина натыкаюсь на утверждение, что установление смерти и изгнание из рая были только совершены под знаком проклятия, а на самом деле в проклятии этом было скрыто благословение Божие: «Как Он установил для Адама смерть под видом приговора за грех и как посредством наказания Он выявил наличие греха, хотя само наказание не было Его целью, точно так же Он показал, будто смерть была установлена для Адама как возмездие за его ошибку. Но Он скрыл Свою истинную тайну, и под образом чего-то устрашающего



Он спрятал Свое предвечное намерение относительно смерти и Свой мудрый план относительно нее: хотя смерть может быть поначалу устрашающей, позорной и трудной, тем не менее в действительности это — средство перенесения нас в тот восхитительный и преславный мир... Когда Он изгнал Адама и Еву из рая, Он изгнал их под личиной гнева... Но во всем этом уже присутствовало домостроительство, совершенствующее и ведущее все к тому, что изначально являлось намерением Создателя. Не непослушание ввело смерть в дом Адама, и не нарушение заповеди извергло Адама и Еву из рая, ибо ясно, что *Бог не сотворил их для пребывания в раю — лишь малой части земли; но всю землю должны были они покорить...*»

Вот: не в этом ли смысл мировой истории и нашего пребывания на Земле — сделать ее частью рая? Или самим раем?

Но нынешний митрополит Волоколамский Илларион так комментирует преподобного Исаака Сирина: «Даже если бы первые люди не нарушили заповедь, то все равно не были бы оставлены в раю навсегда. Таким образом, смерть была благословением, поскольку изначально содержала в себе потенциал будущего воскресения, и изгнание из рая было во благо человеку, поскольку вместо “куска земли” он получал во владение всю землю, утверждает преподобный. Согласно Исааку Сирину, смерть явилась следствием божественной “хитрости”: под маской наказания за грех Бог скрыл Свое истинное намерение, заключавшееся в спасении человечества. Необходимо видеть, утверждает он, что действия Божии в истории человека лишь внешне могут выглядеть как наказание и кара, в действительности же цель Бога — достичь нашего блага любыми средствами. Зная заранее нашу склонность ко всем видам лукавства, Бог премудро и хитро уготовляет то, что кажется нам пагубным, на самом же деле оно является средством нашего исправления и спасения. Лишь пройдя через то, что представляется нам наказанием от Бога, мы осознаем, что оно служило нашему благу. У Бога нет возмездия, Он всегда заботится о пользе, происходящей от всех Его действий по отношению к людям».

Читаю и пытаюсь понять

«Верующие в Христа попадают в рай».

А куда попадают неверующие, не крещенные, не знающие Христа не по их вине?

Вот тебе и готовый ответ: «Не проходят воздушных мытарств души неверующих в Христа (не крещенных), а сводятся бесами прямо в ад, что подтверждает Сам Христос: *не верующий уже осужден есть*».

Не может такого быть! Не может Он быть таким жестоким! Верно ли тут трактуют Спасителя? Этот ли смысл Он вносил в свои слова?

«Невозможно церковное поименование не православных». А что, они виноваты, что не православные, если, например, родились где-нибудь в срединной Африке, например, папуасы и слышать не слышали об Иисусе Христе? «Умирающие вне веры похожи на самоубийц».

А куда попадают мусульмане, которые веруют в Иисуса Христа только как в одного из пророков Всевышнего? Или у них свой рай и свой ад?

Жизнь без тебя...

Ну что, добился я своего: можно сказать, осуществил свою мечту: стал писателем — и оказался у разбитого корыта. Я без всякого сожаления променял бы все свои книги на счастливую семейную жизнь с детьми и внуками, с садом, огородиком и сиренью перед окнами. Помимо всего прочего, мои книги мало кому нужны, более того, они многих даже раздражают: уже несколько человек, кто с легким упреком, а кто даже с досадой бросили мне в лицо, что не жалею я своего читателя, рву нервы: «Хочется чего-то легкого, со счастливым концом, а вы рвете душу...»



Жизнь без тебя...

Два восприятия мира: до — и после твоей смерти. До того, как перечитал купленные в церковной лавке книжки о потустороннем мире: что нас ждет там, за рубежом жизни, и — после. Подобные, до сих пор не знаю, умные или хитрые, книжки попадались мне и раньше, но раньше я их и читал — как научно-фантастическую литературу, они как бы не относились лично ко мне. Разумеется, я и раньше задумывался над тем, что там, за пределом жизни, но я решал эту проблему просто: поскорее отмахивался от этих мыслей, все равно ничего не изменишь, все это в далеком-далеком будущем, придет время, тогда и думать будем. Иначе говоря, за рубежом жизни была для меня неясная, пусть и тревожная, но пока еще далекая от меня пустота. А тут вдруг приходишь к мысли, что это может случиться уже завтра или даже сегодня.

Эти умные или хитрые книжки вроде бы давали надежду на продолжение жизни после смерти или даже на вечную жизнь, они исключали зияющую пустоту, но этот факт меня почему-то не радовал. И я знал, почему он меня не радовал и даже пугал. Почему за порогом смерти меня, может, больше устраивала пустота: пустота — она и есть пустота, в пустоте ни за что не надо будет отвечать. А отвечать я не готов, более того, преступно не готов. Оторванный, пусть во многом не по своей вине, от простых, но основополагающих истин, а я до сих пор сомневаюсь, что они — конечные истины, чаще всего не задумываясь, не считая грехом, в этой жизни я натворил столько такого, за что там придется отвечать, что я, может, предпочел бы пустоту.

Да, как ни парадоксально, легче было жить, когда впереди у тебя пустота. А знание или предположение, что за гранью жизни — другая жизнь, только в иной ипостаси, обострило внутреннее ощущение, что мы, не я конкретно, а мы, люди, — временные на Земле, что мы больше никогда на нее не вернемся, даже после Страшного суда и всеобщего воскресения. Какое-то время после твоей смерти, особенно после прочтения этих книг я вообще на все, в том числе и на себя, смотрел как бы со стороны, как на временное. На так называемые памятники старины, которые мы зачем-то пытаемся сохранить, на бегущие мимо машины, на сидящих в них людей, на ежедневные человеческие проблемы, на политические страсти, даже на всемирную историю. Не знаю, догадывались ли о моем состоянии окружающие, но с этим чувством жутковато было жить. Все вокруг казалось не имеющим смысла. Тысячи, десятки тысяч людей одновременно погибли от ураганов, землетрясений, цунами. На что бы я ни смотрел, все было временным. Временной была и Земля, и даже сама наша Вселенная. Еще из школьного учебника астрономии я знал об этом, не помню, потрясло ли меня это в детстве, но только сейчас я осознал всю суть вселенского временного бытия. Но тогда куда уносится после нашей смерти, как утверждают, бессмертная наша душа?

В своих мыслях я снова и снова как бы повисал в пустоте, как, очевидно, повисали тысячи, миллионы людей до меня. Только в так называемой святоотеческой литературе все просто и ясно: веруй, и все! Веруй, и все остальное не твоего ума дело! Мое сознание, моя душа оказались не готовыми к восприятию толкований Евангелия. Не своеобразная ли это разновидность так называемой фантастической литературы? Читая подобное, я чувствовал бестелесность не только своего тела, но и мысли. Видимо, не случайно, что именно из среды семинаристов выходило столько крайних атеистов, нигилистов и революционеров всякого рода...

Мне говорят: зачем ты читаешь все это? Читай Евангелие, там все ясно и просто изложено, всякие попытки толкования искажают истину.

С последним утверждением я полностью согласен, но далеко не все ясно мне, может, из-за скудости ума, может, из-за очерствелости души, в Евангелии. Да и действительно ли оно — Евангелие Спасителя, не искажено ли по недомыслию или хитрому умыслу его апостолами?



Повторяю, я не знаю, замечали ли мое состояние окружающие. Даже не отчаяние, как прежде, а равнодушие скручивало меня.

Только позже во мне что-то стало уставаться, успокаиваться: да, все временное, но, видимо, в этом есть какой-то высший смысл, и в этом высшем смысле нужно искать свой смысл, даже если пока он для тебя совершенно не ясен. Но полностью от этого тяжелого чувства я так и не смог освободиться.

И еще я теперь жил с ощущением: если раньше я мог что-то скрыть от тебя, какой-то свой малый грешок, то теперь ты оттуда все видишь. Может, хотя бы потому нужна вера в потусторонний мир, независимо от того, есть он или его нет? Это удерживает человека от многих дурных поступков.

И еще я пришел к мысли, что, наверно, все оставшееся время нужно посвятить тому, чтобы хоть сколько-нибудь подготовиться к ответу за свою жизнь. И не только потому, что я боюсь гореть в аду в вечном огне. Я все-таки думаю, что вечный огонь ада — понятие иносказательное, потому что после твоей смерти я уже беспрестанно горю в нем, исключая, наверно, только часы сна, чувство непоправимой вины перед тобой, впрочем, перед самим собой тоже, меня постоянно гложет. Никто вроде бы, кроме меня и тебя, не знает моей вины, это тайна двоих, и тебя больше нет, и можно было бы делать вид, что никакой вины вообще не было. Но мне от этого нисколько не легче, люди не понимают, почему я прячусь от них, многие считают меня гордецом, а мне с моими смертными грехами тяжело с людьми. Я уже писал, что недавно меня посетила мысль: а может, мы уже живем в аду? Может, Земля — не детский сад для человечества и не исправительная колония даже, а тот самый ад, куда отправляют падшие души в человеческой личине и тленном теле? Может, потому так мучается душа?

Совість.

Что такое совесть, если мы умираем, если мы временные? Куда она уходит с нашей смертью? Она умирает вместе с нами? Или улетает вместе с душой? Или она одна из составляющих души? Как, когда зарождается в человеке?

Сократу принадлежит мысль, что нельзя объяснить существование у людей нравственных деяний и норм, если упускается из виду верховный нравственный законодатель. Английский ученый Тейлор заметил, что не было открыто до настоящего времени ни одного даже самого дикого народа, который был бы чужд тех или иных понятий о добром и злом, об обязательности первого и непозволительности другого.

Может быть, совесть зарождается и существует в нас независимо от нас? Она как бы стоит выше человека и господствует над его разумом, волей и сердцем, хотя и заключена и живет в нем. Но в то же время такое ощущение, что она не плод самого человека. Иначе говоря, может, совесть — это голос Божий в сердце человека?

Св. Григорий Богослов говорил, что человек совмещает в себе две природы — духовную и материальную, которые, при существенном отличии и совершенной противоположности друг другу, соединены в нем таинственным и неизъяснимым образом. Может быть, они соединены совестью?

Но совесть, как бы меня ни убеждали в обратном, противится смерти, потому как требует беспредельного нравственного совершенствования человека. Но оно недостижимо в этом мире. Может быть, как раз это доказывает, что смерть не могла входить в творческие планы Бога при создании человека?

Читаю: «По воле Всемогущего и Премудрого Бога вся телесная организация человека, если бы он остался святым, могла бы все более и более утончаться, просветляться и усовершенствоваться и, наконец, дойти до такого духовного тела, которое явилось у Иисуса Христа при его воскресении, тела, которое не нуждалось ни в пище, ни в питье, и не было в тесной зависимости от пространства и времени. Подобные примеры еще можно видеть в вознесении Еноха и Илии».



Жизнь без тебя...

Почему-то часто вспоминаю врача в раковом центре, ведущего соседние палаты, который никогда, даже кивком головы, не отвечал на мое приветствие — проходил мимо, глядя в сторону или в пол, словно меня не видел и не слышал. Я до сих пор мучаюсь в догадках: то ли он был настолько погруженным в себя, то ли, зная о твоей безнадежности, чувствовал неловкость передо мной...

Почти каждый раз, когда я изредка заезжал в церковь на вечернюю службу, встречал его там, стоявшим позади всех или где-нибудь в углу, а посреди службы торопливо уходившего. Иногда мы оказывались с ним рядом, или даже сталкивались в тесноте, понятно, что я в церкви не лез к нему с приветствием, но на следующий день, встретившись со мной в коридоре ракового центра, он по-прежнему меня не замечал...

Жизнь без тебя...

Можно месяцами, годами, всю жизнь мучить себя мыслями о цели и смысле человеческой жизни, а вот шел высоко в горах, ругая себя, что поддался соблазну, уговору друзей взойти на прекрасную и загадочную вершину Иремель, где раньше всегда было томительно хорошо моей душе, поехал и с ужасом обнаружил, что далеко еще до вершины стал задыхаться, надорванное твоим уходом сердце все больше сжимала неизвестная сила, зачем-то еще слишком тепло оделся, и, взмокший, уставший до предела, отстав от всех, ни о чем не думая, лег в снег, на спину, уставившись в низко пролетающие облака, иногда поворачивая голову на юг, где далеко внизу лежали леса, города и села, здесь же были лишь снег да камни, да близкое небо, и неожиданно пришла мысль, простая и ясная: «Может, смысл и цель человеческой жизни в том, что на Земле в тленном человеческом организме формируется в испытаниях, в соблазнах, муках, в потерях близких, вечная душа человеческая, которая сейчас вот-вот вырвется из моего тела, нужная Богу для каких-то высших целей, с каждой новой душой он увеличивает свое воинство, может, для преодоления смерти вообще, может быть, для борьбы с дьяволом, может быть, для спасения всей Вселенной, которая тоже временна, потому что и в нее вошло зло, и она вся кипит, взрывается, в отдельных своих частях рождается и умирает в мучительных противоречиях... Потому, вкладывая в человека при его рождении зародыш вечной души, которая является Его частицей, Бог сперва дал человеку разум, потом Истины, учитывая его младенчество, высказав их иносказательно, через Пророков, через Евангелие. Только это иносказание вышло и Богу, и человеку боком, каждый толкует это иносказание по-своему, а тут еще, видимо, дьявол путает, подсовывает так похожую на истину подделку... Через Пророков Бог лишь приоткрыл основы мироздания, чтобы человек уверовал в вечность своей души и знал, как надо жить на Земле. Но Бог почему-то не всесилен, а на нашем пути столько соблазнов... Нет, Земля — не концлагерь, не исправительная колония, не ад, а своего рода ясли, детский сад, может быть, начальная школа для человеков. И раз так прекрасна Земля, и совсем не случайно Господь создал ее такой прекрасной, рано или поздно мы должны на нее вернуться...»

Мои друзья уже спускались с вершины:

— Вставай!.. Уходим вниз...

— Вы идите, я догоню.

Мне было легко и покойно лежать в студеном снегу, не ощущая его холода, опрокинувшись глазами в бездонное небо, я сейчас был готов без всякого сожаления умереть, и не важно, кому достанутся моя квартира, машина, только вот жалко было оставлять загородный дом, потому как был он в прекрасном лесу среди берез и сосен, и все там, пусть коряво, но было сделано моими руками. И еще жалко было оставленных там собак. А так моя душа, кажется, была уже готова перенестись в мир иной.



Смогу ли я сохранить это светлое спокойное чувство, спустившись вниз, в земную суету?..

Жизнь еще при тебе...

Это было лет десять назад. Совсем забыл об этом случае, а сейчас вдруг вспомнил...

Соседка по автобусу, незнакомая женщина лет сорока пяти, она — у окна, я — с краю. Оказалось, что мы выходим на одной остановке: в дверях я пропускаю ее вперед, выхожу следом.

Вдруг она поворачивается ко мне, называет по имени-отчеству:

— Простите, мы не знакомы, но я вас узнала по фотографиям... Можно я отберу у вас несколько минут?..

Я пожал плечами.

— Еще раз простите, но я должна вам это сказать. У вас застарелый бронхит. Вы считаете, что вылечили его, а он притаился, перешел в хроническую форму. Не нужно его запускать...

— А почему вы решили, что у меня бронхит? — стараясь сдержать раздражение, спросил я. У меня действительно был хронический бронхит, время от времени дающий знать о себе, отголоски перенесенного в детстве плеврита, но, во-первых, какое кому дело до этого, а во-вторых... а во-вторых, я, кажется, в автобусе ни разу не кашлянул.

— Прошу, не принимайте меня за сумасшедшую. Еще раз простите, что, будучи совершенно незнакомой, лезу вам в душу, но в некотором смысле я ясновидящая и даже целительница. А потом: вы в автобусе несколько раз кашлянули, вы так привыкли к этому вроде бы безобидному кашлю, что не замечаете его. Не надо его запускать, хотя он у вас уже основательно запущенный. Я могу предложить вам несколько народных рецептов...

— Спасибо, не надо! — попытался я уйти от «ясновидящей». Огромная армия проходимцев кормится на человеческой беде, а в смутные времена тем более: чуть ли не десятая часть населения страны ходит в народных целителях и ясновидящих. Как Остап Бендер не додумался до такого надежного способа добровольного отбирания у граждан денег, может, совесть не позволила? — А будущее вы не предсказываете? — усмехнулся я, надеясь на этом закончить разговор.

— Могу, но не предсказываю, — не обиделась женщина. — Человек не должен знать своего будущего, по крайней мере, до поры до времени. Пока ему посредством чего-то, может, болезни, иногда неизлечимой, не скажет Бог, чтобы человек, наконец, задумался о своем будущем, — не приняла она моей усмешки. — А вот насчет вашего прошлого я кое-что могу сказать.

— Но свое прошлое я и сам хорошо знаю, — снова усмехнулся я.

— А я вам напомню. Во-первых, чтобы вы мне поверили, а во-вторых, от прошлого во многом зависит будущее. А потом я могу вам сказать о прошлом, которое вы никак не можете знать, например, кем вы были в прошлых жизнях. Или хотя бы в последней прошлой жизни... Да-да, — не дала она мне рот открыть, — я знаю, вы не верите в переселение душ, но тем не менее. Может, просто любопытно будет узнать... Тем более, кто знает, как это бывает на самом деле. И противоречит ли это православию... Что же касается будущего, у вас после тяжелой травмы или ранения головы сужены сосуды мозга левого полушария, и в связи с этим у вас уже в скором времени могут быть серьезные проблемы, если их уже нет.

Я не знал, что ответить. Скорее всего, «девушка», действительно, с приветом, но откуда она знает о моих проблемах с головой, что порой меня мучают сильные головные боли?



— Нет, я вполне нормальная, — словно прочитав мои мысли, улыбнулась незнакомка. — Меня зовут Наталья Петровна. Я учитель русского языка и литературы в школе. Но с некоторых пор, после автомобильной катастрофы и клинической смерти, я обнаружила в себе дар ясновидения и целительства. Старалась не заниматься этим, но какой-то внутренний голос, а скорее, голос извне, заставляет меня это делать, и с некоторых пор, нет, я не лечу, все-таки на это я не решаюсь, не говоря уже о том, что это отбирает много сил, а диагностирую, потому как тот голос меня требовательно спрашивает: «Как ты можешь смириться с тем, что видишь, а человек не знает, что давно болен, и если вовремя не начать лечить, то может быть поздно? Тебе совсем не случайно дан этот дар. Как не случайно на время вернули с той стороны смерти. Нет, не с того света, как у вас в таких случаях принято говорить, а всего лишь с той стороны смерти. С того света не возвращаются. А с той стороны смерти, с пограничья, бесцельно не возвращаются. А внутренний голос тебе подскажет, кому нужно открывать будущее, а кому нет». Потому я иногда диагностирую. В каком-то смысле я и ясновидящая, иногда, вопреки моему желанию, вижу будущее человека. Не знаю, кто, но кто-то отвечает на мои вопросы, стоит мне к нему мысленно обратиться. Таким четким, беззвучным голосом. И что поразительно, я редко, очень редко ошибаюсь.

— И кому, по-вашему, принадлежит этот голос?

— Не знаю. Может, ангелу-хранителю. Или еще кому. Иногда боюсь, что демону, подстроившемуся под ангела. Но словно кто-то постоянно рядом со мной, точнее, где-то вверху, над моей головой. Потому как голос я слышу как бы сверху. Я мысленно задаю ему вопросы, он отвечает. Иногда мне хочется уйти от всего этого, тогда он сам как бы заставляет задавать ему вопросы и тут же отвечает на них. Иногда мои вопросы строго останавливает: «Этого тебе не нужно знать!» Или: «Этому человеку этого не нужно знать! Все свое время». И вот сейчас: сижу в автобусе, узнала вас, и, еще раз простите, обратилась к нему, что он может сказать о вас. Была какая-то пауза, а потом он ответил: «Я знаю этого человека...», — и начал словно диктовать, как бы читал по какой бумаге...

Видя, что я демонстративно смотрю на часы, ища повод деликатно откланяться, она спросила:

— Хотите, я расскажу о других ваших болезнях, которые вы перенесли, начиная с детства?

Я помедлил, не зная, что ответить, все это было не очень приятно, но в то же время был соблазн любопытства, «ясновидящая», воспользовавшись моим замешательством, начала перечислять, словно читала мою медицинскую карту, но и не только ее...

Мне с трудом удалось скрыть, что я был поражен. Есть болезни, которыми по жизни, начиная с детства, болеют почти все. Допускаю даже, что она знакома с кем-нибудь из моих знакомых, или даже с участковым врачом из поликлиники, но откуда она могла знать о тех моих болезнях, о которых не знает никто?

— Признаюсь, когда шла за вами в автобусе на выход, я провела рукой вдоль вашей спины от затылка до поясницы, и мне было этого достаточно. Хотите узнать, что сказал о вас мой ангел-хранитель?

Я пожал плечами.

— Наталья, я знаю этого человека. Он живет уже восемь жизней. В предыдущей жизни он был князем, жил в России. Имел жену и троих детей. Была любовница, в которой он души не чаял и очень страдал из-за любви к ней. В настоящей жизни этот человек призван быть тем, кого у вас называют писателем. Это его земной тяжелый крест. Потому его душа не знает утешения. Печаль в нем живет постоянно. Господь покровительствует ему. Но он страдает. Дай, Господи, ему радости!

— А еще что он сказал обо мне? — неожиданно для себя спросил я. — О моем будущем?



— Он меня строго остановил на этом вопросе: не каждому человеку нужно знать, что с ним будет. А точнее: никому, кроме исключительных случаев, этого не нужно знать. Человеку опасно знать, что с ним будет. Но кое-что я увидела сама, я же сказала, что сама в некотором роде ясновидящая.

— И что вы увидели? — я уже не мог остановиться.

— Этого я не имею права говорить... — На какое-то время она отвела взгляд. — А это вам нужно знать, что с вами будет? Как вы будете с этим знанием жить?.. А бронхит свой лечите. Не запускайте, этот очень опасно. Кстати, он в более опасной форме у кого-то из ваших близких. Это, может, самое главное, что сейчас вы должны знать.

— Но если все в нашей жизни заранее predetermined, если судьба прописана с первого до последнего дня, значит, в нашей жизни уже ничего нельзя изменить?

— Не все. Кое-что в наших силах. В зависимости от нашего поведения происходит, а точнее, проводится коррекция нашей жизни. Хотите, я оставлю свой телефон?

— Нет, спасибо, — решительно отказался я.

Потом я, может быть, жалел об этом... Наверное, не трудно было бы найти ее по телефонному справочнику, не так уж много в городе школ, а в них учителей русского языка и литературы по имени Наталья Петровна, но что-то меня каждый раз, как в случае с Вангой, останавливало...

Жизнь без тебя...

Лежу в больнице на обследовании: на третий год после твоего ухода серьезно стало сдавать сердце. И раньше, когда мы с тобой три года жили в ожидании твоей смерти, пытаюсь как-то противостоять ей, когда я жил еще с тобой, но в то же время с ощущением, что уже без тебя, я, мягко говоря, чувствовал его, а теперь вот прижало серьезно. Я постоянно слышу, что я должен смириться с твоей смертью, что я должен как можно скорее жениться, пока еще стою на ногах, что нужен элементарный режим, наконец, просто успокоиться...

Я попытался жениться. Нет, не отказавшись от тебя. Наоборот, я хотел, я готов был, как бы в искупление вины перед тобой, отдать встретившейся мне женщине и ее малолетнему сыну, который привязался ко мне, как к отцу, море неистраченной теплоты и нежности. Все вроде бы было хорошо, пока она жила у меня наездами. Но через неделю, как совсем переселилась ко мне, однажды утром, и не просто утром, а на Рождество Христово, она, заломив руки, встала передо мной на колени:

— Нет, не могу. Здесь по-прежнему живет ваша покойная жена. Она не ушла отсюда. Она везде. И не просто везде, а постоянно напоминает о себе. Она не отпускает вас... Или вы не отпускаете ее... Она против меня...

И, собрав свой скудный скарб и заказав такси, она уехала...

Я лежу в кардиоцентре, который во многих случаях — тоже почтовая станция в мир иной, по статистике, люди умирают от болезни сердца даже чаще, чем от рака. Но, в отличие от рака, в большинстве случаев — неожиданно для больного, и потому не так страшна такая смерть.

У меня появилось много свободного времени, потому много читаю.

«Мысль о земной кончине страшит лишь тех, кто не верует в Бога, или тех, чья вера слаба, хотя они думают, что она сильна — так тоже бывает. Мы можем совершать бесконечные паломнические поездки, рыдать у святых мощей угодников Божиих, молиться всю ночь напролет (а потом целый день спать), совершать, как нам кажется, подвиги во имя Христа, даже посещать все богослужения, что само по себе хорошо, но... Но леденящий жутковатый холодок внутри по мысли о смерти безошибочно покажет нам, как слаба наша вера в Милосердного Бога... Без веры думать о смерти страшно. И все-таки думайте о смерти! Потому что рано или поздно эти мысли приведут вас к вере! Человек начинает жить подлинной жизнью,



лишь осознанно принимая неотвратимость земной кончины и необходимость подготовки к ней...»

Верую ли я? Не знаю. Если не верую, а только обманываю себя, — что заставляет меня время от времени ходить в храм и замирать там в неясном благоговении?

Если я действительно веровал бы, а не прикидывался верующим, обманывая прежде всего самого себя, если бы верил в тот прекрасный мир по ту сторону смерти, наверное, не была бы для меня так ужасна твоя смерть...

«По сотворению мира все Ангелы были связаны союзом святой любви и пребывали в великой святости и чистоте и имели мир между собой и Богом. Но вскоре Ангел, которому была вверена охрана земли, не вынес чести и славы, дарованной ему творцом, и допустил сомнение, высокоумие и гордость. Слово Божие говорит, что Денница (Диавол) в помышлении своем пожелал взойти на небо, выше звезд небесных поставить престол свой, сесть на горе высоко и быть подобным Всевышнему...»

Не в силах до конца понять сказанного, набираюсь наглости размышлять: значит, с самого начала что-то ущербное было в творении Божиим, раз один из ангелов восстал, раз он захотел на Земле создать свой мир и, может быть, создал его?

«... Он возымел желание стать равным Богу. И вслед за этим самообольщением последовало прямое неповиновение Богу. Кроме того, он увлек за собой множество состоящих под его властью Ангелов. И спал сатана вместе с мятежными ангелами с неба, как молния. И падение, и изгнание Дявола, по учению святой церкви, произошло до сотворения человека. И зло уже было в отпадении Ангелов. Человек, как земной ангел, украшенный добродетелью и чистотой, явился венцом творения. Но Дявол смутил любимое деяние Божие...»

Почему ангелы восстали против Господа?

Раз это произошло раньше появления человека, действительно, не создал ли Бог человека себе в помощь в борьбе с Дьяволом, возмечтавшим стать богом для Земли, а тот быстро переманил человека на свою сторону?

Остаться после смерти жить на Земле, это значит — оставить сколько-нибудь благодарную память о себе, если не у всего народа, если не у всей деревни, то хотя бы у своих потомков, то есть жить как бы в двух мирах, которые потом, может быть, соединятся.

Если мы временные на Земле, то почему каждый старается после себя оставить память на Земле, прежде всего в образе детей?

Иначе, почему я так страдаю, что никого после себя не оставляю?

По мнению ученых, мозг наш задействован всего лишь процентов на 10. Остальные 90 процентов как бы спят.

Почему же мы умираем, не использовав даже малой доли возможностей мозга?

Может, мозг человека специально заблокирован, чтобы мы чего-то не натворили по своей безнравственности? Может, эта блокировка произошла после грехопадения Адама и Евы? И опять, словно гвоздь в мозгу: но почему Бог не смог предвидеть и предотвратить их грехопадение? И наложил печать греха на все последующее человечество?

Или же наш мозг — часть души, он остается задействованным здесь всего лишь на 10 процентов, чтобы проявиться где-то в другом месте, в другом мире? Где-то же должны проявиться в полной мере возможности нашего мозга!

В другой жизни? Но мы знаем, что мозг смертен, а бессмертна, если это правда, только душа. Но, может, действительно, мозг — часть души? Может, действительно, наш мозг должен заработать в полную силу в результате нравственной эволюции, когда он будет вторичен по отношению к душе, а не наоборот, как сейчас: мы сначала до всего доходим умом? Это совсем не противоречит божественному происхожде-



нию человека, наоборот, подтверждает его. Бог только дал толчок, как бы сделал первоначальную колодку человека, заложив в него душу и полностью подвластный ей ум, а дальше мы должны были нравственно расти сами, и главной должна была быть душа, а ум подчинен ей. Но после того как первый человек сорвал плод с древа познания, Господь, в печальном предчувствии, что может натворить человек, у которого ум переборол душу, заблокировал наш мозг, надеясь, что не навсегда?

Читаю:

«И сказал змей жене: в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела; и дала мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания».

Сколько не пытаюсь понять конечного смысла этих слов, не могу...

Кто-то недобрый вселяет в меня мысль: «Бог наказал Адама и Еву за то, что они полюбили друг друга, а он хотел, чтобы они любили только его».

Читаю:

«Бессмертие человека состоит в том, что душа его по смерти тела продолжает жить отдельно от тела, и человек за гробом продолжает свое существование в другом мире. Правда, в другой форме и в других условиях. Смерть не прерывает существование человека, а только видоизменяет его... Потому для православного верующего человека существует в большей степени память смертная, чем страх смерти. И чем сильнее и крепче вера, тем меньше страх смерти. Но больше память смертная».

Мой ближайший друг с детства — мусульманин. Без всякого сомнения, — я-то уж знаю, — он выше меня по нравственным и духовным качествам, но для него, по утверждению христианских священников, закрыты врата рая. Он же должен считать, что врата его рая закрыты для меня, православного христианина.

У каждого свой рай?

Оба мы веруем, или хотим веровать, в Иисуса Христа, только я, православный, как в Бога, а он — как только в одного из пророков, посланников Бога. У нас нет проблем по этому поводу, я мог бы сказать, что мы просто деликатно обходим стороной эту тему, но это было бы неправдой, потому что нас, кроме детства, кроме всего прочего, объединяет как раз то, что мы веруем в одно божественное существо, пусть и по-разному.

Но почему из-за этого, в общем-то, не принципиального для рядового верующего разногласия христиане и мусульмане воюют между собой много веков, начиная с явления пророка Мухаммада, хотя, по Корану, он пришел на Землю, чтобы как раз продолжить дело Иисуса Христа. Из-за этого в явных и тайных религиозных войнах уничтожены миллионы и миллионы людей. Мало того, сегодня мир стоит на грани действительно мировой христианско-мусульманской войны, за которой, может, и последует конец света, но совсем не тот, за которым мы ждем всеобщего Воскресения, а действительный конец-пустота. Может, по этой причине погибли древние цивилизации, и кто-то специально стер память о них, чтобы каждая следующая начинала с чистого листа? А мы так и остаемся малыми злыми детьми, дерущимися из-за игрушек в песочнице?

Неужели мы с другом детства — друзья только потому, что я не в полной мере христианин, только обманываю себя, что верую в Иисуса Христа, а он — не в полной мере мусульманин? А если были бы в полной, то тут же схватились бы один — за топор, второй — за ятаган?

Я всегда испытываю странное чувство, когда из иллюминатора самолета смотрю вниз, на Землю: почему, получив в дар ее, невообразимо красивую, невообразимо прекрасную, люди разгородили ее на государства, вместо того, чтобы всем вместе, единым человечеством обихаживать ее, — занялись кровавым дележом ее?



И снова и снова прежний вопрос: почему Всевышний разделил людей по религиям, как до того разделил на расы, народы? На языки, ведь первоначально у нас был единый язык. Чтобы мы без конца выясняли между собой отношения и не поднимали головы к небу? Или мы сами разделились, помимо Его воли? Что Его так испугало в созданном Им самим человеке? Или это дело рук дьявола? Почему Господь, — или кто иной? — так упорно отделяет Землю от потустороннего мира, а не стремится сделать Землю частью его? Или это случилось только после грехопадения человека?

Вспоминаю...

Сначала вижу все как бы со стороны...

Несколько придавленных горем людей в черном около гроба в Крестовоздвиженской церкви. Рядом стучат поезда, спешат, везут людей по их земным делам на восток и запад по великой Транссибирской железнодорожной магистрали, люди смотрят в окна, глаза неожиданно упираются в купола церкви, кто-то крестится, и никто из них не подозревает, что в церкви в сии минуты кого-то провожают в мир иной. Знакомый священник, татарин, отец Роман (у меня вдруг мелькает мысль: а если мы провожаем тебя в лучший мир, в истинную жизнь, почему священник в черном и почему вообще люди, уже в этой жизни отрешившиеся от мира, монахи, всегда в черном?) начинает читать Последование по исходе души от тела:

— Благословен Бог наш...

Каждое слово гулко отдается то ли в сводах храма, то ли внутри меня, и я уже как бы не вспоминаю, а как бы снова стою над твоим гробом. Кажется, что и меня вслед за тобой отрывает от земли, я стою на хрупкой грани двух миров и чувствую присутствие над нами или среди нас еще Кого-то. И я не узнаю отца Романа, он внутренне преобразуется, как бы уходит в себя, его лицо становится торжественным и отрешенным, он смотрит словно сквозь меня и словно видит за мной или надо мной что-то или Кого-то.

Он торжественно и отрешенно повторяет:

Благословен Бог наш...

И я словно отрываюсь от Земли. Голос священника доносится до меня как бы издалека:

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас...

Я настолько погружаюсь в себя, что не сразу понимаю, что священник о чем-то спрашивает меня. Он вполголоса повторяет вопрос:

— Здесь закрываем гроб или на кладбище?

И я непроизвольно отвечаю: «Здесь», — тем самым лишив себя последней возможности увидеть тебя. И он обыкновенным молотком с надтреснутой рукояткой забивает в крышку гроба обыкновенные полуржавые, по нищете церковной, гвозди. И эта обыкновенность меня потрясает. Но потом на кладбище, к своему удивлению, у меня не будет желания открыть гроб и еще раз увидеть твое лицо, у меня будет чувство, что тебя уже нет в гробу. Ты осталась там, в церкви, или уже была где-то далеко. А тут тебя уже нет.

Жизнь без тебя...

Сосед по больничной палате, актер театра, с язвой желудка. Увидев на моей тумбочке Евангелие:

— Мне упорно твердят: «Бог познается не разумом, но сердцем. В Бога можно только безоглядно, безрассудно верить, его нельзя познать опытным путем». Но ведь так же безоглядно можно верить и в Сатану, искренне веря, что ты веруешь в Бога.



Всевозможные секты тоже построены на бесконечной вере рядовых ее членов, не объясняемой разумом. Как отличить Истину от Лжи, хитро замаскированной под Истину? Ведь находят же ключи к душам людей умных, образованных, искренних, зомбируют их адепты всевозможных сект-химер.

Чем секта отличается от истины? Количеством людей, верующих в ее постулаты? Но количество не всегда свидетельство Истины. Не потерялась ли Истина где-нибудь между сектами? Может, Иисус Христос нам хотел сказать совсем не то или не совсем то, что ему приписывают? Ведь Его учение мы знаем лишь в пересказе учеников. Может быть, они донесли его до нас, искажив, если не сказать — перевернув? Может, совсем не по злему умыслу, а по неготовности понять всей глупости его мысли....

Может, кто-то за Иисуса Христа придумал его земную и небесную историю, а на самом деле за гранью жизни ничего нет? Или Иисус Христос был просто наивным инопланетянином, прилетевшим из другой галактики миссионером, ужаснувшимся нравственному состоянию землян и попытавшимся каким-то образом подействовать на их нравственность? Может, он оказался в роли европейца-миссионера, пришедшего просвещать пигмеев. Их вожди жестоко обошлись с ним, справедливо решив, что его не совсем или совсем не понятные проповеди ни к чему хорошему не приведут, так как в корне нарушают их образ жизни. И он после казни, чудом оставшись в живых, был забран своими соотечественниками-инопланетянами, а они восприняли это как его воскресение. Ему тяжело было с ними прощаться, он улетал и оставлял их, понимая свою беспомощность. И он оставил им нечто вроде наставления, как жить дальше. Все, что он мог сделать для них — дать надежду, и он придумал красивую сказку об иной прекрасной жизни за пределами смерти, если будешь прилично себя вести в этой жизни. Я даже явственно вижу эту картину. И потрясенные его ученики оформили эту сказку в учение. Может быть, действительно, он был всего лишь инопланетянином-миссионером, или простым пилотом, оказавшимся на Земле в результате катастрофы космического корабля, или разведчиком, ищущим планету для переселения, потому как их планете грозит космическая катастрофа?

Я молчал. Актер приподнялся на локтях, видимо, его насторожило мое молчание.

— Вы не согласны со мной?

— Я внимательно слушаю, — ушел я от прямого ответа.

— Тогда, с вашего позволения, я продолжу свою мысль... Загадочная и притягивающая звезда Сириус. Откуда у дикого африканского племени знание о ней, а тем более — о небольшой звезде в созвездии Сириуса, которая сравнительно недавно по космическим меркам взорвалась, и которую ученые только сейчас обнаружили в мощные телескопы? Может, он оттуда? Или мы оттуда, а взорвалась она по причине нашей падшей нравственности, в результате техногенной катастрофы? Неужели мы, подобно пассажирам корабля Ноя, остатки там погибшей цивилизация? И так и остались неразумными сиротами во Вселенной? Может, нас, набедокуривших на другой планете, потеряв надежду на наше исправление, завезли сюда, на Землю, ради эксперимента, и со стороны наблюдают за нами?.. Во многих местах Земли известны наскальные рисунки, где люди, а может, инопланетяне летят в ракетах, в скафандрах...

Вошла медсестра, пригласила его на укол.

А я вспомнил, что сам видел летающих в космических кораблях и в скафандрах людей, но не на древних наскальных рисунках, а на церковных фресках.

Это было в бывшей Югославии, в Косовской Метохии, во время последней балканской войны — недалеко от города Печ, в сербском монастыре Дечаны, основанном в XIV веке. Ныне сербы уже изгнаны из Косова, и я не знаю, цел ли монастырь и сохранились ли фрески. Фрески в Дечанах изображают события



Старого и Нового Заветов. «Чудо» в Дечанах было открыто в начале 1964 года. Студент Белградской академии живописи с помощью телеобъектива сделал фотоснимки фресок, в том числе и фресок «Распятие» и «Воскресение». То, что раньше не удавалось рассмотреть в подробностях, так как фрески находятся на высоте 15 метров, стало ясно видно. Открылись детали, которые прежде никто не замечал. Оказывается, на этих фресках изображены люди, летящие в космических аппаратах. На одной «космонавт» держится за невидимый «рычаг управления» и оглядывается назад. Создается впечатление, что он следит за полетом следующего. Бывший со мной серб утверждал, что это ангелы. Но сидящие в аппаратах явно были без ангельского ореола. А «настоящие» ангелы, с ореолом, наблюдали за полетом аппаратов, закрыв глаза и уши руками и в ужасе отшатнувшись. В центре композиции — фигура распятого Иисуса Христа. Таким образом, наряду с традиционными каноническими изображениями, фреска содержит ряд деталей, которые трудно объяснить...

Бог, по моему темному разумению, постоянно должен давать человеку какие-то знаки, признаки своей истинности, чтобы человек не метался из стороны в сторону и не соблазнялся подсовываемыми ему ядовитыми пряниками.

Он их дает упорно и настойчиво — тем же огнем от своего гроба в Иерусалиме, но даже это нас никак не убеждает...

Читаю

«Ученые пришли к выводу, что сознание во время клинической смерти “живет” независимо от работы мозга. Мало того, было выявлено, что сознание существует вообще независимо от мозга, и физическая оболочка людей — это не единственное место, где “обитает” наше сознание. Означает ли это, что человеческое сознание не умирает даже после смерти тела, гибели мозга? По выводам ученых, энергия и информация от умершего задерживается во Вселенной. Люди подобны звездам: они постоянно испускают невидимые фотоны света, и эти фотоны устремляются в космос. То, что наша энергия, информация и наше сознание после смерти продолжают жить, так же вероятно, как и то, что свет от далеких, тысячи лет назад угасших звезд продолжает распространяться по Вселенной, звезд давно нет, а мы продолжаем их видеть и считать живыми».

Ученые-атеисты не хотят или даже боятся себе признаться, что в своих выводах они пришли к подтверждению существования души. Они испуганно спрятали ее за понятиями «энергия», «информация»...

Странное ощущение жизни, когда знаешь, что в любую минуту можешь умереть... Что, это и есть «память смертная»?..

Первоначально с этим ощущением жить было жутковато, но постепенно я свыкся, и меня уже почти не беспокоит, кому достанется моя квартира, загородный дом, машина, только вот разные бумаги, письма надо будет на всякий случай сжечь... В свое время я поразился, когда старушка, у которой я квартировал, чувствуя приближение смерти, сожгла все свои фотографии, письма, среди которых были письма Шалапина, который дружил с ее мужем, а до того ухаживал за ней, а теперь я ее прекрасно понимаю...

Чукчи, эвены, эвенки, другие кочующие северные народы, — впрочем, не только северные, — не знают Иисуса Христа. Если они даже крещены православными миссионерами, вера их поверхностна. Но в них глубже, чем в нас, христианах (а может, они даже больше, чем мы, христиане, чувствуют Его на генетическом уровне?), вера в иной мир, который они называют Верхним. Мы приходим к осознанию этого в результате мучительных исканий и даже страданий, чаще всего к концу жизни, а они знают о нем, чувствуют его с того времени, как только начинают



осознавать себя, и потому не только не бояться, а с радостью принимают смерть, не как итог, а как какую-то веху в вечной жизни.

У них нет понятия дома в нашем смысле. Из-за того, что мох-ягель, которым питаются олени, восстанавливается лишь через десятилетия, они вынуждены постоянно кочевать, потому для них все их огромное кочевье, порой многие сотни или даже тысячи квадратных километров — дом, а значит, и вся Земля — дом. И, в отличие от нас, они бережно относятся ко всей Земле и не разделяют тот и этот мир, они знают, что их душа рано или поздно из того мира вернется обратно, пусть в другом человеке, они даже считают, что по имени, на которое откликнулся новорожденный, они узнают, кто снова вернулся.

Потому они не только не боятся, а с радостью принимают смерть, потому они не торопятся жить. Потому они, в отличие от нас, не суетливы в своих поступках. Они могут день ловить упрямого упряжного оленя, а поймав его лишь к вечеру, снова отпускают, потому что ехать сегодня уже поздно. Это может повториться и завтра. Нас это, мягко говоря, удивляет и раздражает: чего проще — привязать наконец-то пойманного оленя до утра, но в самом процессе ловли оленя особая прелесть жизни, и раз мы временные, но в то же время вечные на Земле — куда и зачем торопиться?!

У них, как у травы, нет высоких целей, которые мы себе понапридумывали и тем самым вывели себя из естественного, может, запрограммированного для нас круговорота жизни. Святитель И. Брянчанинов говорил, что одним из основных признаков кончины мира и близости Второго пришествия Господа будет «необыкновенное вещественное развитие: люди забудут Бога, забудут небо, забудут вечность и, в обольщении своем, как бы вечные на земле, все внимание устремят на землю, на доставление на ней себе возвышенного и неизменного состояния».

А что касается нас, русичей-русских: как только мы в конце века XIX в очередной раз, подобно иудеям, начали толковать о своем особом предназначении, ничего не делая при этом, Всевышний в XX веке наказал нас: напустил на нас две мировые войны, революцию между ними, и, по всему, до сих пор продолжается это наказание...

«Не столько раздражают Бога содеянные нами грехи, сколько наше нежелание перемениться», — говорит св. Иоанн Златоуст.

Мысли вслух...

В однообразной обыденной жизни, может, для укрепления непрочной веры, нам так хочется проявления ясной божеской воли, иначе говоря, чуда.

А все вокруг — разве не чудо?!

Ведь чудо — во всем!

Вода — уже сама по себе — разве не чудо? А вода, превращающаяся в снег? А узоры на оконном стекле? И снег, снова превращающийся в воду?! А текущая миллионы лет из Вечности в Вечность река?! Зачем она течет?! Чтобы мы любовались, кормились ей? А сам земной шар, заботливо укутанный атмосферой, спасающей нас от губительного космического излучения, разве не чудо?! А Вселенная, у которой нет границ? У всего есть пределы, а у нее нет — разве это не чудо? А закон земного притяжения, не дающий нам упасть с земного шара, как и не дающий сорваться с орбиты самому земному шару?! Этот ряд можно продолжать бесконечно...

А сам факт нашего рождения из ничего — разве не чудо?

И разве не чудо: рождаются, порой далеко друг от друга, даже в разных странах и на разных континентах, мальчик и девочка, среди миллионов людей почему-то влюбляются именно друг в друга, женятся, становятся на свете самыми дорогими друг другу людьми, становятся ближе друг другу, чем родители, которые постепенно как бы уходят на второй план, и нет ничего страшнее, чем потерять другого, даже



когда знаешь, что мы все равно умрем, что мы временные на Земле и что на том свете, может быть, встретимся?

Разве не чудо: чтобы в сложении любви двоих родился новый человек, тоже временный на Земле, который в свою очередь тоже встретит другого человека, который будет ему дороже всех остальных, — и так будет продолжаться без конца. В этом какой-то высший неведомый смысл, который я нарушил, оборвал...

Жизнь без тебя...

Получилось так, по воле случая, а может, по воле Божьей, что заканчиваю я свои печальные записки в Париже, — в нем начинал, в нем и заканчиваю, — как и в прошлый раз, в маленькой и неудобной, выбранной по принципу «где подешевле» гостинице. Ко мне на третий этаж нужно подниматься по крутой не освещенной лестнице. Крошечное окно в моем номере упирается в глухую стену.

Большинство обитателей гостиницы — тихие русские женщины, ищущие работу. Русских женщин в Париже я без труда отличаю по особому свету глаз, у француженок в глазах уже давно нет не только этого смущенно-покорного света, но и вообще никакого света, о красоте я уже не говорю, у русских женщин словно на лбу написано, что они русские. Случайно ли Господом дана им такая красота? Чтобы они, горькой русской судьбой из века в век разбрасываемые по миру, смягчали нравы?

Да, получив направление в кардиоцентр на обследование на предмет необходимости операции, я сорвался в Париж.

А было это так. Несколько дней я тянул со звоном в кардиоцентр. Наконец внутренне собрался, позвонил, но телефон молчал, на другой день — тоже, и так несколько дней, потом выяснилось, что заведующий хирургическим отделением, к которому я должен был явиться на обследование, как мне сказали, ушел в отпуск (позже я узнаю, что ушел он не в отпуск, а попал в онкоцентр с диагнозом: рак). И тут подвернулась командировка в Париж.

Наверное, от нее нужно было отказаться. Но, с другой стороны, почему бы не слетать, если подвернулась, как нынче говорят, такая халява. Но дело было не только в халяве. Мне неожиданно захотелось проверить свое прежнее впечатление о Париже. Ведь в конце концов он был мне родным, несмотря на то, что я не только не почувствовал с ним родства, а пережил в нем, чужом, холодном, вдалеке от тебя, нелегкие десять дней, в ожидании твоей неотвратимой смерти. Да, он был мне своего рода родственником, которого по тем или иным причинам не любят, но родственников не выбирают, к тому же именно в Париже я начал писать эти тяжелые, изматывающие душу записки, и я подумал, что, может, в Париже я, наконец, смогу их закончить, они мне мешали дальше жить.

Но было еще одно обстоятельство, заставившее меня поехать. Бытует расхожая фраза: «Увидеть Париж — и умереть». Она подразумевает: увидеть Елисейские поля, Сену, Лувр, ну и прежде всего, конечно, Эйфелеву башню. Всякий в первую очередь непременно идет или едет к ней: если не подняться, то хотя бы сфотографироваться на ее фоне, без этого вроде в Париже и не побывал.

В двадцатые же годы прошлого века эта фраза для несчастных русских беженцев имела другой, прямой смысл: чудом оставшись в живых на Родине, после долгих скитаний добраться до Парижа и умереть здесь в тоске по России, на купленном кусочке земли около городка Сент-Женевьев-де-Буа, сделав этот кусочек частью России.

В прошлый раз я привез из Франции воспоминания Ирен де Юрша, в девичестве Ирины де Гас-Переяславльцевой, дочери бывшего владельца кумысолечебного санатория Шафраново на Транссибирской железнодорожной магистрали под Уфой, полуфранцуженки-полурусской, после Октябрьского переворота вынужденной



бежать из России и добравшейся до Парижа целых десять лет! Записки потрясли меня своей любовью к России, несмотря на то, что она, француженка по отцу и по гражданству, потеряла в ней мать, брата, жениха и испытала столько страданий. На склоне лет она завещала своему двоюродному племяннику, профессору католического университета: после того как в России падет власть большевиков, узнать, сохранилась ли церковь в Шафранове, и если не сохранилась, по возможности участвовать в ее восстановлении. Церковь, разумеется, не сохранилась. И вместе с тоненькой, но полной горя книжицей воспоминаний я привез из Франции тысячу евро, которую передал со мной ее племянник, но от которой отказался священник: «Вы еще не приехали, а слух впереди вас пришел, что такой-то француз миллион дал». И мы, чтобы сохранить память об этой удивительной семье, отказались от мысли купить несколько кубометров досок или несколько тысяч кирпичей, а, добавив своих денег, заказали колокол, на котором отлили славянской вязью надпись, продиктованную племянником по телефону: «В память семьи де Гас, жившей в Шафранове с 1910 по 1917 год и беззаветно любившей Россию».

Племянник, никогда не бывавший в России, не знающий не одного русского слова, но беззаветно полюбивший Россию по рассказам своей тети, два года назад умер — тоже от рака! Из его послесловия к воспоминаниям Ирен де Юрша я знал, что она была похоронена на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем, рядом с мужем, отпрыском древнейшего литовского рода, капитаном белой армии, так и не принявшим французского гражданства, который в свое время лег рядом с ее отцом, чистым французом, отпрыском древнейшего французского рода, потерявшим в России жену, сына, состояние, но принципиально пожелавшим — первым из семьи! — лечь как бы на клочке России, на кладбище русских изгнанников, то есть пожелавшим уйти в мир иной русским. И я почувствовал душевную необходимость найти их могилы.

Командировочных дел в Париже у меня было немного, уже на следующий день я их успешно решил и вечером в гостинице соображал, как мне завтра попасть на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Не зная языка, добираться до него на электричке, а потом на автобусе — не так-то просто, я решил посоветоваться с Владимиром Николаевичем Сергеевым, который опекал меня в прошлый приезд во Францию. Позвонив ему, я искал удобный момент, как деликатно перевести разговор на нужную мне тему, как он вдруг, словно читая мои мысли, сам предложил утром поехать в Сент-Женевьев де Буа. Мало того, он попросил подъехать туда жившую недалеко от кладбища и хорошо знавшую его, потому как на нем лежали ее родители, родственники и друзья, свою знакомую Татьяну Борисовну Маретте, в девичестве Флорову. Она даже время от времени подрабатывала тем, что проводила экскурсии по кладбищу для приезжающих из России. Но, увы, Татьяна Борисовна никогда не слышала имени Ирен де Юрша: «Нас же, русских беженцев, были в Париже десятки тысяч...», — словно оправдывалась она.

Могилы Ирен де Юрша, как и могил ее отца, мужа, к моей полной растерянности, мы не нашли. Была суббота, и контора кладбища была закрыта.

— Давайте так, — успокаивала меня Татьяна Борисовна, тяжело передвигающаяся с палкой, так как недавно сломала ногу. — Мне тут рядом, все равно завтра приеду в кладбищенскую церковь на службу и еще поищу. И священника, прихожан расспрошу. А в понедельник пойду в контору, там же есть списки. И сразу вам позвоню...

Я долго еще бродил меж могильных рядов... «Увидеть Париж — и умереть!» Умирали в тоске по России... Умирали в тоске по России, многие даже уже в третьем поколении.

Если мы временные на Земле, почему такая тоска по России?

На кладбищах обычно трудно долго находиться, кладбища угнетают, стараешься поскорее уйти, если даже на них похоронены твои близкие родственники.



А это было удивительно светлым в любую погоду. Если была бы возможность, я спокойно и радостно остался бы здесь на ночь, среди русских сосен и берез, но непременно бы под открытым небом, только под себя что-нибудь подстелил бы, чтобы не простыть.

На следующий день, в воскресенье, на 3-й неделе Великого поста, Крестопклонной, я пошел на службу на рю Дарю, в русскую церковь Александра Невского, построенную русскими беженцами. Это, может, единственное место в Париже, которое грело мою душу в прошлый приезд. Здесь молилась по погибшим в России матери и брату и венчалась Ирен де Юрша, в девичества Ирина Альбертовна де Гас-Переяславльцева. Собираясь в церковь, я снова перечитал ее воспоминания:

«Именно на вечеринке бывших офицеров случилось то, что определило мою судьбу: мой кузен Ипполит Комаров рассказывал однажды своим друзьям, что одна из его кузин только что вернулась из России. Он назвал мое имя, и другой молодой офицер, который до этого слушал довольно рассеянно, подошел к нему: “Прошу прощения, но нет ли у нее брата по имени Димитрий, который был вместе со мной в Добровольческой Армии?” Мой кузен подтвердил, что я действительно сестра Димитрия... Мишель Юрша, с которым я подружилась в Киеве, когда навещала брата, отправился к моему отцу, и вообразите, каково же было мое удивление, когда несколько дней спустя я получила письмо от него! И вот каким образом, несколько месяцев спустя в соборе на улице Дарю я стала супругой Мишеля де Юрша, капитана 2-го гвардейского артиллерийского полка.

Мишель был очень добрым человеком, очень простым, очень умным, и всегда находил забавное словцо, чтобы посмеяться над трудностями, которых, как вы догадываетесь, мы не сумели избежать. Демобилизовавшись в Галлиполи вместе со своими товарищами из несчастной Белой Армии, он получил нансеновский паспорт, который предоставлял русским беженцам, лишенным родины, защиту великих держав. Многие эмигранты просили гражданства в странах, где они нашли убежище; из верности России мой муж не хотел менять гражданства...

Радости и печали — все было! — шли чередой. Мой любимый отец работал до самой своей смерти в 92 года; у моего мужа были приступы нервной депрессии после немецкой оккупации Франции, когда его преследовала мысль о том, что его могут насильно забрать в легион и заставить сражаться против СССР, который все же оставался Россией...»

Перед службой, в пустом тихом храме я подошел к церковному служке, продающему свечи. Я познакомился с ним в прошлый приезд: Игорь Александрович Марков, сын полковника белой армии, командира 3-го драгунского полка Александра Михайловича Маркова, тоже прошедшего через печальное стояние на турецком полуострове Галлиполи, где многие нашли свой конец.

— Я рад вас снова видеть... — узнал он меня. — Случаем, не привелось побывать в Новочеркасске? Как там, на Родине? Вроде что-то стало образовываться... Нет, мне туда уже не собраться, даже в гости, только душу травить. Я перестал даже мечтать об этом. Так легче жить. Моя Россия здесь. Я кусочек ее.

Церковь к началу службы постепенно заполнилась, стало негде встать. Странное чувство: словно я был где-то в России. Может быть, эта светло-печальная церковь, намоленная изгнанниками, тоже была частью России?

После службы ко мне подошел небрежно одетый, со включенными волосами человек, протянул руку:

— Пошли обедать.

— Куда? — не понял я.

— Ко мне домой, я здесь рядом живу.

— ...

— Пошли, пошли, там и познакомимся... — И совершенно незнакомый человек мне, совершенно незнакомому человеку, стал рассказывать свою жизнь.



Уже минут через пятнадцать появилось ощущение, что мы знакомы с ним очень давно.

— Ну, а почему все-таки ты подошел именно ко мне? — спросил я Сергея уже на кухне, рассматривая альбом с репродукциями его картин.

— Ну, здешних прихожан я преимущественно знаю. Ну и кого в Париже можно встретить во фланелевой рубашке?!

— В гостинице не топят, немного подмерз.

Сергей поразил меня своей открытостью. Через час я знал о нем буквально все, даже то, во что стараются не посвящать посторонних. А тут: совершенно чужому человеку, с которым познакомился буквально час назад случайно на улице (потом, правда, в гостинице, анализируя, я уточнил для себя, что все-таки не на улице, а около церкви), он рассказывал о своих бедах и несчастьях, в том числе семейных. Я в свою очередь, по каким-то причинам, скорее всего, из-за неизжитой гордыни избегающий церковной исповеди, рассказал ему о своих бедах, о тебе, о своей вине перед тобой.

— Не убивайся! — Сергей положил мне руку на плечо. — Нам с тобой осталось на этой земле совсем немного, — как-то очень легко, без грусти сказал он. — Здесь мы временно. Там все встретимся. Там мы все простим друг другу...

Я сначала даже насторожился, всерьез ли он все это говорит? Но он говорил так естественно, с такой уверенностью, без тени печали или грусти, даже с какой-то торжественной радостью, что я не то чтобы растерялся, но, может быть, окончательно поверил в существование того мира, в чем, может, до сих пор сомневался, где мы все непременно встретимся и простим друг друга. Он верил в загробный мир так же безоговорочно, как Ирен де Юрша, могилу которой я искал и пока не нашел, а почему-то мне это было очень нужно. Я испытывал неловкость или даже вину перед своими родственниками, на могилах которых бываю нечасто. Я снова и снова прокручивал в голове несколько строчек из ее воспоминаний: «Пасхальной ночью племянник отвозит меня на обедню в Сент-Женевьев де Буа в красивую часовню, творение великого русского художника Бенуа, потом мы идем чередой среди могил со свечами в руках, мы устанавливаем эти маленькие огоньки на могилах моего отца и мужа. Я говорю им: “Христос воскрес, и мы тоже однажды воскреснем, и мы найдем друг друга там, где нет больше ни боли, ни печали, ни стона, но только поклонение и радость”».

Я поверил ему больше, чем многочисленным толкователям Св. Писания и, может, даже больше, чем самому Св. Писанию. Он был как бы живым свидетелем одновременно этого и того мира, для него между ними как бы не было границы. Почему-то я ему безоговорочно верил. Мне стало даже неловко перед ним и перед собой, что я не обладаю такой верой. Я что-то начинаю понимать, самые простые истины — и то, постоянно сомневаясь, только к концу жизни, — кто виноват в этом: сатанинская власть, отторгнувшая моих родителей от Бога? Но Сергей ведь тоже родился при той власти, из России уехал уже взрослым — но с раннего детства живет с верой в Бога, не мучаясь никакими сомнениями. Или он познал Бога только в результате долгих и мучительных страданий после смерти своих детей, сгоревших еще в России при пожаре?

Я не решился его об этом спросить.

— Может, останешься хотя бы еще на неделю? Я отвез бы тебя в православный монастырь, тут недалеко, под Парижем, у меня там дом. Хочешь, поживи в монастыре, хочешь, у меня, рядом с монастырем. Поживи хоть немного, успокойся. Вижу, тебе надо успокоиться перед операцией. И вообще успокоиться. Вижу, мечешься. Я тебе дам телефон брата в Москве, он как раз кардиохирург, я его предупрежу, что ты позвонишь, он не только проконсультирует тебя, а сделает все что нужно. А болезнь порой Господь посылает, чтобы человек приостановил свой обычный жизненный бег, задумался, к какой пропасти его этот бег ведет,



изменился, покаялся. А когда уходить... Господь сам решает, когда кого забрать. Не зря говорят: пути Господни неисповедимы. У Бога свой замысел как о человечестве в целом, так и об отдельном человеке. В тебе еще много от мира сего, резкости, категоричности. Надо прощать людям слабости. И даже зло, ибо Господь не случайно его попускает, может, злом Он испытывает нас. Мы по привычке судим по своим земным меркам о Его поступках, порой они нам непонятны, мы готовы возмущаться, забываем, что у Него свои планы, потому как Он строит Царство не земное, а небесное... Когда у меня на глазах сгорели дети, мне вдруг было откровение, я вдруг увидел вечность: и рай, и ад. Потому живу как бы наполовину тут, а наполовину там... Надо жить по Его заповедям, а когда Он нас возьмет и куда, не нам решать.

Мне хотелось спросить, какой он увидел вечность, но не решился, наверное, он имел на это какой-то внутренний запрет. Если мог бы сказать, то сказал бы без просьбы, догадываясь, что я мучаюсь этим вопросом.

Мне хотелось задать ему много вопросов, но я боялся, что они покажутся ему детскими, наивными. Будучи старше его на 15 лет, я чувствовал, что в вопросах истины, в вопросах жизни и смерти я был перед ним ребенком. И самое главное: в отличие от ребенка, мое отравленное атеизмом сердце было закрыто для истины, если я и воспринимал ее, то только рассудком.

Я понял, что встретил Сергея не случайно, как уже знал, что многие встречи в моей жизни, особенно в последнее время, не случайны, или я просто стал замечать это, и, может быть, именно для этой встречи меня кто-то надоумил прилететь в Париж, а командировка лишь повод. Я еще раз убедился, что в последнее время кто-то по жизни ведет меня, кто-то если не руководит моими поступками, то подсказывает их или устраивает мне нужные встречи, подкладывает нужные книги, или я вроде бы случайно беру в руки лежащий на столе журнал и открываю его именно на той странице, где оказывается статья с так нужными мне сведениями, о существовании которых я не подозревал. Сергей говорил и не догадывался, что каждая его фраза была для меня не случайна, и я безоговорочно верил ему, как не верил ни одному священнику, потому как у священников это было профессией, за которую получают зарплату. Я боялся, что не запомню всего того, что он говорил, мне хотелось взять ручку и записывать за ним, но это было бы нелепо, и только это меня удерживало. И, как я предполагал, приехав в гостиницу и схватившись за карандаш, я уже не смог толком что-то ясно выразить на бумаге, память моя с некоторых пор была словно решето, а может, память тут была ни при чем, может, кто-то специально затуманил сказанное Сергеем — как знание, которое мне рано знать: только смутные отблески его простых и ясных мыслей блуждали в голове, и я бросил карандаш. Но я уже не жалел, что прилетел в Париж...

В понедельник вечером позвонила Татьяна Борисовна: могилы Ирен де Юрша в списках кладбища она не нашла. Мало сказать, что я был удручен. Неужели могила за отсутствием ухаживающих за ней родственников не сохранилась? Положили же умершего — от рака! — Андрея Тарковского первоначально в заброшенную могилу некоего есаула Григорьева.

Через день мне нужно было улетать, и на душе было тоскливо от напрасных поисков. Почему-то это было для меня чрезвычайно важно, а я знал, что в Париж больше никогда не попаду, и буду жить оставшуюся жизнь с чувством невыполненного долга, не знаю, перед кем, скорее всего, перед собой, перед этой удивительной русско-французской семьей, хотя вроде бы перед ней ни в чем не виноват. Я бесцельно, до изнеможения, несмотря на холодный пронизывающий ветер, бродил по Парижу, а к вечеру снова пошел в русскую церковь на рю Дарю, может, Игорю Александровичу Маркову удалось что-нибудь выяснить у прихожан. Увы! Что меня поразило: на службе, кроме священника и Игоря Александровича, я был, кажется, один. Как в России...



По дороге в гостиницу решил, что если сегодня Татьяна Борисовна ничего не прояснит, то завтра поеду в Сент-Женевьев де Буа рано утром на поезде, чтобы до отлета еще раз внимательно пройтись по кладбищу. Но поздно вечером Татьяна Борисовна обрадовала:

— Я нашла... Уж очень неприметная табличка на французском, касающаяся ее отца и мужа. А ее — всего лишь временная, когда ее похоронили, так и осталась. Она заржавела и совсем почти не читается. И вот что я выяснила в муниципалитете: место на кладбище в день ее похорон было оплачено на тридцать лет, срок оплаты истек, обычно год-два еще ждут, а потом, если не объявляются родственники, в любое время в эту могилу могут похоронить другого человека. Потому-то ее и нет в списках конторы кладбища, но какое-то время, видимо, они еще выжидают...

Я позвонил еще одной знакомой, обретенной в Париже, врачу Ольге Назаровой, занесенной во Францию третьей волной эмиграции и начинавшей жизнь в ней певицей кабаре. У нее завтра был напряженный день, но она сумела перепланировать его. Утром, по пути забрав Татьяну Борисовну, мы заехали в муниципалитет г. Сент-Женевьев де Буа, где я написал заявление, что я приехавший из России родственник Ирен де Юрша и что я в течение месяца произведу оплату, хотя я еще не представлял, как это сделаю.

С волнением я шел меж могильных рядов. Оказалось, что я не раз проходил мимо этой могилы, но, во-первых, надпись на кресте была на французском, мелким шрифтом, и имени на табличке не было, оно было на другой, ниже, проржавшей, и почти не читалось, а во-вторых, я представлял могилу более богатой, что ли, меня отвлекали окружающие ее пышные и яркие надгробия.

Я долго стоял над могилой, словно здесь были похоронены мои родственники. У меня в кармане был плоский флакон с коньяком, на всякий случай, вместо сердечных таблеток, у Ольги в багажнике оказалась вареная курица и, несмотря на Великий пост, мы пошли в кладбищенскую сторожку к мусульманке марроканке Фариде и по-русски помянули усопших. И было легко и светло у меня на душе.

Вечером позвонил Сергей:

— Я договорился с Юрой-десантником, он заберет тебя завтра утром хоть на пару дней в монастырь.

— Сережа, я внимательно посмотрел билет: оказывается, улетаю не в воскресенье, а уже завтра.

— Жалко!.. А завтра я не смогу тебя проводить. Буду далеко за городом. Прилетай обязательно еще.

— Ты думаешь, так просто: взял — и полетел.

— А я тебе оплачу билет туда и обратно.

— Сережа, я обязательно приеду, но я еще в состоянии сам заработать на билет. Но если ты серьезно, можешь оплатить просроченную аренду земли на кладбище Сент-Женевьев де Буа?

Он задумался всего на несколько секунд:

— Да, конечно. Есть кому тут без тебя выписать счет?

— Есть... Спасибо, Сережа! Я обязательно приеду...

Я улетал из Парижа почти счастливым. Я уже совсем не жалел, что поменял кардиоцентр на Париж, чем бы для меня это не закончилось. Я знал, что не случайно и не зря в него прилетал.

Нет, мое отношение к Парижу мало изменилось. Да, конечно, это был совсем другой город, чем в прошлый мой приезд, более светлый, более, может, теплый. Значит, все-таки что-то изменилось в моей душе. Но родным он мне все равно не стал. Меня по-прежнему тяготили его величественные католические храмы, они не поднимали мою душу, а наоборот, придавливали к земле, меня почему-то угнетала их утонченно-прекрасная холодная каменная вязь, они тоже свидетельствовали об ином мире, но он меня пугал своей жестокостью... Сколько-нибудь родным Па-



риж для меня делало кладбище Сент-Женевьев де Буа, на котором лежали тысячи и тысячи русских беженцев и их потомков, и потому оно стало частью России, там была могила Ивана Сергеевича Бунина, там была могила Ирен де Юрша, ее отца и мужа, которые стали казаться мне почти родственниками, особенно после того, как оказалось, что кроме меня о них больше некому позаботиться... Я уже говорил, что на кладбище Сент-Женевьев де Буа нет ощущения смерти. Оно торжественно и светло. Словно оно было частью того горнего мира, встреча с которым нас так тревожит, встречи с которым мы так боимся. Оно примирило меня со смертью.

Родным Париж делала русская церковь на рю Дарю.

Родным мне его сделал Сергей, который, теперь я точно знал, не случайно встретился на моем пути.

Когда я пришел к Сергею во второй раз, то застал у него почти уже в дверях сухонького старичка.

— Раздевайся, книги вон посмотри, пока я его провожу, — сказал Сергей. — Это мой тесть, — вернувшись, пояснил он. — По матери я из Голицыных, а жена — в девичестве Осоргина.

Сергей стал рыться в книжном стеллаже. Нашел «Архипелаг ГУЛАг» Александра Солженицына, стал листать:

— Ты, конечно, это читал, но прочти, вспомни вот этот отрывок, а я пока чайник поставлю.

«Кроме духовенства никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел на пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому отвез мантию и Св. Дары. По доносу посажен в карцер и приговорен к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая (и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться более трех дней, как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, — не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, что муж взялся за голову с мукой. — “Что с тобой?” — “Ничего”, — прояснился он тут же. Она могла еще остаться — он упросил ее уехать. Черта времени: убедил ее взять теплые вещи, он в следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу...»

— Ну, прочел? — вернувшись, спросил Сергей. — Мой тесть — ребенок, зачатый во время этого свидания.

Я долго сидел молча, не в силах что-нибудь сказать...

— Пошли пить чай, — нарушил мое оцепенение Сергей.

Жизнь без тебя...

Я возвращался домой с очередной годовщины кончины сестры, которая неожиданно опередила тебя: умерла на полгода раньше. Автомагистраль А-5, известная между водителями больше как «дорога смерти» — на ней раньше времени можно попасть в мир иной — пересекала Уральские горы.

Перед этим, в июне, после моего возвращения из Парижа, были совсем не летние холода, и так хотелось тепла, а теперь вот вторую неделю стояла изматывающая, сдавливающая сердце жара. Потому я выехал поздним вечером, надеясь, что к ночи жара немного спадет. Но жара перешла в еще более изматывающую духоту, и я свернул к блеснувшему справа от дороги озеру.



Была прекрасная ночь, раствориться бы в ней, но жутковатое чувство бесприютности в этом мире вновь скрутило меня. Разумеется, каждый из нас задумывается о смысле жизни и над тем, что нас ждет за рубежом жизни, если вообще что-то ждет. Хотя легче жить, не утруждая себя мыслями обо всем этом. Как я уже писал, после твоей смерти я стал почитать умные книжки на эту тему, которые в изобилии продаются в церковных лавках. Как правило, они начинались главой с названием «Смысл жизни», а заканчивались главой «Жизнь после смерти». И оказывается, что в этой жизни нет никакого смысла, кроме познания Бога и подготовки к иной жизни.

Я уже писал, что ничего для себя я в этих книжках не вычитал. Более того, они оставляли в душе странный, если не сказать, тяжелый осадок. И я бросил читать их, они нечто вроде наркотиков, и опасны, как наркотики, я чувствую в них скрытый обман или благостный самообман, нельзя придумывать то и выдавать за истину то, что для человека по какой-то причине скрыто. Они внесли в мою душу только еще большее смятение.

Новое знание о жизни и смерти почему-то не подняло меня над Землей, а наоборот, придавило к ней, я давно смирился с тем, что я на Земле временный, но я никак не мог смириться с тем, что все мы на Земле навсегда временные, что мы никогда не вернемся на нее. Пока мы будем жить с этим чувством, никогда на ней не будет порядка, мы постепенно превратим ее в ядовитую, непригодную для жизни свалку. Рай после Страшного суда и всеобщего Воскресения я почему-то представляю только на Земле. Может быть, мы все-таки предназначены готовить ее к всеобщему Воскресению, к своему возвращению, превратить ее в цветущий сад, а кто-то от имени Бога стремится увести нас с нее?

С этими гнетущими мыслями я снова сел за руль. Через сотню километров в лучах фар справа высветился дорожный указатель на поворот к деревне моего детства. В последние годы я никак не могу найти времени, чтобы не спеша пройти проселками, тропами детства, напиться воды из его родников. Все наскоком, все некогда. Странное свойство времени. Оно разное в зависимости от возраста. Чем взрослее становишься, тем оно стремительнее несется. Какой долгий день в детстве: ходил в школу, поиграл на улице, сделал уроки, вздремнул, снова поиграл, а дню все нет конца. А чем взрослее, тем день короче, а к старости: встал — и не заметил, как наступил вечер.

Страна детства спала сладким предутренним сном. Серпантинном я заехал на гору, которая отвесной скалой нависала над притихшей ночной рекой, хотя, наверное, ее перекаты переговаривались с вечностью ночью не тише, чем днем. Но, может, действительно, река на ночь тоже притихает?

Внизу под скалой на противоположном берегу стояли палатки, кто-то сплавлялся по реке. Думают ли эти люди о том, что они временные на Земле, или спокойно, в отличие от меня, знают это и стараются унести реку в своей памяти в тот неведомый мир, для того и сплавляются?

Постояв на скале, я заехал на самую вершину, где когда-то, много лет назад, вернувшись из истекающей кровью Югославии, показал друзьям детства, где хотел бы быть похороненным. Там, в Югославии мне было не столь страшно умереть, сколь страшно умереть и быть похороненным именно вдали от Родины, хотя вроде должно быть все равно, где быть похороненным, раз мы временные на Земле и она лишь условно поделена нами на государства и границы. Почему я хочу быть похороненным именно здесь, если я после своей смерти никогда сюда не вернусь? Может, я подспудно знаю, что моя душа, живя в лучшем мире или скитаясь по неведомым мирам, будет время от времени или постоянно возвращаться сюда, иначе — почему мне так хочется, чтобы я лег именно тут, чтобы была видна деревня, в которой я родился, изгиб реки, слышен клекот коршунов, шелест ветвей одинокой сосны? Разве это нужно моему телу, которое через несколько лет превратится в



прах? Значит, это нужно моей душе, которая будет время от времени посещать мою могилу? Зачем? Чтобы я когда-то после Страшного суда встал из нее?

Я долго смотрел на редкие огни родной деревни далеко внизу. Они меня не грели, потому что ночные огни, как правило, — свидетельство беды: кто-то там тяжело болел, может, умирал...

Повернулся, чтобы идти к машине — и вздрогнул: прямо передо мной, надо мной, другим своим краем спускаясь к юго-восточному горизонту, висели серебристые облака. Еще полчаса назад их не было, я бы не мог их не заметить, со скалы я смотрел как раз в ту сторону, а сейчас они висели и чуть заметно мерцали в треть горизонता.

От неожиданности я растерялся, было такое чувство, когда к тебе тайком подкрадываются со спины. Неприятный холодок побежал по спине, но скоро я почувствовал, что от облаков идет мягкий доверительный свет, и мне стало неловко за свое прежнее чувство подозрительности или даже страха.

К этому времени я перечитал все, что касалось серебристых облаков, ученые вроде бы меня убедили в их чисто физической природе. И в то же время, вопреки всему, во мне все больше росло убеждение, что они — живые. Как живые — родники, реки, моря... Что они с умыслом время от времени появляются на ночном небосводе, и в трудную минуту разговаривают не только со мной. Мне кажется, что они тоже имеют душу, или что это даже чьи-то души, уже оторвавшиеся от Земли, но не успевшие улететь или не желающие улетать в иные миры. Иначе почему они таким странным образом волнуют мою душу, и не просто волнуют, меня при появлении их сразу покидает чувство безысходного одиночества, но в то же время душа начинает необыкновенно томиться по чему-то неведомому и высокому, она еще больше начинает страдать от одиночества, но совсем в другом, не безысходном смысле, который я только смутно чувствую, но не могу объяснить. Словно они мне что-то говорят о том главном, что я всю свою жизнь пытаюсь понять, а я, как ни стараюсь, не могу понять смысл этого, только смутно догадываюсь, и еще больше томится душа.

Я по-прежнему был один в ночи, и в то же время уже не один. И, затаив дыхание, смотрел в перламутровый ласково-тревожный свет, ниспадающий на меня сверху, и не знал, то ли мне принадлежат вдруг пришедшие мысли, то ли я считываю их с таинственных облаков.

И я решил, может, с великим опозданием для себя, что высший смысл, материалистический ли, религиозно-христианский, мистический ли — надо радоваться, насколько это возможно, самому дару жизни, раз она тебе дана, а она дана тебе не случайно, надо радоваться каждому данному тебе дню, но жить нужно прежде всего для ближнего, а потом только для себя. И раз мне по каким-то причинам запрещено знать раньше времени, что будет со мной после смерти, значит, не надо гадать, на халявных перинах или ржавых гвоздях я там буду возлежать, ибо, в конце концов, не в этом дело. Я уверен, что про халявные перины придумано нищими телом и духом людьми, какими бы святыми словами и даже делами они не прикрывались, они в этом мире мечтали о халяве, и раз тут не получается, они мечтают о ней в мире ином, это не имеет ничего общего ни с христианством, ни с Иисусом Христом. Я не приемлю рая, как они его описывают, я не хочу туда, хотя туда меня и не пустят, а если вдруг пустили бы, то уже на третий день, наверное, я полез бы на стены, мучаясь от безделья, что для меня страшнее самого страшного ада.

Просто надо жить, не лукавя, прежде всего с самим собой. И ты не умерла и не покинула Землю, пока я жив и на Земле. Пока я молюсь за тебя, моя молитва оставляет тебя, по крайней мере, для меня, на Земле.

Я почему-то знаю, что тебе легче там, когда захожу в церковь и ставлю свечу тебе. Есть ты там или нет, я тебя чувствую по ту сторону свечи. Потом как бы в подтверждение этому я прочту у Иоанна Дамаскина: «Несчастливы те из умерших,



о которых не молятся на земле живые!» Во спасение своей души, есть мир иной или нет, надо сделать хоть что-то, чтобы и за меня потом кто-то молился на Земле. Может быть, в этом главный смысл этой жизни и связь этого мира с тем.

Я только сейчас понял, как крепко мы связаны с тобой невидимыми узами, наверное, даже больше, чем при жизни. И если раньше даже сама мысль: жить с постоянным ожиданием своей смерти, — была страшна, то теперь я не только свыкся с ней, но заметил, что, живя с ней, стал, несмотря на болезнь, несмотря на годы, каждый день успевать больше. В свое время я у кого-то из подвижников веры прочитал: «Живи так, чтобы всегда быть готовым к смерти!» Меня покорила эта мысль. Теперь же я поймал себя на том, что не заметил той грани, когда произошел перелом, после чего мне уже казалось, что я сам пришел к этой простой и ясной мысли, что это утверждение принадлежит мне.

Память смертная — это не значит постоянно помнить, что ты умрешь, и пребывать от этого в ужасе. Память смертная — это ясное и спокойное осознание, что ты рано или поздно все равно умрешь, но это может случиться уже завтра или даже через час, а потому надо как можно больше в жизни успеть сделать, хотя вроде бы зачем все это, когда ты все равно умрешь, и все умрут, и, возможно, что уже через несколько десятилетий магнитные полюса поменяются местами, и всех нас ждет катастрофа, подобная библейскому потопу. И нужно стараться как можно меньше причинять боли людям, прежде всего своим ближним, животным, природе. Я только никак не могу смириться с тем, что, в отличие от души человеческой, души животных, потому как животные якобы неразумны, неотделимы от тела и распадаются вместе с ним, и что я не встречу там ни Динку, ни души загубленных людьми в своих кровавых разборках коней... Если судить по неразумности некоторых человеческих поступков, невольно приходишь к мысли: может, и наши души, по крайней мере, у многих, умирают вместе с телом?

Память смертная — это ясное осознание того, что за рубежом смерти придется давать ответ за прожитую жизнь, если даже этого отчета и не будет, даже если там вообще ничего не будет. Это своего рода самоконтроль. Память смертная — это не страх умереть, а страх совершить грех, а если совершил, то успеешь раскаяться в нем на Земле, ведь одному Господу известно, когда наступит наш смертный час. Но память смертную в то же время нужно соединить с чувством, что ты живешь на Земле вечно, что ты бессмертен, иначе она придавит тебя.

Было такое чувство, что все это я считывал с серебристых облаков или мне они это говорили. Стоило мне снова подумать о тебе, я как бы услышал в ответ: «Если ты всем сердцем желаешь помочь ей, не допускай сомнений в спасении ее души. Своей оставшейся жизнью, памятью и молитвой ты способен изменять ее загробное состояние. До Страшного суда ныне живущие на Земле должны помогать друг другу и в состоянии изменять загробное состояние ближних и всех, кто им был дорог на Земле...»

«А что такое Страшный суд?.. И что такое конец света?» — осмелился я спросить.

«Не мучай себя этими вопросами. Главное, как в случае с памятью смертной, — всегда помнить, что то и другое у тебя впереди, как и у всех. А может, ответ со временем сам придет к тебе. А может, это понятие иносказательное. Главное: у каждого человека должен быть свой страшный суд над самим собой, который страшнее всех других судов. Тогда ему будет не страшен тот, вселенский суд. До всеобщего Страшного суда есть время помогать друг другу: как здесь, на Земле, так и в разных мирах. Всем усопшим, за которых на Земле приносится Бескровная Жертва, пусть даже это скромная милостыня нищему на паперти, пусть даже ты видишь, что он прикидывается нищим, прощаются некоторые грехи. Ты же читал у святителя Иоанна Златоуста: “Почти умершего милостыней и благотворениями, ибо это послужит к избавлению от вечных мук”. И еще ты у кого-то читал: “Если



ты идешь в церковь, и денег у тебя мало, и берет тебя раздумье, дать ли нищему или свечу поставить, — то лучше дай нищему, а сам стань свечой Богу: гори верой и свети любовью ко всему Божию миру»».

Да, ты словно ребенок. Мучаешься, сжигаешь себя пустым вопросом о смысле жизни. Смысл один — стать свечой Богу, рабом Божиим, даже если ты допускаешь мысль, что Он просто придуман, чтобы было легче умирать. Пусть тебя не пугает понятие «раб Божий». Человек извратил это понятие из боязни, что Бог превратит его в низменного раба, подобного рабочему скоту, а раб Божий — это работник, соратник Божий, потому как человек задуман Богом не просто как свободно-разумное творение, а как образ Его, хотя и неизмеримо низший своего бесконечного Первообраза, но отражающий в своей духовной природе Его Божественные свойства, способный к их развитию в себе до степени нравственного богоподобия и бессмертный по своему назначению.

Уверуй, что душа человека не умирает вместе с телом, а остается бессмертной. Иначе почему она с самого детства так томится, словно ей тесно в теле? А потому всю жизнь и томится твоя душа, и не просто томится, а по чему-то неведомому, и никогда не успокаивается на достигнутом, никогда не ощущает полноты счастья, что она, в отличие от тебя, твердо знает, что то неведомое, с которым она, наконец, обретет всю полноту счастья — за пределами земной жизни...

Но в то же время живи с верой, что рано или поздно, может, после Страшного суда, если не ты сам, то хотя бы кто-то снова вернется на Землю, потому благоустройвай ее, сколько в твоих силах, для других, которые будут жить после тебя, как для себя. Надо жить на Земле так, словно ты на нее рано или поздно вернешься. И, может, на самом деле вернешься. Может, просто нужно заслужить право снова видеть закаты и рассветы...

Наступал рассвет. Серебристые облака стали уходить за горизонт. Но как бы на прощанье я услышал: «Остановись, задумайся, наконец, почему Бог уже много раз в самый последний момент, на краю гибели спасает тебя? Он тебя предупреждает, напоминает, чтобы ты, наконец, задумался, зачем Он тебя держит на этом свете, а ты уже на следующий день забываешь об этом. Остановись, переосмысли всю свою прежнюю и оставшуюся жизнь.

И еще: ты ужасался подвига монашества, тебя по-прежнему приводит в ужас сама мысль об этом. И в то же время страшит ужас одинокой старости. Ты прав: спасаясь от одиночества, не идут в монахи, в монахи идут от безграничной веры в Бога...»

Серебристые облака уплывали, растворяясь в рассвете. Я оставался один.

И вдруг неожиданно для себя я стал читать псалом 90, который читается человеком в крайней опасности:

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него...»

2009 г., октябрь

P.S. 8 ноября рано утром я за двести верст торопился на утреннюю службу на престольный праздник в церковь во имя Дм. Солунского, покровителя всех славян, которую более сорока лет назад, тогда уже полуразрушенную, мне случайно, а может, не случайно оказавшемуся рядом, удалось спасти от взрыва. На одном из скользких поворотов машину занесло, видимо, задремал водитель, она сорвалась с крутой дорожной насыпи и, несколько раз перевернувшись, снова встала на колеса, меня смятой крышей так придавило, что голова оказалась между ног. Выброшенный или выпрыгнувший во время смертельного кульбита водитель с трудом ломиком сумел выковырять то, что осталось от двери и с таким же трудом вытащить меня. Какое-то время в полузабытьи полежав на припорошенной снегом земле, боясь

пошевелиться от страха боли в переломанных руках и ногах, а то и позвоночнике, я осторожно встал. В голове стоял тонкий гул, переходящий в свист, похожий на звук взлетающего истребителя, который по сей день так и не прошел, но, кроме нескольких мелких порезов на голове от осколков лобового стекла, ран я на себе не обнаружил. В результате мы успели только к концу службы. Отец Петр, бежавший с Западной Украины от братьев во Христе, униатов, годный мне в сыновья, вместо сочувствия строго сказал мне: «Бог не убивает, но наказует. Это знак тебе. Задумайся, так ли живешь...»

А через два с половиной месяца, 21 января кардиохирурги буквально вытащили меня с того света. Меня спасли сразу пять счастливых, следующих друг за другом обстоятельств, исключи одно, любое из них, и я не писал бы эти строки. И как тогда, когда незадолго до твоей смерти я увидел во сне или придумал в полузабытьи таинственную женщину в светлом ореоле, по-матерински успокаивающую меня, которая, как я потом гадал, могла быть Матерью Божьей, так и теперь, теряя на операционном столе сознание, я явственно увидел над собой ушедшую в изгнание с частью русского народа и мечтающую вернуться назад в Россию, на место первого явления, Ея Табынскую икону Божией Матери, и услышал тот же голос, как тогда, мягкий и ласковый, как голос матери над колыбелью младенца: «Не беспокойся, у тебя все будет хорошо...»

И живу теперь я с вопросом: что за грозные предупреждения мне одно за другим были, суть которых я так и не могу осмыслить? Зачем Всевышний меня все еще держит на этом свете?



Юрий КАЗАРИН

БЕЛЫЕ-БЕЛЫЕ ПТИЦЫ

* * *

У неба внутри птица,
она, как вода, струится:
прозрачную — синева
рассеивает в слова.

У птицы внутри небо —
и только: ни крошки хлеба.
И, чтобы не умереть,
она начинает петь

во мне. Запоёт — и вскрикнет,
и к смерти моей привыкнет —
и к голоду, и к любви,
и к небу в моей крови.

* * *

Ищет горькое ненастье
душу, горло и запястье:
заворачиваясь в дрожь,
мимо неба не пройдёшь.

Мимо неба, мимо плача,
мимо чёрного села,
где была когда-то дача,
где погода умерла.

Где прохожий убывает —
Ангел в поле. Волк. Никто.
Ветер душу выдувает
из пальто...

* * *

Утром бумажное чудо — трава:
иней оттиснет иные слова.
Всё, что во сне налетаешь, —
только в траве прочитаешь.

О алфавит октября... Всё равно
вязь переходит в кольчужку, в руно,
прямо в махру полотенец
от облаков до поленниц.

Гладит ладонь шерстяные дрова,
словно барана стрижёшь. Синева.
Снежная пряжа. Овчина.
Ёлка. Берёза. Осина.

* * *

Осень. Стакан разбился.
Вот они — сны стрекоз...
Поезд остановился,
полный стекла и слёз.

Ясно. Пустынно. Вольно.
Свету напьёшься всласть.
Небу уже не больно
в белой земле пропасть.

* * *

Учится забвению Овидий.
Спит Гомер — глазами говорит.
Свет ослеп, когда себя увидел
в зеркале плакучих Персеид.

Спит кустарник — учится морозам.
Первый иней учится земле.
Топят печи каменным навозом.
Держат шерсть колючую в тепле.

Пустоты и моря нынче вдоволь.
Смерти научившийся, как ты, —
отовсюду виден только тополь,
не нашедший в небе высоты.

* * *

Утром была зима.
Днём наступила осень.
Чтобы совсем не сойти с ума,





лягу в восемь.
Или в шесть.
Чтобы приснилось лето
или вечность, которая есть
тьма — продолжение света.
Серая цапля во сне летит
сквозь высоту в ресницы.
Слышно, как сердце стучит
в птице...

* * *

Короткая вода и длинная водица —
две сразу — вверх и вниз, распутавшись, текут.
Одна из них, как цепь, дрожа, в окно струится,
другая горлом падает в сосуд.

Два времени прошло, как две воды сквозь глину,
сквозь небо. И пропали, и взошли,
и двинули в груди иную сердцевину —
в оледенелом пламени — земли.

И прошлое твоё, как степь сухую, выжгло,
ты чёрную её в себя впустил.
Перечеркнул грядущее, а вышло —
перекрестил.

* * *

Листья опавшие. Тополь худой.
Выглянет ворон из неба на иней —
взгляд замерзает в бочке с водой.
Пахнет пустыней.

Осень. Леса потекли в решето.
Золото жухнет, ржавеет, рыжеет.
Здесь красота превратилась в ничто —
и хорошеет.

На воду глаз положили с небес —
алая синь отворяется в стужу,
так на запястье открылся порез:
больно — а кровь не выходит наружу.

Хлеб вспоминает полоску ножа:
волосом сивым насквозь приласкает...
Бездна недвижимую осень, дрожа,
держит и не отпускает.



* * *

Стою под снегом у огня.
Нет, над огнём. В огне. И в темя
ознобом вышним дышит время
и небом думает в меня.

* * *

Вспомнил себя — и проснулся:
перехватила петлёй высота
горло, и воздуха стебель согнулся —
отяжелели уста
светом укромным и внешним —
по черепам и скворешням —
что тебе, Господи, этот и тот,
если на третьем, нездешнем,
новое слово растёт.

* * *

Неприкаянный, места родного
не находит — уже не найти —
снегопад, недосыпанный в слово,
три снежинки у неба в горсти.
Словно соль ущипнули в солонке —
ниже неба, от неба в сторонке —
выше самой высокой земли,
три снежинки на воздух легли —
три снежинки оставили или
прямо богу в глаза опустили:
слёзы горькие недосолили —
слёзы сладкие не потекли.

* * *

В глухом году, в пустом саду
струятся вверх сухие слёзы.
Берёзы призраков. Берёзы.
В осеннем пасмурном году.
Над полем стонут лесовозы.
И небо — всё — течёт сюда.
И жизни сладко быть печальной.
И в слепоте своей зеркальной,
в своём беспомыслии вода
до слёз додумалась — до льда,
светясь в потуге вертикальной,
где, снегом падая на лёд,
сама себя не узнаёт.



* * *

Птицы его несут
в лапках, единой стаей:
из ничего сосуд —
движется, вырастая
до голубых высот,
где золотые — рядом.
Там уже Бог несёт
сердцем, любовью, взглядом...

* * *

Синица осенью вернётся —
за окна трогает дома.
И снова белый свет качнётся.
Зима по имени зима.
Синица позабыла лето,
сидит на ветке — ждёт ответа,
так смотрит новая вода,
и кажется, с другого света
она прихлынула сюда.

* * *

Я умер. И это не снится.
Я помню. Везде и всегда.
Скажи меня: просит синица.
Скажи меня: просит вода.

И этому горькому чуду
я лёгкие слёзы утру.
Скажу — и себя позабуду.
Скажу — и от счастья умру...

* * *

Там, где встречается время
с вечностью и тишиной,
каждому камушку в темя
дышит Господь ледяной,
ветер становится лесом,
вкопанным в землю, волной —
озеро пахнет железом,
пятой последней струной
и пятерней и десницей,
пятью Полярной Звезды...

Ветер срывается птицей.
Это дрозды.



* * *

Тычется в темя иная вода.
Дышит прекрасная страшная птица.
Смерть тебя выродит прямо туда,
где нерождённые жаждут родиться.
Чувствуешь: трогают руки, плечо,
любят лицо, вещество лобовое...

Вот и узнал ты, как горячо
плачущее и живое.

* * *

Бог сегодня белый, потому что снег.
Небо вырастает прямо из-под век.
Морем проплывает снизу вверх слеза,
и земля целует голые глаза.

Время остывает и лежит в горсти,
чтобы тёмным снегом в белый снег сползти.
И слеза светлеет в ледяном огне,
потому что белый Бог болит во мне.

* * *

Дров объятье, когда их несёшь:
прижимаются — чувствуешь леса дрожь.
Дерева убиенного годовое кольцо
прижигает смолой лицо.

И воды, колодезной, ледяной
да разбавленной до хруста господней слюной,
три пощёчины утренних, чтобы жечь
рот, разжёванный в речь.

Хорошо, когда топится в доме печь.
Хорошо. Можно, крылья расправив, лечь.
Ветер заглядывает до слёз, закусив губу,
в печную трубу.

* * *

Что за повесть Ты пишешь на моём лице:
в зеркале — книга, оконная рама —
читаешь не слева, не справа —
направо, налево, а прямо,
понимая, что будет в конце.
Временем пишешь. Испещрено
всё, что смерть пустотой наполнит.
Зеркало ахнет, впустивши в себя окно.
Зеркало знает. Зеркало помнит.



* * *

Накройте Андреевским флагом
озябшую душу мою.
И — шагом, и шагом, и шагом —
отсюда... А я — постою,
где всё, что слеза и ресницы,
в серебряный иней срослось.
И белые-белые птицы
меня пролетают насквозь.

* * *

Как песня, поле спит —
молчит и копит слёзы,
без топота копыт
вдоль неба ходят козы —
четыре или пять:
в глазах у них морозы,
червонцы и стрекозы
и волчья благодать.

Как песня, поле спит —
и песня спит, как поле,
как по ночам в глаголе
несовершенный вид
печали горловой,
чтоб сумрак голубой
насытился очами...
Чтоб снегом, как молчаньем
накрыться с головой.

* * *

Поговори со мной,
качая дождь, как ветку.
Закурим по одной —
сломаешь сигаретку.
Поговори со мной,
и я узнаю, где ты.

Вся жизнь моя длиной
в две сигареты...

* * *

И бог был боль. И боль была,
как снег — зола, белым-бела,
и смахивала со стола
в ладошку крошки как попало
и по-крестьянски в рот бросала,
и на ресницах зависала,

сияла богу своему
звездой в суму, слезой в тюрьму,
и тьма высвечивала тьму
и белой болью мир спасала,
уже не нужный никому...

* * *

С разбитой, нетронутой рожей —
шаг в сторону, в сторону шаг —
идёшь себе, местный прохожий,
стоишь себе, местный чужак.

Тебе это место знакомо —
другого уже не найдёшь.
На два исправительных дома
ты дважды, счастливый, живёшь.

И ныне, одетый в больницу,
из бледных не выпустишь уст
синицу по имени птица,
калину по имени куст.



Ким БАЛКОВ

НЕТЛЕННЫЙ

Рассказ

Моему другу и брату по духу
Батору Тумунову

ИЗ ГАЗЕТ:

«В сентябре 2002 года бывший глава бурятских буддистов Пандито Хамбо Лама Итигэлов вернулся в наш мир. Его тело было перенесено в монастырь. Там для него был выстроен Благословенный дворец. Его тело продолжает жить по сей день».

«Выписка из врачебного заключения: “Труп мужчины в сидячем положении, ноги согнуты в коленях, а голени со стопами перекрещены. Без признаков гниения. Какие-то запахи от тела не определялись. Мягкие ткани эластичные, подвижность суставов сохранена. Следов бальзамирования или консервации не обнаружено”».

«Когда тело извлекали из земли, от него шло очень сильное благоухание. Теперь драгоценное тело, помещённое в Дуган, два раза в месяц переодевают, протирают лицо маслом. Никакого запаха от него нет. Он сидит там при комнатной температуре, дышит тем же воздухом, что и мы с вами. Никакой холодильной камеры рядом с ним нет».

«Я была потрясена. Надавила на живот, а он мягкий. Прикоснулась к рукам — суставы подвижные. Проще говоря, ткани тела не отличаются от тканей живого человека. Современной науке неизвестно такое состояние тела, пролежавшего в земле более семидесяти лет».

Отшельник сидел на песчаном берегу круглого и прозрачного озера с сияющими блёстками донных камней, промеж которых шустро и бойко, обгоняя друг друга и взвихривая пузырьчато-синюю воду, плавали сребротелые рыбки. Он смотрел, как они суетились, сталкивались, а думал о чём-то другом, чему и названия не сыщешь, о чём-то умиротворённом и сияющем, вроде бы принадлежащем этому миру, хотя бы той же задыхающейся от лютой жары и безводья просторной бурятской степи или темновато-серому небу, заволоченному по краям чёрными грозowymi тучами. Наверное, и им тоже, но ещё и чему-то большому и сильному, рождённому в его сознании и ныне пребывающему в покое. Про этот его покой не скажешь, что он однообразен и никакому действию, исходящему от небес, не подвержен. Наблюдается в нём нечто соединяющее его с вечным небом, пусть и поверхностно и чуть только примечаемо, вроде лёгкого ветерка, едва коснувшегося строгого, как будто



закаменелого в живой неподвижности — смуглого с тёмными длинными бровями лица отшельника и тут же бесследно пропавшего.

Про отшельника говорили, что он достиг прямого постижения Истины — Пустоты — великой реальности всех явлений. Пожалуй, они были правы. Многие из того, что совершалось в его окружении, он попросту не замечал, а если обращал на что-то внимание, то словно бы со стороны, без какого-либо стремления осмыслить происходящее. Всё в его существе ныне было обращено к свету, рождённому в его сознании. Он охотно подчинялся этому непрестанному, ни на минуту не угасающему сиянию, как бы застывшему в недвижении. И делал это со всё большим удовольствием, чем ближе приближался к нему своей мыслью. Всё в его существе было подчиняемо чему-то дальнему и неизбежному, не имеющему обозначения в земной жизни. И надо было сильно постараться, чтобы не потерять благодати, что приобретена им за многие годы существования в ближних пространствах. Впрочем, держать себя в напряжении, хотя бы и лёгком и ни к чему не подвигающем, стало для него привычной необходимостью. За нею если что-то и стояло, то никак не связанное с землёй иль с небом.

Он стал отшельником не потому, что устал от пребывания среди братьев-монахов, не оттого, что оттолкнуло его что-то от привычной жизни в буддистском монастыре, где он достиг высоты необычайной в продвижении своей мысли. Нет, конечно. Просто для того, чтобы закрепить в теле отодвинутость от ближней жизни, которая позволила бы спокойно предаваться созерцанию и пить целительную влагу, исходящую от него, и попытаться так слиться с окружающим миром, чтоб осознать себя сущим на земле, хотя бы той же травинкой, что ныне касается его руки и вроде бы даже слегка щекочет, иль одиноко взросшей на берегу Саган-нура белой березкой, тень от которой падает к его ногам, легкая и дрожащая, и точно бы нашёптывает о чём-то мерцающе неизбежном, может статься, о грусти, что живёт в каждой ветке слабого деревца, ему надобно продвинуться ещё дальше в своих созерцаниях, еще глубже проникнуть в истинный смысл их. И надо быть слепым, чтоб не увидеть этого. А он увидел и сказал негромко, погладив худотелую берёзку тонкой тёплой ладонью:

— И хорошо, что я способен подвинуть себя к миру живущих и не потеряться там, где столько неприкаянных душ. И да будет с ними моё благословение!

Он сказал так и закрыл глаза, и привиделось ему, седоголовому старцу, усмирившему поток времени, будто он мальчик, лет семи, пожалуй, и бредёт он вместе с отарой по степи, не поспешая, ведёт овец к водопою, который устроен на Белом озере чуть повыше того места, где теперь сидел, предавшись размышлению, и не тому, что уводит в края дивные, расцвеченные неземными красками, а направленному к чему-то обычному, подвигающему по годам, что пройдены им в земной жизни. Он увидел себя черноголовым мальчиком. Тот помахивал хворостинкой, но так, для порядку, овцы-то были послушны его воле, не норовили сбечь. Однако скоро что-то случилось, отчего овцы сбились в круг, испуганно блея. Он не сразу понял, что произошло, лишь погода углядел сидящего в стороне от отары матёрого желтомордого волка и попервости изрядно струхнул, но потом, подчиняясь чему-то властному и упрямому, обретшему в нём пристанище, унял страх и пошёл к тому месту, где сидел зверь. А подойдя, остановился, посмотрел в налитые лютой злобой волчьи глаза и что-то сказал. Он и сам не понял, что именно, откуда взялись те слова, что слетели с его языка, они явно принадлежали кому-то ещё. Но он не хотел знать, кому. Наверно, потому, что это не имело теперь значения. Угадаешь ли всё, что совершается в душе?

Он остановился близ степного зверя и поднял руку, а потом протянул её в ту сторону, куда ему хотелось, чтобы волк ушёл. И тот, хотя и не сразу, лишь время спустя, которого, однако, хватило, чтоб спина у мальчика покрылась холодным потом, вытянул морду и искоса поглядев, но без прежней лютости, подчинившись



чему-то скрывающемуся за спиной мальчика, зависшему над ближним миром и управляющему им, стронулся с места и растворился в наплывающем на полуденную степь зыбком, скользящем мареве.

Седоголовый отшельник ныне подошёл к порогу, за которым, он знал, откроется глубинное, не размытое в пространстве, нечто, дарующее свет Истины, доступной лишь малому числу людей. К ним он относил себя. И не потому, что так хотелось: всякое желание есть свойство ума слабого, цепляющегося за ближние веки, а потому, что его существо и ныне, и прежде было омываемо волнами знаний. Иной раз своенравными и дерзкими. И он не всегда умел укротить их. И, может, никогда не укротил бы, если бы с малолетства не осознал того, что лишь полным смирением достигается предел, к которому устремлено сущее в человеке. Сей предел есть не что иное, как тихое, в себе самом, никому не подчиняемое, но никого и не отталкивающее продвижение к Истине.

Да, ему было непросто продвигаться по этому пути. Впрочем, что значит — непросто? Чрезвычайно сложно оказалось постигнуть то, что вдруг поселилось в сознании, как бы отколовшись от небесного пространства, вроде бы даже соединившее его с ним, безмерным. Удивительно, как он находил для этого силы даже в ту пору, когда был мальчиком. Но факт остаётся фактом. Он сумел постичь себя, когда в нём обозначилась тяга к знаниям. И не просто абы к каким, а к тем, что ведут нехоженными небесными тропами.

Ему едва исполнилось пятнадцать лет, когда он услышал о том, что в Анинском дацане молодые люди обучаются разным премудростям, отчего жизнь их наполняется смыслом, надобным не только им. И это, услышанное, надёжно осело в памяти, обрело некую заданность, без которой он уже не мыслил себя. И где-то по весне, когда в степи началось таянье снега, а по низинкам протянулись тонкие рваные нити ручейков, он ушёл от хозяина. Тогда он был уже не мальчиком, любившим побродить по изножьям сопок, зависших над долиной, невесть кем вообразив себя, но — добрым человеком, способным помочь и малой осинке, вдруг утратившей стойкость и сникшей, и старому изюбру, почуявшему приближение смерти, но сбившемуся с тропы, что привела бы его, как и многих других, в изножье круторогой скалы близ неподвижного глухого болота, где он смог бы обрести смертный покой. Мальчик сделался старше, хотя и теперь в своём воображении он рисовал картины, что были одна ярче другой, он готов был придти на помощь по первому же зову. И оттого, что это происходило с ним так, а не как-то по-другому, было приятно. В такие минуты он сознавал себя способным проникнуть в истинный смысл совершаемого в пространстве. Понять малую травинку, у которой, как полагал, было не меньше прав, чем у него, пользоваться тем, что дала Матерь Земля и вечно синее Небо — всесильный Отец, наблюдающий за миром живых и мёртвых. Да будет осиян немеркнущим светом Их Престол и да не угаснет всевидящее Их око!..

Он уже и в ту пору, когда приглядывал за хозяйскими овцами, мог выкинуть такое, что даже его хозяева, привыкшие ко всему на свете, диву давались: отчего сын покойного Мантагарая Итигэла не похож на обыкновенного ребёнка, а как будто бы старше своих лет, отчего норовит повернуть их жизни и наполнить их смыслом, о котором они допрежь понятия не имели?.. К примеру, однажды он сказал, что лето нынче ожидается засушливое и трава в степи поникнет, делается сухой и безвкусной, и, если не увести отару в ближние сопки, хотя бы и в малости сокрытые от жгучих солнечных лучей, начнётся падёж скота. Хозяева, поразмыслив, так и поступили, и не потому, что поверили мальчонке, а по какой-то другой причине, вдруг что-то подвинувшей в них. Они и впрямь в тот год угадали. Что происходило в душе у мальчика, они так и не постигли. И всё ж стали относиться к нему по-другому и уж не подгоняли его, не поторапливали и довольствовались тем, что он и как он делал. А когда узнали, что он ушёл от



них, никому не сказав, куда и зачем, приняли это спокойно и не кинулись искать его, теперь уже понимая, что он ведом не ими, а другой силой и другой мыслью, до которой им не дотянуться.

Отшельнику было пятнадцать лет, когда он вошёл в ворота Анинского дацана и был встречен монашьей братией. И почти четверть века, приняв монашество, он провёл за его стенами, постигая знания. И не только те, что были на книжных страницах, нередко необычайно древних, к коим и прикоснуться-то лишний раз робко: что как страница не выдержит и рассыплется?.. — а ещё и от общения с мудрым настоятелем храма Хойтой Ламхой Аюшиным. Тот всю жизнь искал Истину и хотел бы, чтоб и его ученики, в том числе и Ширэтэ Итигэлов, не сходили с тропы, которую выбрал он и которая казалась единственно верной. О чём-то другом он и помыслить не мог. Не мог поступить иначе и молодой Ширэтэ Итигэлов, хотя в его сознании, очищенном от того, что мешало предаваться созерцанию, много чего сохранялось. Да, уже тогда он понимал, что труден путь к Истине, и не каждому монаху удастся пройти по нему, многие так и останутся в изножье Истины. Впрочем, это тоже благо, ибо что есть осиянность ею, как не обещание чистой и непорочной жизни и Божьего света в конце пути? Молодой монах понимал это, как и то, что в нём живёт некто, чьим перерождением назовут его, когда он станет Пандито хамбо-ламой. Ещё когда водил отару овец по просторной бурятской степи, ощущал он в себе эту вторую жизнь. И нередко говорил с охранителем её, спрашивал совета, и тот, случалось, отвечал, но чаще отступал в сторону и уж оттуда наблюдал за ним, одобрительно побряхтывая, но порой — осуждающе покачивая седой головой. Это случалось, когда мальчонка заигрывался и забывал про всё на свете. Надо сказать, обычно он играл сам с собою, и для этого ему не надо было, чтоб рядом с ним находился кто-то ещё. Зачем?.. В эти минуты у него рождалось чувство, как если бы он был не один. А и впрямь — не один. Тот, кто стал его частью, хотя и воображаемой, умел посочувствовать ему, коль скоро что-то не ладилось в игре. Впрочем, была ли это только игра? Вряд ли. Порой, даже пребывая в сильной увлечённости, мальчонка вдруг да и ловил себя на мысли, что небо и земля так просторны и столько разных больших и малых существ населяют их, что дух захватывает от одного только перечисления. Посещала мысль, что несладко им всем приходится в той тесноте, нередко они сшибаются друг с другом и ищут успокоение себе. Но найдут ли?.. В эти мгновения сомнение нападало на него, и было оно горькое и томительное. Если бы это сомнение принадлежало кому-то другому, а не ему, выходцу из древнего рода, отмеченному особенным пониманием всего, что совершается в ближнем и дальнем мире, вряд ли тот сумел бы совладать с ним. Но в том-то и дело, что Ширэтэ Итигэлов был сыном своего отца и выказал упорство в постижении духа, жившего в нем. Вовсе не случайно он совсем ещё юным покинул юрту старого скотовода. Иной раз он остро ощущал свою подчинённость высшей идее. И, хотя иной раз было непросто сдерживать нечто влекущее, по-юношески азартное и горячее, чем можно было и обжечься, он продолжал упорно следовать предначертанной ему тропой. И пусть она порой проглядывала едва приметным пунктиром, не сразу и разглядишь её, он знал, придёт время, и он ступит на отведённый ему высшей идеей путь уже осознанно и не сойдёт с него.

Так и случилось. Едва ли не в первый же день пребывания в дацане Ширэтэ Итигэлов услышал слова о человеческом страдании — корне земных бед, от которых не так-то просто избавиться, однако необходимо это сделать, если поставлена цель — достичь Истины.

Старый монах, настоятель монастыря, говорил почти скорбно, глядя в даль, занавешенную тёмными упругими тучами:

— Само появление на свет человека возможно только через страдание матери. Нет другого пути. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что мы с самого рождения знаем, чего ждать от жизни, через какие формы она проходит, прежде



чем осияется хотя бы и слабым светом. Этого света хватает ненадолго. И только для того, чтобы вместить в младенца сознание, пока ещё чуть только отмечаемое в пространстве. Что это, как не открытие двери в жизнь, где преобладают, к сожалению, людские страдания, а ещё — неприкаянность и гонимость живых существ? Для них характерно ни на минуту не прекращающееся движение. Оттого и муки, и конечный горестный исход.

Старый монах часто вспоминал вещие слова Вседержителя Истины, блаженного Будды, который говорил своим ученикам:

— Существует две крайности, о тапасы, от них следует держаться подальше тем, кто ведёт духовную жизнь. Первая — жажда удовольствий. Надобно ли утолять её и жить, постоянно преисполняясь веселья? Благородно ли это, не противно ли разуму человека? Другая же крайность — в стремлении умерщвлять собственную плоть. Это и печально, и тщетно и ведёт лишь к смене формы и к ещё одному перерождению, поток которых упрям и нескончаем. Но есть путь, я открыл его, путь, пролегающий посередине. Срединный путь ведёт к покою, к Просветлению, к Нирване. В нём восемь ветвей, вот они: чистая, ничем не запятнанная вера, чистая память, чистые размышления, чистая устремлённость к Истине, чистая, ни к чему дурному не влекущая речь, чистое, к добру направляемое действие.

Ширэтэ Итигэлов сознавал необходимость как можно скорее вступить на восьмеричный путь. Ему не хотелось терять времени, что-то живущее в нём подталкивало его к насыщению собственной мысли новыми устремлениями и открытиями. Прежде всего, открытиями в самом себе. Он научился избавляться от желаний, а потом и вовсе прекратил их суетный, угнетающий поток. Однажды он проснулся посреди ночи с удивительно ясным, даже прозрачным осознанием себя, очистившимся от желаний. Он проснулся и сказал в темноту ночи спокойно и уверенно:

— Наконец-то я подошёл к порогу, где меня ожидает извечно облечённое в неземную благодать, тихое, ни к чему не влекущее, ни на мгновение не страгиваемое успокоение сущего во мне, а так же и во всём том, к чему станут прикасаться мои руки и к чему будет устремлён мой ум. Я совершил то, для чего и был призван на землю.

Он вышел в степь и долго-долго бродил чернотропьем, наблюдая за тем, как умиротворённо светят звёзды, и у него возникло чувство, что не звёзды это, а костры, множество костров, разведённых в степи под открытым небом. И к каждому костру он волен подойти и говорить сидящим вокруг него единоверцам о том, что поможет ему повести когда-нибудь за собой людей его племени. Да, прежде всего их. Он и раньше догадывался, что не только для него всё то, что открылось ему и ещё откроется, а и для его степного народа.

С тех пор минули годы, окрашенные в разные, нередко в трагические тона. Они беспокоили, но только той своей частью, что была невидима другими, зато отчётливо сознаваема всем его существом. У него появились ученики, много учеников. Не все умели даже приблизиться к Истине, которую он хотел бы донести до них. Однако и к худшему из них он относился ровно и спокойно, был уверен, что и для слабейшего сыщется нечто, способное подвинуть его к благодати.

Однажды он сказал, отойдя от созерцания, от состояния духовного недвижения:

— Буддизм — это не религия, не наука и не философия, это осознание себя человеком свободным, властным над собственной жизнью, когда человек вправе делать так, чтобы эта жизнь была нужна не только ему, но и всему миру. Человек рождается свободным, и от него зависит, кем станет он годы спустя: тщетно ли старым или способным слиться с окружающим миром живых существ, чтобы подвинуть их к перерождению, которое не будет тягостным. Я говорю: человек есть венец природы, но не господин её, он лишь часть сущего, хотя бы и наполненная глубоким пониманием своего места в мире. Только в содружестве со всем живущим человек обретёт истинное своё лицо. И да исполнится так, хотя бы и не в ближайшее время!



Он сумел подчинить себе время, которое было необходимо для приобретения знаний, он спал в сутки часа два, ну, может, три, и не чувствовал усталости, всё в нём нынче срослось, сделалось подчиняемо воспитанию собственного всеблагого духа. Спустя годы он достиг того, что стал ощущать себя не только отдельно живущим человеком, но и пространством, чаще пустынным, отодвинувшимся от прежних перерождений, а ещё и Матерью Землёй, осознавшей невозможность обрести покой и тягостно переживающей это своё душевное состояние. Он был монахом, помогающим ближнему в его продвижении по жизни, и в то же время он был всем сразу, огромным и сиятельным, как небо, и он нередко уносился в те дали, где ещё никто не был.

Именно в ту пору его, указавшего, где закопаны колокольчик и ваджра первого в бурятских степях Пандито хамбо-ламы, давным-давно поменявшего форму и обретшего покой рядом с просветлённым всеблагим Учителем мира, избрали Верховным управителем всех буддистов России и стали величать Пандито хамбо-ламой XII. Он не сказал бы, хотел ли он этого, как не сказал бы, что не ждал этого. С тех пор многое поменялось в его жизни, иной раз — лишь внешне запечатлённого, потому что не всегда удавалось ему отойти от созерцания и поглядеть на то, что совершалось вокруг него. Всё ж случались минуты, когда он делался обыкновенно живущим человеком и, к примеру, прилагал усилия к строительству Дугана для бурятских казаков, где служивые люди могли бы отойти сердцем от привычной суетливой жизни и хотя бы ненадолго предаться размышлению. А когда далеко на Западе началась большая страшная война, Пандито хамбо-лама XII пожертвовал все свои сбережения для тех, кто пострадал в этой войне. Впрочем, много ли у него было сбережений? Так, самая малость, тысяч пятнадцать, пожалуй. Рублей, конечно.

В те годы он много ездил по России, встречался не только с буддистами, но и с людьми других верований. А однажды был приглашён во дворец к Государю Императору Николаю Александровичу. И говорил с ним. Тогда же уловил в его облике, в больших грустных глазах, в том, как говорил Государь, негромко и вроде бы неуверенно, нечто, сказавшее ему о трагическом исходе Дома Романовых, о горестной судьбе царя и его многочисленной семьи.

Пандито хамбо-лама XII мысленно перенёсся в те годы, когда произойдёт это, и у него мучительно сжалось сердце. Вначале он намеревался сказать Государю о своём предвидении, но потом подумал, что это ничего не изменит, а только ещё больше опечалит Императора, и промолчал. Однажды данное силой Вседержителя останется неизменно, даже если встретит на своём пути преграду. Неиссякаем временной поток, хоть и быстротечен. Следование за ним есть свойство сущего.

Много чего довелось увидеть Пандито хамбо-ламе XII во время поездок по стране. Он чувствовал, как надвигалось страшное время, когда брат пойдёт на брата, а дочь предаст своего отца. Он видел мутные реки ненависти, растекшиеся по российским землям, и пытался что-то делать, хотя и понимал тщету своих усилий, и мучительно страдал от этого. И уж вовсе становилось тягостно на сердце, когда воочию сталкивался с потоками этой ненависти в своём народе. Он старался уменьшить их, и кое в чём преуспел. Что-то вроде бы сошло на людей, живущих близ Байкала, отчего в их душах усилилась тяга к Божьему свету. Они слушали старого монаха и проникались его мыслями и хотели бы следовать за ним.

Он смотрел на людей своего племени и жалел их. Знал, через малое время иссякнет порыв к Божьему свету, и тьма-тьмушая покроет души. И ещё не скоро они обретут себя в ближнем мире. Он и работает ныне для того, чтобы день этот наступил как можно быстрее. Впрочем, до него ещё далеко. Может, много дальше, чем думал он сам. А смута, растекшаяся по земле огромными грязевыми потоками, вот она, рядом. И нельзя было одолеть её. Даже ему, осознавшему всем сердцем благо, дарованное земному миру и подвигающее людей к совершенству, не всегда

удавалось обрести надобный для праведной мысли покой и хранимое Богами нестрагивание.

А состояние здоровья, не душевного, конечно, меж тем ухудшалось, и он вынужден был сложить с себя обязанности Верховного управителя буддистов России и вернуться в родной дацан. Там он пробыл какое-то время, пока не ушёл в отшельники. Он сделал это, чтобы укрепить дух в себе и ещё больше наполнить его благодатью, так нужной людям бурятских степей.

15 июня 1927 года старец покинул место своего отшельничества и пришёл в дацан, где в своё время преподавал хуваракам чойру, и сказал обступившим его ламам:

— Самое совершенное в людях — это то, что они когда-то умирают. — Вздохнув, продолжил: — Мне теперь 75. Столько же было Пандито хамбо-ламе I, когда он поменял форму. А ещё через семьдесят пять лет он вошёл в моё сознание и сказал, что я есть его перерождение.

Ламы со вниманием слушали старца, и мнилось им, что над его головой сияет свет. Надо полагать, это был свет Истины.

— Я нынче поменяю форму. Но я вернусь на землю. Может, через тысячу лет. Но, может, и раньше, коль скоро людям понадобится моё благословение. Я оставляю вам, о почтенные, мысли, которые вы найдёте в моих сочинениях, а ещё своё нетленное тело. Больше у меня ничего нет.

А когда старец поменял форму, ламы помогли ему принять позу лотоса и поместили в кедровый короб бумхэнэ и закопали в местности Хухэ-Зурхэн. А десятиго сентября 2002 года уже нынешние ламы, подвигаемые видениями, что стали приходиться к ним не только во сне, но и наяву, вскрыли его могилу и увидели там белоголового старца, сидящего в позе лотоса. И был старец живой. . . Так подумали те, кто откопал его. Сам-то он знал, что это не так: жил он ныне, сделавшись Буддой, в другом измерении. Но снова посетил землю, озабочаясь судьбой своего народа, впавшего в растерянность и смущение от того, с чем довелось ему столкнуться в жизни. Он пришёл, чтобы укрепить в нём дух. И теперь смотрел на людей, нескончаемой вереницей спешающих к Дугану, куда поместили его нетленное тело, и едва приметно улыбался. И сияло небо, и воздух был чист и прозрачен.



Александр ОРЛОВ

СОЛНЦЕ ВОЗЛЕ ХРАМА

* * *

Пронесётся прочь дождевые набеги,
В полях оставляя следы.
И грезится мне, за ручьём печенеги
Восстали из мутной среды.

.....

Исход неизбежен в обугленной сече,
Исчезли Семендер, Итиль...
Нас время рубцует, корёжит, калечит...
Изводит в кромешную пыль.

И солнце с ухмылкой свирепого Куря
Вспороло промокшую тьму.
Накрыла надменно пурпурная буря
Шоссе голубую тесьму.

СТАРИЦА

Расписная косынка,
Свет в глазах не померк,
Не старушка — тростинка,
А брала Кёнигсберг.

Говорит: «Знаешь, сколько
В равелинах ребят,
И Серёжа, и Ольга,
И Егорыч лежат...»



После минного взрыва
 Меня вынес майор», —
 И пошла горделиво
 На обедню в притвор.

Память годы полощет,
 Превращая в дымок.
 В этой яростной мощи
 Всей Руси оселок.

* * *

Помню, учили меня быть надёжным и смелым.
 Всё поменялось с тех пор, но иду я к тебе,
 Роща, где дед закопал навсегда парабеллум,
 Центр села, где висел его брат на столбе.

Кажется мне, я иду по киноварному полю,
 Прадеда кто-то уводит к расстрельному рву,
 Сон не обманешь, он рвётся пытливо на волю,
 Я его власть только с первым лучом оборву.

Снова под утро тревожат скурые просветы,
 Наши свиданья с родней обречённо редки.
 Грозным Смоленском в стальное подымье одеты
 Мельница, сад и наш дом у истока реки.

РЖЕВ

*И никто перед нами
 Из живых не в долгу,
 Кто из рук наших знамя
 Подхватил на бегу...*

Александр Твардовский

Кто справа был, а кто был слева —
 Сейчас уже не вспомнить мне —
 Когда в окопной тишине,
 В лесах, израненных у Ржева,
 Мы тосковали о войне.

От смерти землю очищая,
 Срезая жизни бурый пласт,
 Мы верили, нас не предаст
 Погибших слава фронтовая,
 Войны и мира в ней контраст.

Мы собиратели мощей.
 Мы той же богатырской плоти.
 Вы павших имена прочтёте
 Не в глубине седых полей —
 В сердцах людей, на обороте.

ДОРОГОБУЖ

Со дна июньских тёплых луж
Тянуло мёдом, льном и кожей,
И вечер, вежливый прохожий,
Нас пригласил в Дорогобуж.

Где дождь, задумчив и покоен,
Кропил торговые ряды,
И большегрузные следы,
И дух усопших маслобоен,

Полки канатной конопли,
И залежи пластичной глины,
Мещанских домиков руины,
И плитфы кривичей в пыли,

И колченогих стариков
У перекошенной ограды,
Их опалённые награды
За Сандомир и Кишинёв.

Дождь лил, слоняясь по дворам,
Передохнул в тиши сарая,
Кусты и грядки освежая,
Ушёл к блестящим куполам,

Где жизнь доверчива, мудра,
Щедра, смиренна и упряма,
Сокрыта от Москвы и гама,
Где дремлет солнце возле храма
Петра и Павла,
Павла и Петра.



Виталий КРЕКОВ

ЦАРСТВО БОЖИЕ

Р а с с к а з

С пенсионки баба Тася перво-наперво брала пол-литра водки и серый зельц. И уже потом — пару пачек растительного сала, минтай и другие «деликатесы», а картошка, капуста, помидоришки, выжившие в озверевших сорняках огорода, давали половину основы питания. Табак баба Тася курила самый дешевый. Он был крепок, малодымен, плохо насыщал душу, поэтому курить его приходилось часто.

Последние две зимы баба Тася жила одна и была полновластной хозяйкой ветхой избы, которая стремительно уходила в небытие. Многие избы, что были покрепче, и то смыло время. И все примерно так, как у Шуры Гайнулиной. Сама умерла, сыновья по тюрьмам сидят. А дальше — сломали замки, развалили печь, выбили рамы, сорвали полы, разрушили стены, завалили мусором. Нижние Заречные снесли как-то враз — и чисто. Всем дали новые квартиры в панельных домах и общежитиях-малосемейках. Провели центральную теплотрассу. Там, где кипела весь советский период жизнь, все стало исчезать из памяти, вместе с вопросом: «А были вы? А жили вы?» И ответом: «И не были! И не жили!»

Баба Тася открывала свои многолетние тайны сестре Анне. Говорила о своем последнем муже, Володеньке. Он у нее в тюрьму и не садился, а просто бросил ее тогда в Рубцовске. Рассказала про соседа Фёдора и про не любившую его тещу. Которая ненавидела его и бабу Тасю за то, что Фёдор заходил к Тасе, и они вместе выпивали.

Как-то баба Тася стала худеть и терять силы, все поговаривая: «Я ем, а меня еда ест». Мать девахи, которая в то время жила у Таси, заметила такое дело и сказала, что ее «скурочили», обещала поправить. И поправила молитвами да оберегом, который заставила носить при себе.

Однажды теща Фёдора, копаясь в огороде, на котором не было избы, увидела Тасю и сказала ей:

— Смотри-ка, еще жива!

— Да, вот, живу, — смиренно ответила баба Тася.

— А я ведь тебе на год делала, — зло заявила теща Фёдора.

И баба Тася вспомнила золу, насыпанную у калитки и в огороде.

Фёдор, приходивший распить совместно бутылку водки, хмелея, пел песни, а однажды, озверев, с пеной у рта нещадно изломал бабу Тасю и немедленно ушел. Она обо всем мужественно молчала. И только когда не стало тещи и затерялся Фё-



дор, проговорилась сестре об этой последней тайне, которая душила ее. Это было в последнее лето ее жизни.

Первые две недели сентября, последнего в жизни бабы Таси, были сырими и холодными. Уже не пойдешь по-летнему в пиджачке. Надевай свитер да плащ, легкое пальто да кофту. В пятницу баба Тася ходила в продуктовый магазин «Русское поле» за суповым набором. Там и увидела свою родственницу Степаниду Бударину, тетку по дальней линии родства, ровесницу. Тетка Степанида сообщила, что сын Юрка умер от сердечной недостаточности год назад, приглашала в субботу прийти помянуть страдальца. Вы думаете, баба Тася отказалась? Да ничуть! Наоборот, позаботилась прийти пораньше, да и другие лица, которых позвали, не припозднились, а явились, как и баба Тася, загодя и ждали. Так как покойный Юрка жил с матерью Степанидой на первом этаже в однокомнатной квартире, то ждали на лавках во дворе, накрапывал дождь, было холодновато. Баба Тася, ожидая приглашения к столу, не на шутку перемерзла. Хотела пойти на проспект да погреться в продуктовом магазине, но, наконец, позвали.

В понедельник баба Тася заболела основательно. Ходила к ней жена племянника Артемия, ходила его мать. Баба Тася говорила сестре, что теперь уже не до выздоровления, говорила, что раньше сколько ни болела — все не так тяжело. Приходила врач, признала двустороннее воспаление легких, но даже в больницу не отправила.

Артемий решил попроведывать тетку в конце недели. Ведь и к безнадежно больным принято ходить: протапливать печь, предлагать горячую пищу. Да и Тася не хотела умирать внезапно: надо, на худой случай, хоть недельку поболеть.

В четверг перед обедом на территории базы, где работал Артемий, появилась его жена. Артемий понял, в чем дело. Душа у него сразу ослабла, стала как у ребенка от мысли о смерти.

— Что, умерла? — спросил он жену.

— Да, умерла, — ответила она.

Артемию хотелось по первому чувству побежать, засуетиться, дескать, помогите моему горю. Но голос в пространстве сказал: «У всех умирают, все хоронят и не кричат». Это успокоило Артемия, и он, предупредив начальство и взяв отпуск на два дня, поехал с женой на Заречную.

В избушке на Заречной было тепло и уютно, и как-то приятно по приходе с улицы, где сыплет дождь, где осенние просветленные лужицы и бедная смиренная красота. Скончалась баба Тася под утро, незадолго до прихода сестры. Когда сестра трогала, тормозила с вопросом — жива ли, мертва, — постель была еще теплая. Сестра собиралась накануне остаться с больной на ночь, но та стала отговаривать, мол, если умрет, то что сестра ночью делать станет. Попросила только оставить открытой дверь.

Когда пришел Артемий, соседки уже помыли покойницу, одели в чистое, бедное, уложили на лавку. Казалось, что это не баба Тася, а причесанная школьница, собравшаяся учиться жить по-новому. Артемий чуть всплакнул от мысли, что мало пожила баба Тася полноправной хозяйкой в этой ветхой избушке. Обмерив клеенчатым метром покойницу, поехал к столяру, вместе с которым трудился, заказывать домовину. Доски просить не стали, а просто пошли со столяром к котельной, которая не работала, угольный склад около нее был огорожен подобием забора. Его расхищали на мелкие нужды с тех пор как перешли на центральное отопление. За забором давили бездомных собак — на унты. То тут, то там валялись собачьи мумии. Доски от забора были серенькие, прокаленные солнцем. Домовина получилась мировая. Только вот Артемий размер взял с запасом, да и столяр дал прибавку, в итоге получилась широкая коротышка. Артемий рассчитался со столяром, попросил своего начальника отвезти домовину. Тот до самого вечера ходил по своим делам, а когда стало совсем темно, собрался ехать на своем про-рабском грузовичке. Не было креста. Артемий просил выписать немного бруса,



но завскладом объяснила, что лес на сторону не выписывают и даже не продают. Еще за дерзкое хищение досок с забора мастеру не поздоровится.

Гроб и вправду оказался очень широким, необходимо было сужать, стесывать с основного массива немалую часть. Но стало темно, пошел дождь, решили отложить до утра и тогда же крест смастерить.

Делать крест Артемий пошел в столярку областного худфонда, что на главном проспекте. Там были древесина кедровой сосны, брус, толстые плахи значительной ширины. В столярной мастерской работали резчики, багетчики, рамщики. В то утро на месте находились трое. Договорились: каждому по пол-литра водки с закуской. Послали в спецмагазин Артемия. За время, что ушло на стояние в очереди, благодетели спроворили крест — точную копию креста, на котором страдал Спаситель, а не какой-нибудь крест-часовенку. Артемий поднял крест. Он был немного легче кислородного баллона, а кислородный баллон в армии он всегда носил сам и никого не просил в помощники. Крест с проспекта на Заречную решил донести тоже сам, потихоньку, с передыхом. Бесплатно никто не повезет. А деньги остались очень небольшие: на катафалк да на поминки. С тем и вышел, пересекая полотно проспекта. Подул ветер с мокрой сыпью, крест, обернутый плотной бумагой и напоминающий теперь балалайку, превратился в парус. Артемия водило из стороны в сторону. Сердце сильно стучало. Бумага, державшаяся на канцелярских кнопках, срывалась, отходила крупными клочьями и уже не скрывала столь необычную ношу.

После обеда приехали сестры из Курагино, Нина и Зоя, с разницей в возрасте где-то лет в сорок. Курагинские привезли мед, рыбу — крупного хариуса и озерного линя. Спросили мясорубку — накрутить мясо на фарш.

Сосед, шофер Володя, договорился с машиной. Галя Шакулова твердо пообещала послать своих застоявшихся мужчин с утра копать могилу.

Ко дню похорон баба Тася свяла, как без воды полевой цветок. Установилась теплая осенняя погода.

— Место хорошее. Какой простор, — вслух сказала сестра Зоя, что на десять лет была моложе сестры Таси.

На сорок дней баба Тася предстала перед племянником Артемием, которого больше всех любила, в холодном водянистом эфире с такой пронзительной ясностью, которой никогда не было при ее земной жизни. Она ничего не говорила.

— Ты чего здесь? — буднично спросил Артемий. — Мы ведь тебя похоронили. Как-то неудобно ходить к нам, маячить.

Видение исчезло. Избушку после сорока дней заняли дочь соседки с мужем. Соседка эта хорошо помогла в похоронах.

Прошло лет десять. Ниже, по остаткам Первой Заречной, начали строить добротные дома. На остатках Второй, что была ближе к забору областной больницы, все хирело. Только множились металлические гаражи, поставленные владельцами машин незаконно, нахально. В этих глухих местах вели себя как дома бродяги, наркоманы, выдирая все огородное, выскивая незрелые головки мака. Дочь соседки уже в избе не жила. У нее ночью с перепоя не проснулся муж, а саму позднее забил зек-сожителю. Так и лежала мертвая между грядок.

Артемию, племяннику бабы Таси, интересно было бы узнать, что снится по ночам олигархам, когда их мозги не в своей воле. Ведь всего у них в достатке: и детишкам на молочишко, и барбекю на полянах, и бабья при саунах. Но не видел он их, олигархов, не вышло поспрашивать.

Одно дело — воцерковленный народ. Там свет, бессмертное начальство, заслужившее свой чин духовными подвигами, там не речное течение жизни, а океан непреходящий. Кто это понимает, не станет завидовать толстосумам. Много нужно трудов, чтобы быть в этой единой семье, чтобы с упоением в душе перекреститься.

Другое дело — Артемий. Всегда перед получкой, когда на копеечном существовании, когда грызет нужда, снятся ему ветхие избы, по которым плутает он из комнаты в комнату, из убогости в убогость, опасаясь быть захваченным хозяевами. В одном из печальных повторений этих снов перед получкой Артемию привиделось послежизненное кладбищенское существование. И никаким здесь пляжем и не пахло, а люди бродили в непроглядной ночной темноте. Артемий признал бабу Тасю по тихому свету ее лица. Она сказала, что все ищут своих, о ком вспоминают. На вопрос Артемия о том, как ей здесь живется, она поведала, что приставлена к детям на послушание и нет никакого послабления от мучений.

— Было бы легче, если бы Емелька Пугачев помогал, а не бунтовал и не смущал людей разбойничать.

— А царство Божие не открывалось? — полюбопытствовал Артемий.

— Нет, — ответила баба Тася. — Редко, когда ангел пролетит высоко-высоко, вроде светлее станет. Я тебя попрошу, Артемий, молись за меня. Я ведь тебя всю жизнь любила. Молись!

И вот, во время очередного беспокойства от неопределенности при задержке получки, Артемию предстала Вторая Заречная.

Шел он по Заречной, где гаражи да редкие уцелевшие избы в непролазном снегу, сугробы сахалинские. Увидел соседа Володю и попросил у него лопату. Сосед молча принес лопату, и Артемий по крепкому снегу прошел до многострадальной избы — избы бабы Таси. Раскопал вход и, так как дверь была не на замке, вошел в избу. В избе, судя по кружкам плиты, топились печь, морщинистые стены и потолок были покрыты свежим набелом. На сундуке сидела чистая и спокойная баба Тася, будто школьница, готовая к познанию новой жизни. И не хотелось ни спрашивать, ни вспоминать, ни говорить. И хотя окна избы залеплены снегом, в комнате было светло. Артемий увидел под потолком узкую, во всю стену, щель. Из щели исходила такая глубокая лазурь, что у Артемия задрожали губы, и он заплакал. Только тогда баба Тася молвила: «Это ты отмолил мне у Бога благодать, племянничек».



Нина СТРУЧКОВА

**«САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ПЛАТЬЕ НАДЕНУ...»**

ПОГОРЕЛОВКА

Удивился гость московский:
— Есть у вас в России тёзки —
Погореловок не счесть!
— Не родня они, ну что же, —
Всё же обликом похожи,
И характер общий есть —

Что работать, что молиться,
Что страдать, что веселиться...
Только гордости в них нет.
Давят справа, давят слева,
Но давно уж ложка гнева
Утонула в бочке бед.

Хоть стара деревня с виду,
Поруганье и обиду
Терпит, но она живёт!
В ней огня не загасили,
И поэтому в России
Сохраняется народ.

Ну прощай же, гость столичный,
Сам ты всё увидел лично
И ответа не проси:
Почему в преддверье рая
Всё горят, а не сгорают
Погореловки Руси!

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБА

Изба деревенская скроена ладно,
В ней жарко зимою, а летом прохладно,
И крепко ее обнимает плетень.
В окладах икон — самодельные розы,
За ними — подсохшие ветки березы,
Их ставят в июне, на Троицын день.

Подушки пышны на высокой кровати,
А в кухне — простая посуда, полати,
Где можно и днем ненадолго прилечь.
Но главное в кухне — не роскошь убранства,
А символ надежности и постоянства,
Творение гения — русская печь.

С приданым сундук для взрослеющих дочек,
Клеенка в цветочек, обои в цветочек,
Полы, что скоблѣны, белы и чисты.
И яркою вышивкой радуют взоры
Накидки, платки, занавески, подзоры —
В деревне когда-то любили цветы!

Изба... Она стала седою и старой,
Не выйдет сюда заманить антиквара —
Кого этот памятник предкам прельстит!
Голландка не греет в большие морозы,
Слиняли цветы и бумажные розы...
Лишь ветер печально о вечном свистит.

* * *

Но для женщины прошлого нет...

И. Бунин

И для юности прошлого нет,
Нет и нас, доживающих в прошлом.
А из детства сияющий след
Пухом новых времен запылен.

Пусть живут, как им хочется жить,
Пусть минуют их беды-невзгоды.
Но из прошлого тянется нить
И связует прошедшие годы.

Только старость над прошлым дрожит,
Лишь она его в сердце лелеет,
И печально на юность глядит
И ее безнадежно жалеет...





УТРО

Когда лучи дотронутся до трав
И воспарит роса над мирозданием,
Тогда пойму, хотя и с опозданием:
Кто в этой жизни любит — тот и прав.

Лучи дрожат сквозь марево росы,
Дымится воздух в радужном сиянье,
Душа и мир затеплились в слиянье
Блаженства и божественной красоты.

А влага растворяется уже,
И станет день горячим и прозрачным,
Но долго-долго всяким чувствам мрачным
Не будет места в солнечной душе.

ОЖИДАНИЕ

С нами такое случается редко,
Долгая жизнь на разлуки бедна, —
Милый поехал на родину предков,
Я на хозяйстве осталась одна.

Не с кем делить наступившие будни,
Некого лаской своей ублажить.
Вот бы поспать хоть разок до полудня,
Вот бы для отдыха руки сложить

Или пойти прогуляться... Да что вы!
Будет ухожен мой сад-огород,
Будут к приезду закуски готовы,
И не осудит в деревне народ,

Если отъезд не сочту за измену,
Водки казенной куплю, так и быть,
Самое лучшее платье надену,
Милого встречу и буду любить.

МЫ ДОМА

Прошлая жизнь по дорогам растреплена,
Печка затоплена, свечка затеплена.

Темень такая, хоть глазоньки выколи!
Сядем, расскажем, как долюшку мыкали.

Всё, что нам выпало — выпито, пройдено,
Там — наша Родина, тут — наша родина.

Где б ни летали, ветрами несомые,
Малая родина всё же весомее.

С нею надеждою намертво сцеплены.
Печи затоплены. Свечи затеплены.

* * *

Осень творила свои беспорядки —
Сыпались листья на черные грядки,
Падали с яблонь сухие ранетки,
С северным ветром не спорили ветки,
А трава все равно зеленела.

Клин журавлиный летел невесомо,
Плакали окна веселого дома,
Дождик замешивал грязь на дорожке,
След оставляя на чистом порожке,
А трава все равно зеленела.

День — будто долгий простуженный вечер,
Думалось, что это будет навечно.
Вдруг долгожданное утро настало —
Всё заискрилось и всё заблестало!
Но трава...



Александр ГРАНОВСКИЙ

ДЕМОГОРГОН

Рассказ

— Сегодня на кладбище был, — сказал Рэн, с привычным хрустом поведя репой, словно проверяя ее готовность к действию.

Репа была лысой и бугристой, и каждый бугор Рэн знал наизусть, как эту дурацкую рекламу в телевизоре: «Пробил час Рэм. Когда кругом раздевают, Рэм одевает...».

Вот этот бугор — от скользящего удара битой в 92-ом, когда покойный Живот прислал своих гондонов в реале показать, кто в городе хозяин. Но Рэн окончил военное училище, и кое-что умел делать не задумываясь. Он и с этими гондонами сильно не задумывался, и первой попавшейся под руку оглоблей раскидал их, как котят. Потом эта «оглобля» стала известным депутатом по кличке Йоба.

Подходит к тебе, допустим, такая оглобля метра под два ростом и спрашивает с отеческой улыбкой:

— Ну, что, йоба?!

А позади гондоны тусуются, два крепыша в трениках, словно ни при чем.

— Ну, что, йоба?! — И ответить вроде нечего, лишь затравлено сопли пожевать. И тогда эти гондоны в трениках тут как тут — «пробил час Рэм... когда кругом раздевают...».

Остается лишь по совету другой рекламы «купить с'йобе немного Олби»... Или — «немного по лбу» — как тут же переиначили в народе.

Один Задрот, правда, нашел код, который даже Йоба еще не знал (потом этот Задрот стал главным советником Йобы по Борьбе).

Так вот, говорит ему, значит, Йоба:

— Ну, что, йоба?! — печально так говорит, потому что уже наперед знает, что последует дальше.

— Нет, я не йоба... я... другой... — сразу поплыл Задрот и вдруг начал читать стихи: — Ещё неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русскою душой.

Сейчас этот Задрот уже в столице нашей родины ездит на «Майбахе» и пьет Херши, который дарит вкус победы.



...Второй бугор на черепе Рэна — 94-й год, резко попер бизнес, но в «крыше» сменилась власть, и менты прихватили его по ошибке. Как бандита. Так как он в то время, честно говоря, и сам слегка косил под бандита. Но так было надо, чтобы лишних вопросов не вызывать.

Поэтому у него к ментам и претензий нет. Сам виноват. Только с памятью теперь «ху», особенно на разные хорошие слова. Например, так и не смог вспомнить хорошее слово «имбицил», которое до попадания к ментам любил, а после — как отрезало. А вот с плохими словами все в порядке. Словно птицы вылетают из гнезда.

Были на черепе Рэна ыи другие шишки. Но главное — жив, а точнее говоря, пока жив.

— Сегодня на кладбище был, — повторил Рэн, поудобнее устраиваясь в кресле.

— Все мы там будем, — сказал я, прицеливаясь иголкой Рэну в ухо, в главную точку «аши», или — «от ста болезней».

— Да, конечно, — поморщился Рэн, — но лично я не спешу. На «аллее героев» уже и мест нет. Такие из черного мрамора стоят красавцы. А ведь недавно это были люди — Живот! Земба! Пидор! Живот тогда пол-Европы под контролем держал. Уже начал президентов в отдельных странах назначать. Короче, валить надо... и чем быстрее, тем...

Последнюю мысль он закончил уже внутри себя, и я ее тут же закрепил на ухе иголкой в точке «шень-мень» («божественные врата»), словно наперед знал, что настало время Рэну их открывать.

— Вопрос только — куда? — сказал, заряжая в инжектор новую иглу.

— А вот это не вопрос, — сказал Рэн. — Были бы баблосы.

— Вон у твоих Пидора и Живота были баблосы.

— Вот и я о том же... валить надо.

— Хорошо там, где нас нет.

— Многих уже нет, а лучше не становится.

— Короче, Рэн, так... ты сейчас мощно загадай желание, а я поставлю т'йобе иголку в точку исполнения желания.

— А что, есть такая точка?

— У китайцев все есть.

— И ты знаешь эту точку?

— Я сен пень... — как говорил мой учитель китайский профессор Ху Ли.

— Только... — взволнованно задергал глазом Рэн. (Это у него включился нервный тик. Наверное, как всегда, хотел спросить, «сколько».)

— За исполнение желаний деньги не берут. В конечном счете их исполняет господь бог.

— Тогда ставь! Ты меня знаешь...

Рэна я действительно знал, и последнюю иглу со всей ответственностью поставил ему прямо в мозг, а точнее — в точку мозга.

От иголки тик сразу угас, что доказывало, что мозг у Рэна еще есть. Значит, и желание должно исполниться, потому что иголка — это антенна, а репа Рэна с ее буграми и ушами — передатчик. Врач — лишь посредник между человеком и тем, кто его создал по образу своему и подобию. Получалось, что наши желания — это и есть желания бога, которые бог просто не может не исполнить.

— Будем считать, что с этой минуты ты у бога на счетчике, — на всякий случай прояснил мысль.

— Якши.

Рэн закрыл глаза и какое-то время лежал без движения. Наверное, пытался представить себе бога, и как выглядит этот самый «счетчик», который чем-то был похож на всем известную битую Ёобы, только из красного дерева (подарочный вариант). И тогда бог послал ему истину, чтобы не думал о том, о чем и думать не следует, — где-то на семнадцатой минуте послал.



Даже мелькнула мысль, что по времени связи ($17 \text{ минут} = 17 \times 60 = 1200 \text{ секунд}$, которые надо умножить на скорость света — $300000 \text{ км в секунду}$... хотя не исключено, что скорость мысли может быть и больше скорости света) можно определить, где в этот момент находится бог. Получалось — далеко находится. Сразу за солнцем, где загадочная планета Нубиру (в одной газете писали), которую никто не видит... Как и бога... потому что солнце слепит глаза. А вот сам «счетчик» находится в телевизоре, и звать его Рэм (почти как Рэн, что, конечно же, не случайность), и сейчас пробьет колокол, а потом этот Рэм голосом бога скажет ему что-то очень важное...

Но колокол молчал. Он молчал и на секунде пятой, и шестой. А на седьмой секунде Рэн потрогал заветную шишку и сказал:

— Все равно валить надо.

Осень тогда наступила рано. Ветер гонял по пустынным улицам целлофановые пакеты и обрывки плакатов с наглядной агитацией. Со всех обрывков выглядывала какая-то часть знакомой морды Йобы, которого пытались баллотировать куда-то наверх, где уже прочно обосновался Задроут.

В газетах писали, что именно в эти дни наверху решались судьбы страны, которые без Йобы никак не могли решиться.

Вдруг, ни с того ни с сего, начали зарплату выплачивать в кастрюлях, утюгах и прочей продукции. Экономисты заверяли, что так должен быстрее заработать рынок, а с ним и весь остальной капитализм, который в нашей стране как-то сразу пошел наперекосяк.

Сперва долго не могли понять, куда девается прибавочная стоимость, есть ли она у нас вообще. Но Задроут доказал, что вся прибавочная стоимость пошла на построение социализма, а на его разрушение — надо брать займ. Причем еще больший, чем на построение, так как в своей известной формуле капитализма «деньги-товар-деньги» Карл Маркс не учел мусор. На самом деле эта формула должна выглядеть так: деньги-товар-мусор.

Задроут даже привел в пример Америку, процветание которой началось именно с мусора. Ибо, согласно его, Задрота—Маркса, формуле, мусор и есть главный продукт цивилизации. Просто надо научиться превращать его в деньги. А у нас почему-то бросились превращать мусор в товар. Что заставило формулу Задрота—Маркса работать задом наперед. И сейчас по его, Задрота, подсчетам мы находимся примерно в Англии... году эдак в 1811... когда началось движение луддитов, которые крушили свои станки и фабрики, чтобы снова появилась работа. Просто луддиты не догадались сдавать станки и прочие железяки на металлолом.

Но кто-то продолжал ходить на работу. Кто-то невидимый пек хл'йоб, а кто-то, еще более невидимый, выращивал картошку, на которую раньше посылали студентов.

Правда, в последнее время все студенты куда-то подевались, и картошку взяли на себя старухи. Они прознали, что где-то есть ничейные поля, и с рюкзаками и тележками по утрам штурмовали электрички, чтобы первыми захватить плацдарм.

И хотя добыча картошки на заросших сорняками ничейных полях была подобна добыче радия, назад они возвращались почти счастливыми. Казалось, глаза их светились в темноте, даже когда были закрыты.

Мой сосед, Казимир Петрович, из числа поляков, выселенных после войны из Львова, по секрету сообщил, что уже установил буржуйку и по улицам собирал обрывки морды Йобы на растопку.

В какой-то момент в его воспаленном мозгу, видимо, что-то замкнуло, и он с криком «пся крев холера курва» начал из обрывков морды Йобы составлять... он еще и сам не знал — что. Момент истины догнал его где-то уже под утرو...



— Это он! Это он!.. Демогоргон! — с перекошенным лицом стучал мне в окно Казимир Петрович. — Демогоргон...

Спросонья я никак не мог врубиться, кто такой этот Демогоргон. И так и сяк вертел картинку Йобы, составленную из его многочисленных глаз, носов и ртов, которые были наклеены как попало, иногда даже вверх тормашками.

С каждым словом «Демогоргон» из Казимира Петровича словно улетучивались последние силы. Он уже почти шептал своими побелевшими от ужаса губами. Пришлось затащить его в дом и влить полстакана водки, от которой его начал бить озноб. С безумным взглядом он крестился дулей и нес что-то по-польски впере-мешку с русскими словами. Я только смог понять: «ма-тка бо-ска чен-сто-хов-ска», «пся крев» и «бы-чий ху».

Наконец он согрелся и затих, поджав под себя ноги и обхватив их, как в чреве матери, руками. А я от греха подальше перевернул Демогоргона мордой вниз.

— Пацан сказал, пацан сделал! — Как всегда неожиданно явился Рэн. — Все исполнилось!

— Что исполнилось?

— Валю в Америку.

— В Северную или Южную? К индейцам, так сказать, майя?

— К пацанам в Америку, которые гринкарту сделали.

— Что значит — «сделали»?

— Красиво сделали. Там у них сейчас гринкарту компьютер разыгрывает. Вот пацаны и загнали в этот компьютер двадцать шесть вариантов моей фамилии на английском языке. И сработало... Теперь я Renatt Bakieff... businessman developer — как на визитной карточке написано.

— Круто. И какой бизнес?

— Еще и сам пока не знаю. Пацаны над темой работают. Предлагают надгробия в Америку поставлять. Из гранита. На надгробия сейчас большой спрос. По двести баксов за кусок камня. И это не предел. Все от штата зависит. Может, и в самом деле купить карьер?.. Он у нас сейчас почти ничего не стоит. Америкосам — надгробия, а из остального гранита... — Рэн проникновенно посмотрел вдаль, — построить замок... Ну, типа Ласточкина Гнезда или Воронцовского. На первом этаже ресторан «Калифорния»... На втором — массажный салон «Туи на»... с бамбуковыми палочками. Я в таком салоне в Китае был. Просто душа отлетает... и, кажется, что уже не вернется никогда. А в башенках — номера... с привидениями... и вампирами... для иностранных туристов.

— С привидениями, я думаю, проблем не будет.

— С вампирами тоже. Голодные студенты согласны на все. Но сначала надо продать паровоз.

— Какой еще паровоз?

— Да пацаны за долги вернули. Сказали — паровозом возьмешь? А что мне оставалось? Хоть паровозом, хоть индийскими слониками. На запасных путях сейчас стоит. Уже за простой 90 тысяч надо заплатить. Вот я и подумал — может, его к нашему замку как-то приспособить? Чтобы время от времени гудел и пар пускал. На нем еще надпись сохранилась: «Страна — встречай своих героев!»

— Идея, конечно, хорошая. Особенно с гудком и героями. Но только замка пока нет. И карьера нет...

— А паровоз есть, и он... красивый.

И мы несколько недель продавали паровоз по всей стране. Но это был дохлый номер. Какие-то, правда, партизаны из брянских лесов долго и подробно выспрашивали, сможет ли паровоз работать на дровах и какова его тяговая сила.



Все они были с бородами и с волосами в ноздрях. А один дедуган после туманных разговоров предложил поменять паровоз на немецкий танк, который тоже был на ходу и даже мог бабахнуть... в случае чего.

Рэн, конечно, сразу загорелся, так как в военном училище это «бабахнуть» изучал теоретически. Но партизан перехватили другие пацаны, которые сходу загнали танк немцам. За деньгами партизаны прилетели на самолете Фокке-Вульф—190, извлеченном из того же болота, что и немецкий танк.

В свои леса партизаны возвращались уже на джипе, забитом под завязку подарками и прочей ерундой, назначения которой они не знали, но старались не подавать виду.

В конце концов, удалось обменять паровоз по бартеру на семечки, которые после водки оказались в стране самым ходовым товаром, так как не облагались никакими налогами. И теперь вся интеллигенция торговала семечками. Среди этих торговцев мелькали знакомые лица бывших учителей, врачей, инженеров и даже одного ученого, который изобрел вечный двигатель и время от времени показывал его по телевизору — как главную надежду человечества.

А на базаре появились оперные певцы из Узбекистана. На одном из них еще сохранились остатки смокинга, другие тоже были в реквизите из различных опер.

Особенно выделялся головастик в черной накидке Германа из «Пиковой дамы», он то запахивался, то выбрасывал полу крылом в могучем рефрене из «Фауста»: «Са-та-на здесь пра-вит бал, лю-ди гиб-нут за металл... люди гибнут за металл...».

И все вдруг остро начинали понимать, что надо спасать певцов, которые в любой момент могут погибнуть, так как весь металл в городе уже давно сдали на металлолом. А куда металлолом сдали, этого даже Задрют не знал, хотя смутно подозревал, что его «Майбах» сделан именно из этого металлолома.

Но время отъезда Рена неумолимо приближалось. И на него вышли чисто конкретные пацаны, которым было что предложить Америке.

Например, черные (технические) алмазы «по тысяче баксов штука». Платину в слитках и просто так... в ломе, медные трубы, яд гюрзы из солнечной Грузии, черную и красную икру, и даже кое-что покруче...

От подводной лодки Рэн отказался сразу. Потому что этой лодки нет. А точнее — как бы нет. Россия думает, что ее под шумок хохлы продали китайцам. А хохлы — что она дрыстанула в Россию.

На самом деле лодка была на месте, незаметно так несла службу, которую никто не отменял. А потому не отменял, что и государства уже не было. Точнее, было много новых государств, которые еще сами не поняли, что они государства, и осторожный капитан просто ждал.

Ждал, когда какое-нибудь государство созреет для своей подводной лодки. И тогда ему, капитану, придется стать адмиралом.

Первой созрела Белоруссия, которая очень хотела иметь свою подводную лодку. И даже согласна была арендовать кусок дна у берегов Крыма, который еще не определился, к какой стране лучше прибиться. Но адмирал и без аренды базировал свою лодку у берегов Крыма и предложил за это базирование платить деньги лично ему.

На этих же условиях согласилась завести свою подводную лодку и Молдова, у которой адмирал потребовал деньги вперед, так как ему очень не понравилось, что по-молдавски его теперь будут называть не «адмирал», а почему-то «амирал» (еще денег не заплатили, а одной буквы уже не стало).

Вот на этой лодке конкретные пацаны и решили отправить «образцы» в Америку. Заодно предлагали и самого Рэна прихватить. Но он сыграл на опережение и улетел самолетом раньше.



А на прощание сказал:

— Хорошо там, где нас нет. А раз нас уже здесь нет, то вам тоже будет хорошо.

— Логично, — сказал я. — Не зря я тебе иголки ставил. Но если вдруг там, в стране коровьих пацанов, надо кому-то поставить иголку в точку счастья...

— К счастью я всегда готов, — подтвердил Рэн.

— Нет, это в конкретном месте ставить надо. Для каждого человека рассчитывается его открытая точка... с учетом пола, возраста, числа, дня и места проживания. Потом эта точка прогревается специальной полынной сигаретой, чтобы она получше открылась.

— А что — это тема. Можно ставить иголки счастья америкосам за бабло... за хорошее бабло. И назвать эту фирму... «Калифорния».

— Ты же так хотел ресторан назвать. Ну, который при замке... с привидениями...

— А какая разница? «Калифорнией» можно что угодно назвать.

В жизни что-то начинало меняться.

Оперные певцы из Узбекистана пели уже не на базаре, а у входа в курзал. В их репертуар добавилась песня «Бессамэмучо», а на бис они исполняли «Очи черные».

Депутат Йоба в своем выступлении сказал: «Главное — чтобы не было воинов», — и все поняли, что будет еще хуже.

В местном театре гастролировал Кашпировский, который был суров и мучительно похож на ээка. Если раньше он лечил словом — им он рассасывал рубцы, кисты и подошвенные бородавки, — то на последних сеансах обходился совсем без слов.

В черном свитере, как Гамлет Высоцкого, он трагически стоял посреди сцены. Шустрые помощники только успевали подгонять к нему пациентов, которых маг хорошо отработанным движением бил по лбу, и они с грохотом падали в гипноз. Что было потом, никто не видел, так как пациентов под аплодисменты зала быстро отволакивали за кулисы. Такое впечатление, что их там складировали штабелями.

Мой сосед Казимир Петрович снова вернулся в жизнь. Он ходил по набережной и продавал фотографию от всех болезней. Для этого ее надо было приложить к больному месту или зарядить фотографией воду и пить строго определенное число капель.

От сглаза и порчи — тринадцать.

Любовь, приворот — семнадцать.

Деньги, бизнес — двенадцать.

«Это вам сделали» — шесть.

«Защита от дурака» — девять.

И так далее, согласно инструкции.

Фотографии Казимира Петровича раскупались на ура. Особенно летом, в разгар курортного сезона. Некоторые специально приезжали, чтобы и отдохнуть, и полечиться фотографией. Потом они развозили эти фотографии по всей стране и за ее пределы.

За каких-то два курортных сезона фотография добралась до Америки, где на сорока семи каплях президентом стал Билл Клинтон (Моника Левински — семнадцать капель).

Мне фотографию показала одна пациентка, и я ее узнал сразу. Это был он — Демогоргон — из глаз, носов и губ Йобы, в каком-то амоке намешанных в ночи.

Но сейчас Казимир Петрович был бодр и свеж. Он купил у изобретателя из телевизора вечный двигатель и гонял его в своем сарае на холостом ходу.

Он посадил во дворе хлебное дерево из Габона, которое, с его слов, скоро будет давать двести килограмм хлеба с привкусом картошки, то есть — «два в одном».



Он вылил заряженную воду в море, которое за год стало чистым, как слеза, и в нем снова появилась царская рыба барабулька.

А сейчас он строил во дворе пирамиду, которая, по замыслу, должна будет связать все — вечный двигатель, его заряженную на тайную цифру воду и исцеленное море, вода в котором по составу — что человеческая кровь.

— А как же, а как... — еще хотел спросить я.

— Тридцать шесть, — ответил он и повел в дом.

Комната была похожа на штаб. На стене висела большая карта мира, утыканная цветными флажками и стрелками. Возле окна стоял синий глобус. На столе лежала карта.

— В принципе, совсем не важно, с какой точки мы начнем гармонизировать пространство, — сказал он, приподнимая уменьшенную копию знакомой фотографии, под которой был город — наш с ним город. — Все в этом мире связано со всем.

И тут мой взгляд уперся в угол. Раньше в этом углу у Казимира Петровича висела икона в золотом окладе, под ней горела лампадка. А сейчас на месте иконы был тоже он — Демогоргон.

Рэн приехал в конце лета. Он вставил новые зубы и выучил два американских слова: «йеп» и «ноуп». «А больше в Америке и не требуется», — сказали ему «коровьи пацаны».

Главное — побольше улыбаться своими новыми зубами и говорить «йеп» и «ноуп». Тем более что он теперь глава фирмы «Ren Russian Aircraft» и будет покупать у нас «метал-ло-лом» (некоторые слова Рэн выговаривал с каким-то подозрительным акцентом). Ну, типа списанных самолетов «Як-40», которые у нас никому и на фиг не нужны (так как нет керосина) и которые наверняка гниют себе где-то по ангарам. А америкосам они в самый раз — на свои коровники летать или на бизонов поохотиться. И теперь я как бы партнер Рэна по этим самолетам. У него так в бумагах и написано на трех разных языках, один из которых почему-то китайский.

— Окей, йеп, — сказал я, — на что только не приходится порой идти врачу, чтобы пациенту стало легче (последнее я, правда, озвучивать не стал).

— О, йеп, — вывалил свои новые зубы Рэн и по-американски похлопал меня по плечу. — Будем вместе делать немного бизнес.

Наш первый самолет я нашел Рэну через пациентов возле Симферополя. За 25 тысяч уев всего, еще и спасибо сказали за избавление от этого трупца цивилизации, у которого кто-то отпилил ногу, в смысле, колесо (они нам дали другое).

Самолет легко уплыл через Одесскую таможню под видом металлолома. В Америке пацаны сделали из него конфетку и продали уже за 200 тысяч уев.

За эту нехитрую комбинацию я заработал больше, чем за десять лет своего неустанного труда в качестве врача с пятью специализациями (которые называл «защитой от дурака»). И вот, впервые за столько лет эту «защиту» легко пробил Рэн. Что еще раз доказывало, что формула Задрута—Маркса работает.

Но на Одесской таможне о формуле Задрута—Маркса не знали и потребовали сварить для «тушки» нашего второго самолета тележку на колесиках. А проект тележки надо было утвердить в какой-то «ПИИСДе». Так или примерно так называлась организация, которую успели создать, пока Рэн разбирался с первым самолетом.

Окончательная сумма в уях не то чтобы застала нас врасплох. Мы даже самолет на таможне не стали забирать. Так и стоял он там на тележке года два, пока искали хозяина, чтобы слупить за хранение, за поиск хозяина и за долги «ПИИСДе», которая обещала найти Рена даже под землей.

Но сейчас мы с Реном смотрели на море и пили «уиски». Я хотел сказать Рэну, что по составу море как человеческая кровь... что, конечно, неспроста, просто человек об этом не знает, не задумывается, хотя лучше об этом не задумываться и не знать. Потом мы пошли за еще одной бутылкой виски и встретили на набережной Казимира Петровича, который вместо приветствия почему-то сказал: «Тридцать шесть».

И самое интересное — Рэн его понял и, не задумываясь, купил фотографию от всех болезней.

P. S. Больше Рэна я никогда не видел. Лишь много лет спустя в одной из бывших советских республик вдруг появился президент с его фамилией. Я, конечно, сразу же на компьютере набрал название страны и слова «президент» и «Калифорния». На что компьютер выдал: «свиной грипп пришел из Калифорнии» и «ассоциация изучения сновидений в Калифорнии». И тогда я похолодевшими пальцами набрал:

ДЕМОГОРГОН

«Имя дьявола, которое не должно быть известно смертным», — вполне осмысленно ответил младший брат Демогоргона — Гугл.



Виктор ПЕТРОВ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

РЕКВИЕМ ПО РОССИИ

Душа России отлетела,
Почил рассеянный народ.
Империю — всего лишь тело,
И видимы её пределы,
И непредотвратим исход.
А посему — мир дому, праху,
Осталось взгляд поднять горе,
И разглядеть на небе птаху,
И подивиться крыл размаху,
Застывших в жёлтом янтаре.

НАДЗЕМНЫЕ КЛЮЧИ

*Не разорваны бездны,
Они слиты друг с другом...*

В. П.

«Кому повем печаль мою», —
Так пел мой дед, кержак.
Я тоже на краю стою,
И очи выел мрак.

На долгом и больном пути
Души я не сберёг.
Но ты, печаль моя, свети,
И да поможет Бог.

И отблески алтарных свеч,
И образы икон
Сумел найти я и сберечь,
И чтить его Закон.

Закрой мой ум и отопри!
Живу за дверью сна...
Гори, печаль моя, гори.
Грешна душа, грешна.

МИМО СТАТУЙ И ФРЕСОК

ОТЧАЯНИЕ

Мы венчались. Мы — венчались!
Мы промчались по любви...
Паутинка, истончаясь,
Шепчет пальцам: «Разорви!»

Я в лесу не потерялся,
Я в лесу теряю стыд.
К статным соснам в рыжих рясах
Жмутся грешники-кусты.

Я был грубым, я был глупым,
Нес порой такую дичь...
До крови кусаю губы:
Не зови, не плачь, не хнычь!

Где ты, с кем ты, я не знаю:
Мы давно с тобою врозь.
Больно. Тишина лесная
Прокушена насквозь.

СЛЯКОТЬ

Спешат снежинки в гибельный уют
Упасть и раствориться в ноябре.
Студенты теткам флаеры суют.
В бюджете осени — решительная брешь.
И неба прохудившийся карман
Напомнит о позоре в кабаке...
Скорей бы уж — вялотекущая зима!
Скорей бы вахта, жаркий спор в балке!

АССА

На творческий поиск
Растрчено самопознание.
До верных решений
Подсказкам не вымахать за ночь.



И смотрится
 В зеркальце русского солнцестоянья
 Валет:
 Александр Сергеич-Сергей Алексаныч,
 И дедка, и бабка
 Зовут не Трезора, а Жучку...
 Дождись озарения,
 Что в созидательном гневѣ!
 И всякая строчка
 Отыщѣт свою авторучку,
 И каждый поэт
 Упокоится в собственном небе.

* * *

Я все время в пути,
 Траекторию задал сверчок:
 От окна до двери
 И от Бродского до Элиота.
 Купол неба —
 Огромный, с отломанной ручкой, сачок...
 Если птицы — для гнезд,
 То уж мы-то с тобой — для полета!

С небом — только на «вы»
 Скорый поезд «Москва — Кулунда»,
 Спать уйдет пассажир
 И оставит открытой фрамугу...
 Полночь.
 Стрелки в часах
 Начинают свой путь в никуда
 И из всех вариантов
 Вновь выберут:
 Боком — по кругу.

22 АПРЕЛЯ

Через речку не пройти — сплошь промоины.
 Нам не страшно на мосту. Мы помолвлены.
 Носят площадь и проспект имя Ленина.
 Город жаждет — раз в году — обновления.
 Что ни двор — стоят кружком трудоголики.
 Лом, лопата и метла — треугольники.
 Вдоль домов — осколки льда. Блин, тимуровцы!
 Всю весну росли у крыш зубы мудрости.
 Полдень. Холодно ногам в мокрых ботиках.
 Проституточки — и те на субботнике.
 На диване бригадир, в печенъ раненный.
 Телевизионный люк не задраенный.
 У подъезда старый дед, бабка с палочкой.
 Величают нас с тобой «сладкой парочкой».

Уложился в голове график месячных.
«Что случилось? Не звонишь...» — эсэмэсочка.
Настроение и так не особо, но
Не вчера картина та нарисована,
Где закат рассветом стать не пытается...
Все, что было до тебя — все считается.

НА ПЕРРОНЕ

День прошел. Мимо статуй и фресок.
Пол-Тавриды листвой забросал.
Ускоряется жизнь на отрезках:
Суеморье — троллейбус — вокзал.

До свидания, мой Симферополь —
Слезы сохнут, линяют штаны —
Нас с тобой не прельщают европы,
Однолюбамы мы рождены...

Мимо фрукты несут аккуратно.
Урожайная осень в Крыму!
Я купил себе грусть винограда:
Повод есть погрустить самому.



Владимир КАРПОВ

НАСТОЯЩИЕ СИБИРСКИЕ МУЖИКИ

Известно, что декабристы, а также политические ссыльные более поздних времен обогатили Сибирь породой и образованием, и я не могу не сказать о потомках ссыльных, которых недавно довелось встретить на берегах священного Байкала.

Были мы там вместе с В. Я. Курбатовым, с которым обычно встречаемся в Ясной Поляне, а посему, как-то нелегально и негласно, рядом с нами присутствовал дух Л. Н. Толстого.

Накануне мы посмотрели фильм «Река жизни», где много говорилось о затоплении приангарских деревень и неком известном человеческом упадке. И на Байкале глаз искал чего-то иного, должного подтвердить, что нет, мы, брат, живы, и так просто ты нас не затопишь. И буквально тотчас мы с Валентином Яковлевичем это подтверждение нашли. В селе Листвянка, что в семидесяти километрах от Иркутска, на одной из улочек завернули в сельский двор, на воротах которого было написано: «Парк “Ретро”». Весь участок был заставлен машинами, мотоциклами довоенного и военного времени, всякими изобретательными поделками: так, к баку мотоцикла с одной стороны приварен кусок плуга, с другой — какой-то изогнутый стержень, — и вот тебе аист! Курбатов перепрыгивал с младенческим восторгом с немецкой «эмки» на отечественную «полупорку», я садился за руль «Ижа» с ручкой скоростей на боку, и нам казалось, что скромно оставшийся в открытых настежь воротах великий старец — тоже доволен этой картиной русской жизни, сотворенной местным «Кулибиным».

С нами в группе была представительница Голландии: женщина родом из России, сорок лет прожившая за рубежом. Мы не поленились, сходили за ней в гостиницу, чтобы показать сию картину неистребимой талантливости русской глубинки.

И она вошла во двор «Парка “Ретро”», восторженно покачивая головой и улыбаясь, как все они, иностранцы, улыбаются в России.

Сам «Кулибин» — седовласый, лысеющий, по пояс голый, с умиляющим лицом шукшинского чудика, озаренного делом, жил своими трудами в глубине двора, заваленного всяческой утварью.

Вдруг на громадной скорости, прыгая по ухабам, во двор влетел квадроцикл с восседающим на нем с растопыренными локтями еще одним чудиком — морда красная такая! Мы с видным литературным критиком, как охочие до подлинной жизни люди, с наслаждением впились в эту картину неугасающего нашего национального бытия. Здоровенный сибирский мужик — такой всплывет после любого затопления! — так же резко, как ехал, затормозил. И сходу двинул «Кулибина» матерым кулаком. А в следующее мгновение — выхватил нож. Большой такой, охотничий, из хромированной стали!

«Кулибиных», впрочем, оказалось во дворе двое — оба седенькие, только один был носастее и не столь благообразен. Вот ему-то и досталось! Благообразный меж тем



вооружился граблями и успел огреть «бугая» по хребту. А носастый — схватил топор! Все ж под рукой у них, у рукодельников!

«Чудиков» я в детстве на Алтае повидал, и знаю, что про них хорошо сказки рассказывать, но держаться от них, особенно когда они при ножах и топорах, лучше подальше. И голландская гостья меня взяла за локоток, мол, посмотрели, пора и честь знать, если нас привлекут, мне в посольстве разбираться. И я развернулся было к Валентину Яковлевичу, дабы благородно вместе удалиться, пустив сюжет на произвол судьбы. Но то ли он незримое присутствие Льва Николаевича, заинтересованного событиями, ощущал острее, то ли еще какой глюк по темечку шлепнул. Литературовед прямо-таки коршуном летел в гущу народной жизни! И борода — острым клином рассекала пространство.

Мать честная! Я же знаю, как пить дать — они теперь этого, вездесуйного, объединив гнев, вместе порешат! И топориком, и ножичком, и разровняют потом граблями! Тут и меня сподобило увидеть образ классика, который шел по полю и широко взмахивал косой. Коса висела на заборе — много кос, еще явно той, дореволюционной закалки. Я схватил косу — точнее, попытался схватить. Мастеровые «Кулибины» ее накрепко прикрутили к доскам. Втроем — не отодрать!

Меж тем разъяренный здоровяк, размахивая ножом, теснил умельцев вместе с их орудиями труда, а Курбатов уже разворачивался, прикрывал спиной, как бы пытаясь отстоять народные таланты.

Потеряв разуменье, я, как декабрист какой, бросился туда, где сила народного гнева грозила обрушиться на чистого в своих последних помыслах литературоведа.

— Положи нож, — услышал я голос, словно бы объявлявший очередную тему выступления в Ясной Поляне.

Вместо литературоведа посреди вооруженного люда с поднятыми перстами буквально завис в воздухе не то апостол Павл, не то Петр.

Бугай с размаху вонзил нож в землю. Но и этого ему показалось мало, он снова схватил за рукоять и теперь с силой вонзил нож в настил стола, так, что красиво задрожало лезвие.

— Да я их голыми руками!..

Мастеровые, однако, своего инструмента не оставляли.

— Расскажи, что случилось? — литературовед приземлился, теперь уже говорил как батюшка на покаянии.

— Я живу за границей, — на взрыде, на страдальческом стенании повел речь чудик «морда красная такая». — Три года меня не было. Я вот там живу, — махнул он рукой, — у меня трехэтажный дом. Приехал, а внучек ссытся. Дочь рассказала, что он у этих, — я весь Иркутск держу, я их контору вмиг разгону, — внучек у них из банки, — мужик указал на стоящую посреди двора трехлитровую банку с лежащими в ней помятыми купюрами, — сто рублей украл! Из-за ста рублей они его так избили, что он уже полгода ссытся! — бугай, оказавшийся дедушкой (эка порода!), казалось, не в силах был перенести это горе.

— Да мы его пальцем не тронули. Это милиция забрала...

Начались «разборки», разговор, а тут уж нашему «Кулибину» слова, златоусту нашему псковскому — палец в рот не клади!

Словом, демонстрация национальной жизни для иностранной гостьи как нельзя удалась!

На следующий день мы плавали по Байкалу на катере. Капитан — абсолютно тот, про которого пели: «обветренный, как скалы», — крепко держал штурвал, давал бинокль, показывая нерпу в воде. Потом варил уху в цинковом ведре. В его капитанской рубке были развешаны мудреные брелоки. Капитан рассказывал.

— Одна богатая женщина из Израиля приезжала, оставила подарки. Совсем не умеет говорить по-русски. Но я с ней на иврите поговорил...

То, что мы с Курбатовым приподняли головы — это само собой. А потом посмотрели в пространство, видимо, желая понять, как Толстой отнесется к тому, что капитаны из Листвянки у нас запросто говорят на иврите.

— Я из ссыльных евреев, — пояснил капитан. — Уезжал в Израиль, два года прожил. Вернулся — не могу. — Он оглядывал белые просторы Байкала и лесистые берега — как край, к которому приторос навсегда.

Сошли с катера. Остановили такси. Водитель — этот уж был чудик на все сто — скоро поставил диск с песнями собственного сочинения и исполнения: все на христианские темы.

— Я девять лет в Америке прожил, — начал он рассказ о себе тем знакомым мне с детства блатным выговором, когда указательный и большой пальцы соединены и помогают вытанцовывать речи. — Я молодым подсел, потом в золотоискательской артели работал у Туманова, про меня еще Высоцкий пел, помните, про Гену-«жиденка» — это про меня. У меня дед — еврей-профессор, пять языков знал, а я в слове попа три ошибки делаю! Я их ухой кормил с Тумановым — я повар классный, а он пел, что я их хотел отравить. Вернулся из Америки, теперь здесь копеечку можно заработать... У нас тут диаспора, все друг друга знают...

И тут я вспомнил у вчерашнего «Кулибина» — седые завитушки на висках. И опаленное солнцем, будто еще со времен скитаний по Синайской пустыне, лицо. И брат его, носатый, тоже как бы из Аравийских палестин.

Но главное, вспомнились слова другого шукшинского чудика, бугая с ножом: «Я живу за границей. Меня три года не было. У меня трехэтажный дом. Я держу весь Иркутск». Как-то это чересчур для сибирского мужика, это откуда-то из Бабея, Бенья Крик какой-то. Из ссыльных, понятно, наш сибирский Бенья. Чудик!

Деревня Листвянка на Байкале — это гостиница на гостинице, ресторан на ресторане. И пока мы с Курбатовым сидели за трапезой, расположившись на камешках у воды, по кромке берега шли группки туристов, слышалась английская, немецкая или, реже, польская речь.

Присутствующий незримо где-то неподалеку великий классик так и не давал нам ответа на вопрос: почему же он не завершил работы над «Декабристами», которые отбывали ссылку примерно в этих местах и в пятидесятые годы девятнадцатого века поразили его тем, что, пройдя тюрьмы и каторги, возвращались с прибайкальских земель более здоровыми физически и духовно, нежели те, кто их сюда ссылал.



МОИ РОДНЫЕ СТАРОВЕРЫ*

* * *

У многих ближайших соседей, однако, в гостях мы были: нас даже специально возили показывать, как редкую диковину, — людей из России, Советского Союза. А уж нам-то как интересно посмотреть, послушать, поговорить! Люди были разного достатка: у кого дом двухэтажный, даже каменный, и автомобиль новый, шикарный... У Прохора тоже была машина большая, мощная — но «секонд-хэнд». Однако и на ней мы рассекали — будь здоров. Помню, тронулись как-то с места на зеленый свет — а рядом с нами такая шикарная машина, кабриолет алого цвета, а за рулем такая шикарная блондинка! Попробовала она рвануть вперед нас, да Прохор произнес:

— Куда, голубушка, у нас сильнее...

И словно сдуло блондинку!

Пришло время рассказать, на чем держится благополучие орегонской общины. Всего русских в этом штате, как мне сказали, — несколько тысяч человек, проживают вокруг столицы штата, города Сейлем, и занимаются в основном фермерством. Используют такое русско-английское словечко: фарма. Ягоду выращивают: клубнику, ежевику. Клубнику я не застал, а ежевику распробовал всячески — и поел, и собирал... Называют они ее здесь — ажина: кусты — неколючие, а ягода — крупная, почти черная, раза в два больше обычной, дикой, висит большими гроздьями. Ровные ряды кустов тянутся до горизонта, а вдоль рядов передвигаются сборщики: на поясе подвешено пластмассовое ведро, орудут двумя руками, притом невероятно ловко — ягода летит, словно черные струи. Наполненные ведерки высыпают в пластмассовые ящики с ячейками, ящики ставятся один в другой, в конце дня приезжает хозяин — и производит расчет наличными с каждым сборщиком. Стопки ящиков подают на грузовик погрузчиком — и отвозят на фабрику в городок Вудбурн. Там на проходной сдают ягоду, получают бумажку — и всё!

Но я и в цех зашел, посмотрел, что с ягодой делают. Двигается по конвейеру, ее промывают и замораживают — гремит, словно камушки, и в таком виде уже идет по всему свету: и на варенье, и на вино, и хоть на что.

На ежевичных плантациях, где я бывал, стоял разноязычный гомон: русский, английский, испанский. В основном испанский — это мексиканские сезонные рабочие. Сначала они идут через Калифорнию, где собирают виноград, а к концу лета добираются и до Орегона. Те мексиканцы, которых я видел — невысокого роста, очень ловкие, за ними не угнаться. Начинаем собирать рядом, и через пять минут — они уже далеко впереди!.. Вспомнил еще: в конце дня мексиканка, получив доллары, простонародным бабьим движением сунула их себе в лифчик. Я-то думал, так делают только наши...

А меня с Ольгой наши русские хозяева, конечно, баловали деньгами, давали намного больше, чем мы зарабатывали. Да еще в гости потом приглашали, на ужин... Сами русские на плантации так уж строго-четко не работали, они — хозяева, организаторы процесса. Но если ягоду где-то не успевали убирать, она перезревала — тогда шли все: хозяева, дети, мексиканцы. Тогда и комбайн в поле выезжал, но это — крайний слу-

* Окончание. Начало см. в № 1, 2014.



чай, собирает он быстро, но не чисто: обхлопывает кусты, и на транспортер попадает всё — и ягода, и гусеницы, и листья. На комбайне сидят работники, мусор отбрасывают, но за всем не успевают...

Однажды мы с Перфилом на комбайне выехали: он, я и его дети. Перфил за рулем, а мы все управляемся на площадке: откидываем гусениц, гнилую ягоду, подставляем-убираем ящики. Одна только маленькая Марфа, ухватившись за железный столбик на краю площадки, находится в сторонке, улыбается... Льет дождь, на нее летит ягода и бог знает что, и белая головка Марфы уже цвета ежевики... Да еще комбайн тут круто разворачивается!

— Свалится ведь! — кричу я Перфилу.

Он обернется, посмотрит — не свалится...

Трудовая закалка, приобщение к делам взрослых — с молодых ногтей. Вообще, русские слынут здесь отличными работниками, хозяевами — и уровень жизни у них повыше, чем в целом по округе! Любопытно, что хотя и сами они уже американцы, но местных, коренных, англоязычных, называют так: американцы. Сами же дома говорят по-русски, носят русскую одежду: косоворотки, сарафаны, платья-талички, подпоясываются старOVERскими поясами. И все это яркое, с вышивкой.

Живут сами — и дают жить другим. Такой штрих. Сидим как-то возле дома с одним из фермеров, толкуем о том о сем, а по дороге медленно проезжают-проплывают автомобили: длинные, открытые, блестящие — красивые!

— Какие, — говорю, — автомобили!..

— Ну... они люди бедные, им ведь хочется как-то себя показать...

Оказалось, это мексиканские рабочие ехали с плантации.

Что уж говорить о русских?..

Ясность, осмысленность бытия, достаток во всем. Семьи большие, детей — много! Потому и никакого беспокойства за судьбу общины, спокойно отпускают детей хоть куда. При мне один парень поступил в элитную академию Вест-Пойнт — все очень гордились...

Дома, земельные участки, автомобили — какие присниться не могли уймонцам в 1980-е годы... При этом — твердая вера. Православные заповеди выполняются неукоснительно.

Надо сказать, тогда, незадолго до моего приезда, несколько дней здесь пребывал известный журналист Артем Боровик. Все-все повыспросил, все-все обфотографировал — а в своем «Огоньке» потом — ничего, ни строчки. Формат не тот, не вошли в формат. Помню, что вошло: огромные воздушные змеи на берегу Тихого океана, дамочка с голыми коленками на стадионе в Портленде... Такой формат.

А в Орегоне наши русские живут согласно поговорке: как у Христа за пазухой. Как могли бы жить и в Верхнем Уймоне. Могли бы...

* * *

Многие оregonские русские начинали свою жизнь в Америке — где бы вы думали? В Нью-Йорке! Я видел фотографии: женщины — в европейских платьях, мужчины — в костюмах и галстуках. Хотя древнюю веру свою не теряли, но тем не менее пытались стать «сто процентными американцами». И дело шло успешно: работали в Нью-Йорке на заводах и фабриках, хорошо зарабатывали, и почти сразу автомашины заимели. Один оregonец рассказывал мне, как выезжали «гонять таксистов» — так он выразился. Погоняться с таксистами вперегонки, поддразнить их — и себя потешить, русскую удаль показать!

Представляете?! Были, оказывается, в начале 1960-х такие русские гонки на авеню и стритах Нью-Йорка! Машин еще не так много, пробок нет — можно разогнаться, «таксистов погонять»...

Но и работали, конечно... Фёдор Овчинников, например, работал на стройке. Дело это само по себе тяжелое: в дождь, холод, зной, под всеми ветрами. Вот уж где — круглое кати, плоское тащи! И квалифицированному работнику нелегко, а уж неквалифицированному — вдвойне, втройне. И никаких роздыхов и перекуров — на Западе этого не любят. Домой Фёдор приходил совсем без сил, такой усталый — чуть не до слез...



Теперь у Фёдора Овчинникова свой строительный бизнес в Орегоне. В конце концов русские решительно оставили «американский образ жизни» в Нью-Йорке — и переехали с Атлантического побережья на Тихоокеанское, из каменных джунглей Нью-Йорка на зеленые поляны западного штата. Многие занялись сельским хозяйством, а Фёдор проявил деловую хватку в строительной сфере.

Познакомились мы с ним еще в 88-ом в Москве, а через год вдвоем стояли в приходе церкви: ему, как и мне, не разрешалось переступить его — «трогает» бороду, подстригает... Нарушение заветов старины! Перед этим все равны — а я видел, как Фёдор передавал батюшке толстую пачку долларов на нужды церкви...

Но не только в церкви мы с ним виделись: однажды он пригласил меня и супругу пожаловать к нему на именины. Я знал, что именинник — человек состоятельный, мне даже сказали — миллионер, но увиденное прямо поразило. Двухэтажный особняк Фёдора Овчинникова находился на высоком пригорке, и вся столица штата, город Сейлем — там, внизу, у подножия...

В просторном светлом зале собрались несколько десятков человек, русских, и нам в основном незнакомых. Но и здесь почти все выглядели как настоящие староверы: бороды, косынки, тканые пояса...

— Выпьем, господа! — провозгласил хозяин.

И выпивали, и как следует закусывали, и веселые разговоры вели, именинника поздравляли. И на гармонии играли, и шары на бильярде катали, и по широкому двору гуляли... Но если б вы знали, как необычно, как интересно было слышать это слово: господа! Люди Господа то есть. Мы-то в Советском Союзе были все до единого — товарищи, и думать не думали, и представить себе не могли, что когда-нибудь, а тем более — в скором времени, станем господами.

Раз уж упомянул о господах-товарищах — тут и к месту будет сказать о бесконечных и повсеместных тогдашних разговорах о нашей «перестройке».

«Перестройка», как и «демократия», — только в кавычках, только в кавычках, по-другому никак нельзя! Поскольку, как потом выяснилось, левые «демократы» — коммунисты — стали «демократами» правыми, «либералами». Перекрасились, «поменяли ориентацию» — только и всего.

А народ попал из огня да в полымя!

Но тогда, тогда, в конце 80-х — сколько было разговоров, ожиданий, надежд! Всем очень понравился Горбачев, и люди ему сочувствовали: как же трудно человеку приходится после 70-летней диктатуры. Именно такой разговор состоялся у меня однажды со священником, отцом Тимофеем — прямо на улице. Он ко мне подошел, и с полчаса мы с ним стояли-толковали. Батюшка всё упирал на личные качества Горбачева: какой живой, простой, энергичный, смелый человек!

— Но трудно ему придется, трудно...

Оказалось — легко. Оказалось, вместо перестройки — развал, вместо свободы — новое рабство, вместо демократии — власть олигархов. Бес хитёр! Недаром одно из его названий — отец Лжи...

А специфика советской «демократии» — советской жизни, повседневной жизни — для обычного, рядового человека заключалась прежде всего в тотальном дефиците всего и вся. Говорю об этом еще и еще раз. У меня есть большой блок заметок, написанных к 20-летию «демократической» революции 1991 года, где я уделяю этому особое внимание, поскольку, как и многие аналитики, считаю: советскую власть обрушил именно дефицит.

Так что можете себе представить, какое впечатление на меня произвели американские магазины. Американцы, зная это дело, время от времени устраивали нам туда поездки. Хотя... Хозяева относились к этому делу с опаской: как-то поведут себя в магазинах гости?!

«Но вот я набрел на товары. “Какая валюта у вас?” — говорят. “Не бойсь”, — говорю...»

И т. д. Слова из песни Владимира Высоцкого — когда его герой оказался в валютном магазине со списком товаров для родственников...

Орегонцы уже сталкивались с таким явлением, когда советские люди полностью теряли в магазинах голову и начинали хватать всё подряд. А хозяева, почесывая затылки, доставали из карманов все свои доллары — «зеленые рубли».



Но случилось — не только смех, но и грех. Увы... Была у Галины Васильевны одна знакомая, из благочестивой старообрядческой семьи, из Москвы. Галя даже называла ее подругой, и когда от нее пришла просьба сделать вызов на поездку в Америку, с радостью согласилась. Выслала приглашение и — ждет-поджидает гостью. Та приехала... и ни разу даже не посетила свою подругу, не зашла к ней! Были в Орегоне другие знакомые, которых она и предпочла — тех, которые побогаче.

С другой стороны, тут не так и просто — судить. При удачном стечении обстоятельств ведь можно было и целое состояние советскому человеку заработать! В материальном плане всю свою жизнь изменить. Бог судья...

Вот и я, стараясь повысить свое благосостояние, чуть не каждый день выходил на ежевичные плантации. Чего греха таить, про себя надеялся, что «плантаторы», умилясь моему старанию, дополнительно «зеленых» подбросят... Я-то ведь, потратясь на поездку в Америку, вообще оказался гол как сокол! Зато местный пенсионер, Прохор Григорьевич Мартюшев, пока я тут ягоду корячился-собирал, успел на несколько дней в Австралию слетать, религиозные вопросы пообсуждать. Такие вот дела...

Вожусь я как-то в ежевичных кустах, смотрю — ко мне по полю идет Семён Со-зонтевич Фефелов: в шортах, рыжая борода по пояс, банка пива в руке.

— Зря не поехал! — говорит он мне. — Пятьдесят не пятьдесят, а по сорок пять тысяч долларов взяли!

Это он с Аляски вернулся. Вскоре Семён с гордостью показал мне свой новый шикарный автомобиль, со всякими, как бы сегодня сказали, наворотами: например, оставишь дверцу открытой, а приятный женский голос тебя о том уведомит. И мы все эти навороты разглядывали-испытывали...

Вместе с ним приехал аляскинский житель, сын Прохора от первой, покойной жены — Владимир. Первый раз я его увидел из окна дома: какой-то мужик с большим ножом за столом орудует, что-то большое и белое режет-рубит — мне показалось, капусту разделывает. Оказалось, это не капуста — огромные куски палтуса (его все называли: халаба), привезенного с Аляски.

Приехал со всей компанией рыбаков и аляскинский батюшка, отец Конрад — он же, если попросту, — Кондраг. Довольно молодой, рыжий, энергичный, а в церковных делах, как мне сказали, — несколько либеральный: позволяет «трогать бороду», слегка подстригать, и в храм заходить с такой бородой не запрещает. Отца Конрада мне довелось потом встретить в Москве, и по телевизору увидеть, и в прессе о нем почитать. Все прошедшие после моей поездки годы русская Аляска мелькает то тут, то там. Хотя это всего лишь один поселок — Николаевск, несколько десятков русских переселенцев-старообрядцев. Коренных русских там нет, а те, что были, давным-давно ассимилировались. Зато в Орегоне русских — несколько тысяч — и ноль внимания со стороны российских СМИ. Думаю, это чисто журналистский подход: привлекает словосочетание «русская Аляска» — вот и все. Экзотики — полным-полно, все репортажи — интересные, ничего не скажешь. Интереснейшие статьи были у Василия Пескова в «Комсомольской правде».

Хотя эта «русская Аляска» — можно сказать, составная часть большой оregonской общины, у них сохраняются самые тесные связи. Жениться-то и выходить замуж надо, а предпочитают своих! Где их взять? Прежде всего — на Аляске да в Орегоне. Хотя, конечно, и российских женихов-невест находят, и румынских, и австралийских — русских. Но случаются и американцы! Я сам одного видел: и бороду отрастил, и домотканым поясом подпоясался, и в церкви стоит, и молиться пытается по-русски. Старовер! Да рослый такой, могучий парень — наш, наш...

С приездом гостей с Аляски (да и румынские гости к этому же времени подгадали) наши застолья-разговоры участились. А соловья, как известно, баснями не кормят, и гости за стол — пироги мечи на стол... Но пироги — это так, к слову, хотя и пироги, конечно, бывали. А угощались мы в основном — да почти всегда — барбекю. Там, в Орегоне, я впервые его и распробовал — мясо, жаренное на решетке. Покупается в магазине специальное мясо, в эдаких невысоких пластиковых блюдах, закатанных полиэтиленом, приготавливается как для шашлыка, только жарится на решетке. Куски — размером с ладонь, а мясо вкусное, сочное, тает во рту. Съесть можно много, много... При этом я не помню, чтобы когда-то что-то заканчивалось — мясо ли, выпивка ли...



— Барбековать сегодня будем! — провозглашал Прохор Григорьевич — и мы барбековали — жарили барбекю.

Прямо перед входом в дом стоял большой, сколоченный из досок стол, с такими же скамейками — на любую компанию хватало. В огромной таре маринавалось мясо, ставились на стол полугаллоновые бутылки канадского виски, да еще кока-кола, для разбавки. Вина не было вообще никогда, а пиво — так, мелькнет иногда баночка. Дымил жаровня, шкворчало мясо — барбекю. Это, как и в России шашлыки, — целое действо, а не просто еда! Общение, разговоры.

Общались я в основном с людьми, которым было уже за 60. Крепкие, энергичные, какие-то очень устойчивые, основательные люди. В большинстве крупные — цвет русской нации! И выпить молодцы, и в этом устойчивы, хотя и предпочитают всем напиткам виски. Не курят — разумеется!

Русская компания здесь, в России, отличается от орегонской-аляскинской прямо-таки разительно. Самое главное отличие — мат, мат, мат, за каждым словом мат, надо и не надо — мат. Понятия не имеют, что это — грех. Что касается количества выпитого, то пили мы в Орегоне, пожалуй, побольше нашего... Но при этом не было цели именно выпить, напиться! Пили через какие-то интервалы, закусывали — и разговаривали. Никто не клевал носом, не раскисал — и даже не облокачивался на стол! Всегда — прямая спина, ясный, пусть и хмельной, взгляд, твердая речь и походка. А ведь это — самые простые люди, не имеющие никакого понятия о «правилах приличия», «поведении в обществе», «умении держать себя»... Ведут и держат себя так, как это делали их отцы, деды и прадеды.

И еще: даже если разговор шел о каких-то проблемах, то никогда никакой безнадеги, горестного махания рукой — пропади оно всё пропадом... Ну вот, пожалуйста: во время нашей гулянки позвонили по мобильному телефону из комиссионного магазина, позвонили русскому румыну, который еще ни бе ни ме по-английски. Переговоры пришлось вести орегонцу — и он всё убеждал и убеждал продавцов снизить цену.

— Вы понимаете — у человека совсем машины нет?! И денег нет.

В итоге сторговал машину за смешную цену. И мы радостно отметили такое событие. Была проблема — и нет проблемы. И так — во всем.

А какое барбекю устроил Кирилл Васильевич Бабаев в честь моего дня рождения! Гостей собралось много, и женщин было много, так что всё — чинно-степенно, и виски — не из пластиковой бутылки, а из красивой, фигурной, стеклянной. Сам же Кирилл Васильевич за стол почти не садился: так, подсядет на минуту — и опять к жаровне. Смотрю я сейчас на фотографии с того дня рождения — Боже, какая благодать! Широкая лужайка, красивый дом, яркий цветник, гости в русских нарядах за столом, Евдокия Тарасьевна что-то на блюде подносит — и Кирилл Васильевич голову от жаровни поднял, мне в объектив улыбается... Хорошо.

Все помнится хорошо, и несколько особняком в этом калейдоскопе воспоминаний находится у меня поездка в Калифорнию с Перфилом Тораном. Как-то вечером он мне говорит:

— Я завтра еду по делам в Калифорнию — поехали со мной, тебе же, наверное, интересно посмотреть...

Раным-рано, часа в четыре, мы с Перфилом и двинулись в путь. Подъехали к банкомату, установленному в бетонной глыбе, на перекрестке дорог, едва ли не в чистом поле, сняли деньги. Это мне было уж совсем в диковинку.

— А если на тракторе своротит кто-нибудь — и деньги украдет?!

— Не успеет своротить, как полиция приедет, — сказал Перфил, укладывая доллары в бумажник.

Подъехали мы к магазину, закупили чего надо в путь, а также ящик пива на дорожку — поставили его в ноги. Позавтракали в нашем микроавтобусе, за столиком: кофе, бутерброды. Стояла у нас и бутылка ликера «Южный отдых». Нет-нет, не подумайте, с утра до вечера орегонцы не хлещут! То виски, то ликер... Это ради гостя, ради гостя. Хотя, вообще-то, западную привычку пропустить глоток среди бела дня, да без закуски, они приобрели...

К ликеру Перфил начал нарезать... ветчину. Я удивился.

— А чем же закусывать надо?



— Ну, фруктами, шоколадом...

Сходили еще за фруктами и шоколадом.

Ликеру хозяин налил и мне, и себе. Я опять удивился: а ничего, что за рулем? Вдруг полиция остановит?

— А с чего она остановит? Я же не поеду вот так, — он изобразил рукой зигзаги.

Ну, поехали. Да с каким ветерком поехали: Панамериканское шоссе — скорость, широта, простор! Равнина — и гладь океана. А потом пошли горы — невысокие, поросшие лесом. Похожие на Алтайские... Однако — северная Калифорния. Я даже гигантские секвойи увидел, и даже в местный музей мы зашли.

А дело, по которому Перфил сюда поехал — такое: по горам растет смешанный хвойно-лиственный лес, хвойный — нужен, лиственный — не нужен, однако лиственные деревья растут быстрее хвойных, заглушают, мешают — их нужно спиливать, чем и занимается бригада все тех же мексиканцев, вооруженных мотопилами. Перфил взял у фирмы подряд на расчистку леса — нанял мексиканцев. Я их видел, общался с ними: невысокие худощавые робкого вида мужички.

Заехали мы с Перфилом в контору фирмы, он пошел к хозяевам, а я остался ждать в машине. Вышел мой друг озабоченно-озадаченный:

— Недовольны, что нанял мексиканцев — почему не русских? А где я их найду? Русские взяли по пятьдесят тысяч долларов на Аляске, и сейчас на Багамах да на Гавайях!

Пошли мы с Перфилом посмотреть, как идут дела у мексиканцев. Ничего, нормально, дело-то не особо мудреное, сложное или тяжелое; кустарник опиливать — это же не лесоповал. Так что мы спокойно двинулись осматривать местные красоты: лес, речушку, бегущую по камешкам. На дороге обнаружили большую кучу ягодных косточек.

— Медведь наложил, — пояснил мой спутник.

Самого медведя мы, слава Богу, не встретили, и вернулись к вагончикам мексиканцев, которые охранял пёс на цепи, изнывающий от скуки — он явно нам обрадовался. Я сел перед ним на корточки, посмотрел в добрые глаза, погладил-потрепал его:

— Ах, морда твоя, морда... калифорнийская!..

Переночевали мы — и двинулись в обратный путь, который мне запомнился купанием в океане — я попросил Перфила остановиться: как же не отметиться! Было мелко, вода холодная, волна большая, но я все же залез — искупнулся в Тихом океане.

После Калифорнии мы начали помаленьку подсобирываться в обратный путь. А вообще в Америке мы пробыли ровно 50 дней! Для советского времени — дело невероятное, притом я даже не пытался звонить на работу: человека, улетевшего на другую планету, не уволят. Так оно и случилось...

Чемоданы свои мы паковали долго, сто раз всё укладывая и перекладывая: народ продолжал и продолжал приносить подарки — в том числе громадные чемоданы. Вон они, стоят на антресолях. Память... А главная память — вышитые рубахи-косоворотки, яркие тканые пояса, блестящие платья-талочки.

Накануне отъезда я ночью вышел на крыльцо, во двор, посидел, глядя на звезды, за столом, вспоминая наши «барбекования», встречи, разговоры... Неподалеку шумела свадьба — и звонкие девичьи голоса распевали советскую песню «Катюша»! Мелодичная песня — весь мир любит.

Прощай, Орегон, прощай, поселок Вифлеем!

* * *

Тем же маршрутом, на автобусе, двинулись в обратный путь, в Нью-Йорк. Теперь у нас уже были адреса, где можно остановиться, переночевать. Быть в Нью-Йорке — да не погулять по нему хотя бы несколько дней?! Этого не поняли бы даже те, кто увольнял бы нас с работы. Как писал один известный советский диссидент:

— Да не собирался я никуда сбежать! Я просто доехал до Парижа и побродил по нему несколько дней...

Такие же планы были и у меня насчет Нью-Йорка. У меня в кармане был авиабилет с открытой датой вылета: вот нагуляюсь — и пойду заполнять эту дату. А пока — в Нью-Йорк! Позвонили по адресам, и приехали на один из них. Евреи, молодежь, а также их родители, недавно уехавшие из Советского Союза. Молодежь, совершая



автопробег по Америке, заезжала к русским на Аляске — отсюда и знакомство, адреса. Приняли нас радушно, в разговоре — полное взаимопонимание... До тех пор пока не затрагиваешь серьезные темы — любые. Тут — стоп! Полная противоположность во всем. Да я и не затрагивал... Даже когда хозяева вскользь обронили: их там не очень-то любят... Их — это русских на Аляске. Хотя понятно — это мысли самих новых американцев: зачем косоворотки, церкви, молитвы? В Америке-то, свободной стране! Мучают себя, как при царском режиме. Впрочем, это сейчас я понимаю, что к чему, пройдя через «демократическую революцию», а тогда я был еще вполне советским, сибирским человеком.

Вот поднял я сейчас эту тему — и сижу, в который раз сокрушаюсь: какая же это беда, что мы уже почти сто лет барахтаемся в «демократии»: то в левой — коммунизме, то в правой — либерализме... Снова и снова позволяем водить себя за нос. А нужна власть людей умных, честных, справедливых, понимающих, что такое Добро и что такое — Зло. И выбирающих Добро — самым естественным образом.

Ну, а пока — в город Желтого Дьявола, в каменные джунгли. Есть у Нью-Йорка и другое название, символ — Большое Яблоко. Город мне понравился, а потому я принимаю Яблоко! Рассмотрел, попробовал я это Яблоко неплохо, пусть и хотелось бы подольше-получше. Желтый Дьявол? Ну, это, в общем-то, пустяки. Каждый из нас находит свое место, свое дело в жизни, при этом каждый знает: с деньгами лучше, чем без денег. Каменные джунгли? Да нет каменных джунглей! Есть высокие, очень высокие дома, а внизу, на земле, — уютно, просторно, всё благоустроено и красиво. Просторно — ведь было где погоняться с таксистами нашим русским новым американцам в 60-е годы.

Прошлись мы по 5-й авеню, по Таймс-сквер, заглянули в дорогие магазины, где все продавцы со всех концов зала поворачиваются к тебе, входящему — и делают улыбку. Чудо чудное, диво дивное! Ну, а я, позабыв про товары, горел одной мыслью: побывать на вершине Эмпайр-стейт-билдинга. И побывал! Вознесся на 86-й этаж, на смотровую площадку, посмотрел на все четыре стороны, на небоскребы, на океанский простор, на мириады желтых божьих коровок — нью-йоркских такси. И на 102-й этаж съездил — ну, это вовсе не этаж, а маленькая застекленная площадка: идешь по кругу, глянешь за стекло — и спускаешься по лесенке вниз. На дюралевой полоске вдоль стекла я успел разглядеть прокарябанную надпись: «Вася». Молодец, Вася, отметил. Нет, я не шучу, я понимаю простого человека, Васю, которого занесло в Нью-Йорк, вознесло на 102-й этаж — и он не стал мелочиться, писать карандашиком, а достал перочинный нож — и увековечился. Понимаю...

А я еще на статую Свободы в бинокль поглядел. Потом уже узнал, что хоть она из Франции, но... сделана из русского, уральского, нижнетагильского металла!

Планировал я сплавить к ней на кораблике, а также побывать в музее Рериха, Метрополитен-музее, да много еще где. Но... Пошел в кассу «Аэрофлота» уточнять дату вылета, а там сказали: или завтра — или только через две недели. Пришлось лететь завтра. Однако Большое Яблоко я все-таки попробовал, распробовал — и город Нью-Йорк, его «вкус», остался в памяти навсегда.

Улетая на «Боинге» из аэропорта имени Джона Кеннеди, снова посмотрев с высоты на великий город, я вспомнил первые услышанные мною здесь слова:

— Ты свободен!

Я-то, конечно, свободен, но лечу навстречу грандиозному спектаклю по заморачиванию и одурачиванию, порабощению, а режиссеры этого спектакля находятся как раз в Америке. Трагедия...

Придя на работу, первым делом направился к своему начальству — в партийный комитет. Открываю дверь, а там — в задумчивых позах сидят секретарь парткома и заместитель.

— Ну, слава богу! — вскричали они. — Мы только что собирались звонить в райком партии: сбежал в Америку редактор, номенклатурный работник...

Так я, номенклатурный, и вернулся на работу, поставив себе в таблице 20 дней за свой счет. Поехал в типографию, а там сразу окружили коллеги-редакторы: ну, как она, Америка?!

Я рассказал. Надолго стал героем дня — «занял верхнюю строчку рейтинга».

Когда все разошлись, ко мне подошел один из коллег.



— Послушайте, я хочу спросить... Вы были в Америке, а почему все-таки не остались?

Я объяснил. Он недоверчиво выслушал, отошел... Потом вернулся.

— Нет, не понимаю. Вы же всё видели, могли сравнить — почему не остались?!

В голосе его были удивление и досада. Человек всю жизнь мечтал о Западе, а вынужден был жить здесь, писать о социалистическом соревновании, перевыполнении плана, ударных вахтах... Казалось, это враньё — и притом бессмысленное — не закончится никогда. А я, который мог разом покончить со всем этим, вернулся, чтобы вновь тащить этот дурацкий хомут... И на дурачка вроде не похож. Непонятно...

Так что этого коллегу-редактора можно понять. Однако я не сомневаюсь: именно из-за непонимания — по самому большому счету — он и рванул, когда пришло время, голосовать за Ельцина и Собчака, и на «демократические» митинги бегал, и «демократический» Ленсовет бежал защищать в августе 1991-го... Попался на дурилку картонную. Не понял, что участвует в создании одной из форм диктатуры, установленной в октябре 1917-го. Такие, как он, обдурили-облапошили самих себя — и всех утащили за собой в «демократическое» рабство. Взгляните на нынешние СМИ, и коммунистические, и «демократические»: наше «социалистическое соревнование» по сравнению со всем этим — невинный пустяк...

Коллега мой, думаю, не был бы таким, если был бы верующим. Ну, какой из Ельцина президент, скажите на милость, какой президент?! Достаточно пять минут посмотреть-послушать его по телевизору — и все понятно... Понятно, если ты различаешь черное и белое, Добро — и Зло. Если в 1991 году хотя бы 10 процентов населения были бы православными — не случилось бы «демократической» катастрофы. Но какие там 10 процентов, когда и сегодня — от силы два...

Впрочем, если честно, вспоминал я, вспоминал слова моих орегонских родственников и знакомых:

— Оставайся, поможем...

Стоило мне только согласиться — и я оказался бы на другой планете. Хотя в 1989 году Америка уже не оставляла у себя «невозвращенцев», как раньше — но можно еще было, можно... Вспоминал я, вспоминал предложения остаться — когда оказался в своей десятиметровой комнатенке с видом на серую стену, с крысами и клопами да пьяным рёвом со всех сторон. И безо всяких перспектив... Самому завьить-зареветь можно!

Я писал заявления в райкомы-исполкомы, тщательно продумывал-излагал аргументы, факты, цифры... А мне в ответ всегда приходило несколько слов: отказать. Хоть головой об стенку бейся! Ведь только чудом, истинным чудом я решил впоследствии свой «квартирный вопрос». А большинство «демократизированных» россиян остались в клетушках-клоповниках навсегда...

Где-то недели через две после нашего возвращения в Ленинград приехала большая группа орегонцев и аляскинцев. Визит носил официальный характер, имела программа пребывания русских американцев в городе на Неве. Так, побывали они в Покровской старообрядческой церкви, в институте русской литературы Академии наук, где увидели рукописи легендарного протопопы Аввакума; им даже разрешили взять их в руки, полистать! Вместе со всеми ездил и я: и на службе в церкви стоял, и на обеде сидел — и книгу пламенного борца за старую веру, протопопы Аввакума, старовера № 1, в руках подержал... Положил ладонь на листы, постоял с закрытыми глазами, подумал...

Жили наши американцы не в гостинице, а у родственников, друзей — в коммунальках, так что имели возможность познакомиться со всеми сторонами нашей жизни. Мне своего крестного, Прохора Григорьевича, вести было некуда... А вот икону свою старую алтайскую я привез туда, где он жил — и услышала моя икона обращенные к ней слова древней молитвы — через столько десятилетий!

Погожив в Ленинграде несколько дней, русские американцы отбыли на Урал, а моя орегонская эпопея все продолжалась. Случайно увидел в газете объявление: Ричард Моррис, доктор этнографии университета штата Орегон, выступает с лекцией. Я поехал послушать. Зал неожиданно оказался полон, а сама лекция превратилась в дружескую советско-американскую встречу — это же было время первых свободных международных контактов! Доктор этнографии из Портленда рассказывал, естественно — о старообрядцах штата Орегон. Показывал слайды, фотографии, легко и просто —



по-русски! — отвечал на вопросы. К моему особому удовольствию, поведал собравшимся и о том, какой у него есть замечательный знакомый: и в Китае-то он жил, и тигров ловил, на руке у него даже есть тигриная отметина — и много, много еще чего интересного и хорошего о нем рассказал. О Прохоре Григорьевиче Мартюшеве, моем крестном отце.

Когда лекция-беседа закончилась, я подошел к Ричарду Моррису, представился, сказал: только что прибыл из Орегона, от Прохора Мартюшева.

— Эх, как бы мы сейчас пошли посидели, выпили — как в Орегоне! — воскликнул гость из Америки. — Но я уезжаю в аэропорт...

Проводил я Ричарда Морриса до автомобиля, а вскоре увидел по Ленинградскому телевидению большую передачу, где он во всех подробностях рассказывал о жизни старообрядческой общины в Орегоне.

— Там высокая моральность — я знаю их, я подружился с ними... И я стал вести себя довольно прилично, — пошутил ученый американец.

Добрая, теплая, душевная вышла передача — я записал ее, и время от времени смотрю: много фотографий, видеосъемок... Смотрю, вспоминаю моих дорогих орегонских староверов.

* * *

Бийск, родной Бийск... Что же я первое помню, от рождения? Деревенский дом, угол в нем, полосатый матрас — всё наше с матерью имущество, теснота, людской гомон, масса всякого чужого народу, неуют... Мне и места там не было.

Потом другая изба, старая бабка-хозяйка, тишина. Ни друзей у меня, никого. Летом я частенько сидел на дереве или на заборе — и глядел на воду, на Мочищенское озеро. Есть в Бийске такой район — Мочище, а озеро давным-давно исчезло, пересохло. А тогда я в нем купался, с утра и до вечера. На ногах у меня были цыпки, от воды и грязи — полвека назад жизнь была намного проще, внимания на всякие там цыпки не очень-то обращали.

Жили мы и в других избах — обычно вместе с тетей Тасей, её семьей. Но вот однажды подъехал грузовик, и мы в кузове, на узлах, поехали в новую жизнь — на свою квартиру! Хотя... Какая там «своя квартира»! Просто мужик, с которым дядя Ваня, муж тети Таси, работал в одной бригаде грузчиков — бригадир, получил двухкомнатную квартиру в деревянном двухэтажном доме, и одну комнату, маленькую, уступил своему товарищу. Такие были времена и нравы! И случилось это летом 1957 года... Те летние дни я, кажется, помню все до единого.

Приехали мы на улицу Социалистическую, в районе новостройки (хотя и на Мочище улицы назывались типа «Ударная», и тому подобное). Кучи песка, жара — ах, эта бийская летняя жара, когда во время налетающей грозы лужи просто кипят! А в остальное время — запах пылины, горячих досок, волны раскаленного воздуха...

Поселились мы сначала... в сарае, потому что дом еще не готов, к тому же он был «прорабский» — прорабы там сидели, так что мы все лето в сарае и прожили. Сарай назывались стайками: меж домов стояли длинные ряды сараев-стаек, для каждой квартиры — своя стайка. Но не только мы так жили: люди перебивались в сараях, карауля свои квартиры. Чтобы не захватили! Случалось, в только что построенном доме раздавались крики, в открытые окна летели вещи — я видел и слышал.

А как же ордера? Да бог его знает, может, и ордеров поначалу не было — а простота нравов была: Ваське и Вовке дали квартиру — а я чем хуже?!

Наконец, зашли и мы в свою комнату, в кухню. Помню, дядя Ваня осторожно повернул кран: есть ли вода? Ой, есть! Потекла прямо на вещички, сложенные в раковине. Я впервые увидел, как из крана течет вода... Но прожили мы все вместе в этой комнате, кажется, лишь несколько дней — и слава богу. Из дома напротив уезжала молодая пара, освобождали такую же комнату, и предложили нам с матерью въехать: надо было только купить у них деревянную скамейку и жестяную ванну!

Такая вот жисть... Тут надо вернуться к истории нашего семейства, немного рассказать еще, как мать оказалась в таком невеселом положении, ведь она была, по общему мнению всей родни, красавицей, и могла отлично устроить свою судьбу, лич-



ную жизнь. Кстати, ее милость и спокойствие заметили еще Рерихи, и просили отдать им в дети — и это, кажется, не легенда — я встречал упоминание этой истории в мемуарной литературе. А среди родни разговоры ходили такие: американцы просили отдать им Олю в дети. Просили не американцы, а Рерихи, и... в дети — не в дети, а, наверное, на воспитание.

И вот такая жизнь, по чужим углам, в сарае, с ребенком...

Вообще, судьба матери не один раз менялась — и самым несчастным, печальным образом. После Нарыма они с тетей Тасей оказались в детдоме, в хороших условиях — но вскоре за ними приехал родственник и отвез на родину. Мать говорила мне: она так не хотела, так не хотела ехать... Но Тася заусилась: едем!

Родственника тут же, по приезде в Уймон, арестовали — и обе внучки Вахрамея Атаманова оказались никому не нужны. Еще печальная усмешка судьбы: в доме Вахрамея власти устроили интернат — и сестры Атамановы пришли в свой дом уже как воспитанницы интерната...

Но всё же детям новая власть не давала пропасть: они и выросли, и школу закончили. Пришло время взрослую жизнь начинать, замуж выходить, и женихи были, но тут — война...

— Иду утром по Усть-Коксе, — рассказывала мать, — еще ничего не знаю, и вдруг вижу плакат, черными буквами: война!

Время наступило черное, страшное. Женихи все ушли на фронт — и не вернулся никто. Приходили письма, одно из них мать запомнила на всю жизнь — из Сталинграда:

«Ходим в атаку, — написал ей парень, — впереди танки, по горам трупов, как по волнам, а сзади идем мы...»

Наверняка в одной из атак упал и он на эту гору трупов... Не вернулся никто.

А в Усть-Коксе собрали девчонок, провели курсы медсестер — и тоже отправили на фронт. Из этой группы домой вернулись две: одна без ноги, другая беременная... Мать тоже окончила эти курсы — да ее оставили работать в Коксе, валенки для фронта катать.

— День и ночь катали, здесь же ели и спали. Бывало, только соберешься хоть чуть-чуть поспать или домой сбежать — появляется мастер: «Девчонки, надо еще смену поработать...»

Тася — решительная, боевая Тася — ушла через горы в Казахстан, добралась до Усть-Каменогорска. А мать всю войну без выходных-проходных отработала на промкомбинате — и не получила даже справки, не говоря уж о трудовой книжке. И — никого и ничего, ни кола ни двора. Уехала в Горно-Алтайск, устроилась в столовую военного училища. Можно было подумать о любви и семье — но стала болеть, начали опухать ноги, да и училище вскоре перевели в другой город.

Врачи посоветовали матери уехать с гор на равнину. До Бийска — сто километров, здесь болезнь и прошла. И Тася сюда же приехала, и еще немало родни — сбежали от рабской жизни в деревне, в городе все-таки было чуть полегче.

Сняла мать угол у старухи, в районе вокзала, а дом этот оказался... воровской «малиной». Воров и всякого «деклассированного элемента» после войны в стране было пруд пруди. Да еще чем-то не угодила вора, стали они ей угрожать... А жиличка-соседка ее подчистую обворовала — и сбежала.

Поистине: хоть караул кричи! Было у матери такое присловье, частенько я его слышал...

Через некоторое время встретила она свою соседку на улице — под ручку с офицером. Та сама к ней подошла, сунула деньги, прошептала:

— Только молчи...

Однако всё равно: хоть караул кричи. И тут встретился мой отец. Вершинин Иван Васильевич... Солидный мужчина, бывший офицер, майор, но примерно в таком же положении. Находился в госпитале, в глубоком тылу, в чужом городе, а вышел из госпиталя — и неизвестно куда ехать. Семья, жена и двое детей, погибли в блокадном Ленинграде, и возвращаться туда он не хотел...

Сошлись, стали жить вместе. Пожили, пожили — и надумали ехать к его родителям, в город Керчь, а потом и в Краснодар. Поехали через Среднюю Азию, заезжали зачем-то в Алма-Ату — в этом городе сфотографировались, оттуда у меня единственная фотография моего отца...



Ехали они, ехали и доехали до Ашхабада. И угораздило же их оказаться на вокзале именно в тот момент, когда произошло страшное, вошедшее в историю ашхабадское землетрясение 1948 года. Мать с отцом, правда, уцелели, но в суматохе у них украли все вещи, все подчистую, даже сумку с документами. Пришлось возвращаться в Бийск. Разговор с начальством наверняка был короткий:

— Какая такая Керчь? Может, еще в Москву хотите? В Бийске живете, туда и отправим. Скажите спасибо...

Скорее всего, так и «поговорили», слово в слово. Времена-то — глухие, послевоенные, сталинские.

Вернулись назад, а вскоре и я родился. В это время снимали угол вместе с другими дорогими и близкими мне людьми: моей двоюродной теткой Лепестиной Фёдоровной Ерлиной и ее мужем Дмитрием Леонтьевичем. Долго, долго они вспоминали, какими заботливыми родителями были мои мать и отец. Это была их любимая тема разговоров: как меня мыли каждый вечер, как отец бегал на рынок, покупал свежей рыбки, чтобы сварить бульонцу... Когда я, уже совсем взрослый, прожив много лет в Северной столице, приезжал в отпуск, когда позади оставались «Петербург, снега, подледцы» (слова Гоголя), когда я, весь измочаленный — живого места не было — сидел с ними за одним столом, одно только их присутствие было самым лучшим бальзамом на все мои раны...

Рассказы о детстве, воспоминания — это для многих бальзам; но тут все-таки особое: сами люди, мои дорогие тетя Лепя и дядя Митя, мои родные староверы...

Собирались ли мои родители пожениться? Наверняка да! Такого понятия — «гражданский брак», в те времена не существовало. Однако я сомневаюсь, был ли у матери паспорт, не числилась ли она «беглой крепостной»? Жителям советского села вплоть до 60-х годов паспортов не полагалось! Да тут еще эта история в Ашхабаде. Канитель с паспортом продолжалась где-то до 65-го года! Имелся какой-то временный, который надо было постоянно продлевать, ходить в милицию...

Отец неожиданно умер летом 1953-го: раны, война, тяжелая жизнь... Перед этим отослал все свои деньги родной сестре, куда-то на Урал, на покупку дома.

— А мы еще заработаем!

И остались мы с матерью... Даже не у разбитого корыта — голые люди на голой земле. Отца я какое-то время помнил: вот тут мы с папкой сидели на бревнышках! — а потом забыл. Раскатились бревнышки...

Потолкавшись по углам тут и там, все мы, вся родня, в конце концов оказались в районе новостройки, промзоны. Даже автобусный маршрут был такой: «Центр — Промзона». Кстати, в Бийске сохранился прекрасный исторический центр. Уникальные деревянные, каменные дома, церкви, особняки — целые улицы. Бийск — большой город, и в самом конце советской власти, как я читал, он мог стать областным центром: область фактически существовала — только оформить документы — да помешали очередные исторические пертурбации.

Итак, мы — на «31-м квартале», тетя Лепя с дядей Митей — на «тресте», другие — на «1-м участке» — это всё новостройка, промзона.

В начале своих заметок я упоминал, что это такое было и для чего: создавался комплекс оборонных предприятий — химкомбинат, олеумный завод, машиностроительный завод и тому подобные «лесные братья». Вырубались березы и сосны, рылись котлованы — подземные цехи устраивались! — возводились бетонные и кирпичные стены, дымили трубы, на город валил «химдым» — то рыжий, то синий... Гробились материальные ресурсы, деньги, человеческие жизни — ради сохранения «стратегического баланса».

— Людишек, конечно, жалко — зато какую экономику построили! — сказал большой советский начальник.

Пришел момент — и рухнуло все к чертовой матери! Господи прости. Так, кое-где дымок еще курится. Да вздохи слышны, как здорово работали...

Создавал все эти заводы-предприятия строительный трест № 122 — вот там в основном и трудились мои родственники. Разнорабочими, подсобными рабочими, грузчиками... Наверняка можно было пройти какие-нибудь курсы — и стать токарями, слесарями — каменщиками, в конце концов! И работать легче, и платят больше, и начальство уважает — ордена-медали дает. Однако мои родные-староверы, как я понимаю,



инстинктивно сторонились всего этого. Ну, не могли они, по своей крестьянской натуре, по восемь часов в день да каждый день, не поднимая головы, класть кирпичи! И уж тем более, не видя солнечного света, стоять в цехе у станка, точить железяки. Правда, дядя Митя Ерлин был сварщиком — что называется, квалифицированным рабочим. Сварному делу научился он еще в деревне, и дальше так и «выявлял себя» в этом направлении. На «промышленные гиганты» не стремился, а трудился в разных мелких шарашках, при тех же гигантах: отремонтировать, приварить-прихватить. Причем дядя Митя был «летун»: полгода-год на одном месте — потом на другом; сегодня он в каком-нибудь СУ-15, завтра на автобазе, в «дикой дивизии» — и так далее. Была такая организация: «дикая дивизия»! Рабочему и знать не надо, что называется она, скажем, «Запсибстройметаллконструкция». «Дикая дивизия» — и всем понятно, что это и где.

У меня в трудовой книжке задолго до выхода на пенсию появился вкладыш, а у дяди Мити трудовая — наверняка в палец толщиной. И палец этот указывает на любовь к свободе! Совершенно серьезно заверяю-заявляю: уж дядю Митю я знаю. Не станет долго он терпеть начальственные указания, нотации да попреки: сходи туда, принеси то, сделай это... Да побыстрее! Пошлет куда подальше — и свободен. Благо, советское время имело одну особенность: перешел дорогу — и устроился в другую шарашку. Тем более что везде платили примерно одинаково.

Характерный момент. Уже в наше время, в отпуске, еду в Бийске на трамвае, смотрю — дядя Митя на остановке стоит. Я выскочил — обнялись, поговорили. Оказалось, дядя Митя, уволившись, едет домой. Будучи на пенсии, подрабатывал сторожем где-то у «лесных братьев». Не сработался.

— Я им говорю: тут вот так-то надо... А они мне: не-е-т, надо вот эдак... Да пошли они все!..

А дядя Ваня Жмак, муж моей тети Таси, всю жизнь проработал на ТЭЦ — грузчиком, на угольном поле. Одно-единственное лето он уходил в трамвайный парк — рельсы и шпалы менял — а потом снова ТЭЦ, какой-то «Котлоочист»: кувалдами оббивал изнутри нагар на тэцовских котлах. Ад...

Когда я начал хорошо учиться в школе, вся родня хвалила, радовались за меня: вырастешь, выучишься, не будешь вкалывать, как мы, в жаре, на холоде, в грязи! В чистом будешь ходить, на стуле посиживать.

Сильно подозреваю, что, как многие простые люди, всякий умственный труд они и за труд не считали: в кабинете сидит, в костюмчике да в галстукe ходит — какая же это работа?!

Не знали, простые души, известную истину: человечество за всю свою историю не придумало ничего более трудного, чем пустой лист бумаги — и необходимость писать на нем. Сейчас мне — ровно шестьдесят, гораздо больше, чем каждому из взрослых вокруг меня в то время. Сижу, пописываю, поглядываю на петербургский дворик, вспоминая бийский. Мы, дети, находились под женским присмотром: стариков и старух в новостройке не водилось, а женщины были в основном домохозяйками. Готовили еду, стирали белье в корыте, на стиральной доске, развешивали на улице — миллион дел! — и за детьми приглядывали. А жизнь у детей вся проходила во дворе. В любом дворе: московском, ленинградском, бийском. В ленинградском-петербургском дворике, куда я гляжу из окна, только-только, несколько лет всего назад, кончилась традиция: приходила весна — и асфальт расчерчивался на «классики», девчонки прыгали по квадратикам. Сейчас, во-первых, всё заставлено машинами, а во-вторых... Во-вторых, в-третьих, в-десятых — закончилось всё! Закончилась дворовая жизнь. Дети, молодежь, даже пьяницы — сидят по домам. По-научному это называется «атомизация общества». «Демократы» говорят об этом просто как о факте, патриоты — об умышленной, злонамеренной политике. Я — патриот...

Игр во дворе было множество. Футбол, городки, лапта, догонялки, прятки, «война», «чижик», «ножички»... Как с утра начиналось, так весь день и продолжалось. Надоест одно — начинается другое. Футбол я любил до самозабвения — и бескорыстно: у меня не всё получалось, а некоторые пацаны были прямо виртуозы. Зато городки!.. Тут мне равных не было. Я и сейчас, к удивлению моего 16-летнего сына, запросто могу влепить, почти не целясь, снежком или камешком в далеко стоящее дерево. Это — от городков.



Сейчас мой бийский дворик — обычный пустырь. Иногда на его краю сидят, зевают и кряхтят с похмелья местные алкаши — вот и все события. Нет, на самом деле — ничего, я ведь захаживал в свой дворик чуть не каждое лето: пустота и тишина.

Среди детских игр тех лет запомнилась еще особая пасхальная игра: биться крашеными яйцами. Зажимаешь яйцо в кулаке и по очереди стучаешь: тупым концом — острым концом. У кого яйцо осталось целое — тот победитель. Вот и всё.

Кстати, кроме покраски яиц на Пасху, ведь никаких других отзвуков религиозных праздников не было. Да и что такое Пасха — мы не знали, и многие взрослые наверняка не знали! Не видели икон, не знали молитв, не умели креститься...

Читаю сейчас, по ходу дела, ученого человека, его слова про те времена: «общинный крестьянский коммунизм» как версия «народного православия»... Дальше тоже интересно пишет: «к концу 70-х годов на арену вышло поколение, в культурном отношении очень отличное от предыдущих».

Очень, я бы сказал, очень отличное. С чем бы сравнить? Ну, как жители Северной Кореи — это советское поколение 30—50-х годов; а Франции, Германии, Англии — наше поколение 70-х. Притом образованное! Очень, очень отличное. Перед нами вся эта политбюровская орда, Горбачев с Лигачевым да Ельцин с академиком Яковлевым — тёмное дубье да зверье, загнавшее нас в рамки дикого «дефицита». Впрочем, идея краха коммунизма была заложена еще на старте — в 1917-ом, и наше поколение это понимало. Как бы сейчас ни мудрили философы.

У меня же — ностальгические заметки, рисующие живую картину — надеюсь, интересную и познавательную для читателя. Ну вот пожалуйста: во время написания этих строк исполнилось 50 лет с того дня, когда безграмотный лысый толстый дядька — Хрущев — объявил о строительстве коммунизма, и о том, что через 20 лет коммунизм будет построен. Заявляю как свидетель: никто, ни один человек — а я слышал все разговоры вокруг — не поверил ни в какой коммунизм!

Помню, мы, дети, приставали к учителям: и что, я смогу зайти в магазин и набрать конфет сколько захочу?!

— Не-е-е-т, — объясняли нам, — ты будешь сознательный...

В 1961 году конфет в магазинах было — завались, а в 1981-ом — шаром покати...

А «великий и мудрый» Сталин? «Вождь народов»? Я, правда, его не застал, но достаточно посмотреть кинохронику, фотографии... Как-то я даже его сочинения почитал. Боже мой, какая дурь, дикость, варварство! Северная Корея...

Кстати, постаревшие «северокорейцы» в 1991-ом бегом кинулись на избирательные участки голосовать за Ельцина. Понравился он им. «Великий и мудрый».

Во многом они и привели «демократов» к власти. «Отличное в культурном отношении» поколение при виде Ельцина испытывало оторопь и шок: этот человек способен на всё... Так оно и вышло, для того и выставили его «демократы» перед собой — как таран...

А Горбачев... Было видно: человек анекдотически глуп... но забавен. В 2011 году у него случился юбилей. Ну, думаю, цирк: сейчас вручат ему новомодный орден «За заслуги перед Отечеством»! Нет, догадались выдать другой. А сам он так до сих пор и не понимает, что натворил, и что говорит, и что городит...

И продолжается наш бег по кругу, под присмотром «все тех же лиц того же круга» — только уже безо всяких лозунгов. Бег в никуда, без цели и смысла. Хотя вроде и храмы строятся, и купола золотятся.

— Но это будет время зла и лжи, — сказал в свое время православный святой, преподобный Серафим Вырицкий.

Ну, а мы тогда, в конце 50-х, в 60-х годах, — все были молоды, силы кипели — жили как могли. Не всё же работа, работа, школа да игры во дворе — случалось и нечто необыкновенное — праздники, приезды родственников, в основном из Горного Алтая, а то и вообще бог знает откуда: вон у меня до сих пор сохранилось фото с Василием Вахрамеевичем Атамановым и кучей родственников, у дома на 31-м квартале. Нет среди них только меня... Это было, видимо, то несчастное лето 1962 года, когда меня сначала отправили в летний лагерь при интернате, где я всю зиму прожил, а потом — в пионерский лагерь «Ключи», всё с теми же интернатскими пацанами. До сих пор живы те чувства: горе, хоть и детское, но горе. Настоящее... Пропало лето!



Помню я Василия Атаманова при каких-то других обстоятельствах. Мне он запомнился как очень спокойный человек с внимательным взглядом. Теперь понимаю: это взгляд человека, много, много повидавшего, испытывавшего на своем веку... Другие родственники с Горного Алтая, такого же возраста, не говоря уж о более молодых — все шумливые, говорливые, веселые, певуны и плясуны — хоть и староверы!

А вот речью, манерой говорить — они отличались от городских, слова произносили мягко и неспешно.

— Всю зиму пролежала в больниси, — жаловалась одна гостья.

И совсем молодой парень тоже толковал про «больниси»: справки в больнице собирал для чего-то. Кстати, народ долго не говорил слово «поликлиника»: слишком уж мудрено, язык сломаешь! А разговоры, как у всех простых людей, шли про здоровье да цены на продукты. В самом деле, не новинки же литературы обсуждать, не политику! Но когда Хрущева сняли, это обсуждали: «лысый полетел». Не любили почему-то Хрущева! А знаете, я думаю, почему? Слишком много болтал, слишком лез на глаза. Народ этого не любит. Вот Сталин, хоть и настоящий палач был, но упоминали о нем осторожно и уважительно. И вовсе не из-за победы в войне или страха, а из-за того, что не видно и не слышно его было... Таковы люди, такова жизнь!

Привозили гости из Горного Алтая подарки, гостинцы: листья бадана, золотой и красный корень, да еще какую-то «щетку» — тоже заваривать, всё — вместо чая. Про золотой корень при этом обязательно вспоминали стародавний случай: одна баба в Уймоне выпила целую кружку крепкой заварки — и у нее «жилы полопались»; острее с ним надо!

Непрененно привозили кедровые шишки — кедровые орехи. Откуда ж всему этому добру в Бийске взяться, кроме как с Горного Алтая?! Особенно бадан, помню, не переводился: чай-то денег стоит, а тут — бесплатно! Помню разговоры:

— Вот приедет Ванька Зубакин — он еще бадану привезет.

Ванька Зубакин — двоюродный брат матери и тети Таси, очень близкий человек, они и жили в детстве вместе. Вспоминается мне и смешной случай. Когда тетя Тася получила квартиру в пятиэтажной хрущевке, Иван Зубакин искал адрес по бумажке: дом такой-то, подъезд такой-то, квартира такая-то. Вот он — дом, а что за «подъезд» номер третий? Обошел вокруг дома — нету никакого третьего — один к дому подъезд!..

Долго и весело все смеялись, когда встретились, и много лет со смехом вспоминали этот случай — и сам Иван Зубакин, про это «третий подъезд»... Иван Зубакин — отец моего троюродного брата Семёна Зубакина, который тоже является правнуком Вахрамея Атаманова. Семён достиг больших государственных должностей, был председателем правительства Республики Алтай...

А с Иваном мы в последний раз встречались в Горно-Алтайске в 2006. Был он уже старенький, больной, но в здравом уме. Хорошо посидели, поговорили о жизни, о прежних временах, о наших родственниках — старовегах...

* * *

В советское время, заполняя разные анкеты — в школе, на работе, в институте — я всякий раз морщился, натываясь на строку: социальное происхождение. Варианта всего три: из рабочих; крестьян; служащих. Не из тех я, не из других, не из третьих... Используя советскую терминологию, мне надо было писать: из люмпен-пролетариев, притом с полной пауперизацией — обнищанием то есть. И это было бы чистой правдой. Но приходилось врать: из рабочих, из служащих...

Ну вот, перебрались мы с матерью в пустую комнату (чужую!) комнатёнку, и пошла она «кустариваться на службу» — уборщицей, в трест № 122, чтобы закрепиться в этой комнатёнке — и официально устроиться на работу, наконец! Как и на что жили мы до того, я еще скажу. Заручилась бумажкой за подписью аж самого заместителя председателя горисполкома: «прошу изыскать возможность трудоустроить гражданку»... Вон она, до сих пор лежит у меня, эта бумажка — со следами материнных слёз... Пороть бы надо начальничков за такие формулировки! До усёру пороть, до полного образумления...



Трестовский начальник, взяв такую «бумажку-рекомендацию» в руки, злобно произнёс:
— Я вышвырну тебя из этой комнаты...

Но это он просто от злости... Потому что «вышвырнуть» не имел права: мать с ребёнком. А уборщицы-то всегда и всюду нужны, мог бы и принять — получить добросовестного работника. Нет, сильнее оказалась злоба на бумажку, злоба на своё бессилие. Злоба, равнодушие, бессердечность.

Морока, неопределенность продолжались — и с комнатой, и вообще... Да! Так на что же мы жили-то, после смерти моего отца? Дело в том, что еще в довоенной жизни он был прекрасным портным — и мастером по ремонту швейных машинок. Перед отъездом из Бийска он и жил этим ремеслом — чрезвычайно востребованным, — и мать обучил: машинки ремонтировать. Почти в каждом доме тогда была швейная машинка, чаще всего «Зингер».

— Портновское дело слишком кропотливое, сложное, а вот машинки — это тебе кусок хлеба на всю жизнь.

Трижды ах: как же отец оказался прав!

Год шел за годом, но ни жилья, ни профессии, да и я еще маленький — а тут сходил, две-три машинки отремонтировал — и деньги на какое-то время есть. Так мать и втянулась в это дело, и со временем стала великой мастерицей, на «вызов» частенько ходила с одной отверткой в кармане:

— Да там только отрегулировать надо...

Но и запчастей всяческих имелась целая сумка.

Так что когда в нашей жизни в 1960 году появился Измайлов Валентин Алексеевич, учитель у него оказался прекрасный. Измайлов до войны окончил финансово-экономический институт, был немалым начальником на Дальнем Востоке, войну прошел офицером. Имел в Бийске жену, сына. И вот — сошел с круга. Спился. Сёстры — врачи — устроили ему первую группу инвалидности, 120 рублей пенсии — целая зарплата! К нам он явился с галстуками, костюмами, хорошими пальто и ботинками. Поначалу устроился в трест 122 каменщиком (комнатёнка!), но быстро вылетел.

— Руки золотые — рот говёный, — выдал характеристику мастер со стройки, пришедший узнать, что с его работником.

Семейная жизнь как таковая быстро закончилась, Измайлов пустился во все тяжкие (хотя не валялся и не блевал), никаких денег не хватало — тут он и обучился у матери ремонтному делу.

Вспоминаю сейчас... Прости меня, Валентин Алексеевич, но второго столь же пьющего человека я в жизни не встречал! Норма — шесть бутылок крепленого вина в день. Почему я помню? А в торец кухонного стола умещалось ровно шесть! Ближе к ночи ставилась последняя пустая бутылка, Измайлов брал под мышку кошку — и брёл спать. И так каждый день. Да: любил еще почитать газеты, поиграть со мной в шахматы. Но это когда я был ребёнком, подростком, тогда ещё был для него чем-то забавен, интересен. А так... Типичная картинка советской жизни. Бездуховность — даже неловко писать это слово, настолько оно здесь наивно звучит.

Бессмысленность, полная бессмысленность существования. Пожалуй, так... Никогда и нигде за всю историю человечества — безусловно! — не пили так, как в Советском Союзе в период «развитого социализма» — где-то с 1965-го по 1985-й год. Притом пили-то, пили-то что! Бормотуху. У нынешнего поколения глаза бы на лоб полезли от её запаха и вкуса.

От такой «личной» и «коммунальной» жизни и мать в конце концов серьезно заболела и тоже получила группу инвалидности — с грошовым пособием. Так что швейные машинки давали ей кусок хлеба до самого конца.

Единственным везением, даже чудом в её жизни можно считать то, что однажды вся двухкомнатная квартира стала нашей — и даже ордер выписали на мать. Я уже учился в 10 классе, однажды сию, делаю уроки — и в комнату (комнатёнку!) входит компания сиятельных женщин — нарядных, благоухающих.

— Да, да, условия неподходящие, — произнесли сиятельные феи...

Дело, значит, такое. Соседи наши получили квартиру, освободилась комната, и никто бы нам её не отдал, но бийская сестра-врач Измайлова дала знать сестре-врачу, начальнице, из краевого центра. И та лично приехала «проверить условия»...



Сейчас, бывая в Бийске, заезжаю к матери на кладбище — вот и в 2010 был. Пока другие родственники выдирали буйное алтайское разнотравье, я красил оградку на лютой жаре. Фотография на памятнике повисла — я булыжником аккуратно гвоздик подколотил, закрепил. Потом всё оглядел: ну что ж, не хуже, чем у других!..

* * *

А еще обязательно бываю у дома, в доме, куда мы приехали в 1957 — и между сараями прохожу. Без этого мне не жизнь! Постою на площадке-пустыре, повспоминаю друзей детства, футбол, городки, догонялки — и на дом посмотрю. Боже, какой же он ветхий, старенький, выцветший, ободранный, обитый там и сям рейками, разномастным толем! Похожу, похлопаю перила, поглажу досточки, подберу камешек, выпавший из фундамента — на память. Он помнит меня! Подержу его в кулаке в трудную минуту, обменяемся с ним памятью и теплом — и на душе легко.

Именно этот дом я считаю домом своего детства, поскольку всё время проводил здесь — у тёти Тасти. И все друзья жили здесь, и все интересы — здесь. И самая-самая первая любовь — и смерть...

Любовь... Я и думать об этой девочке не смел, и глядеть на неё... стеснялся, что ли: она была чуть постарше, и даже не разговаривал с ней ни разу. О чём?

Смерть... Да, это была первая смерть, которую я увидел. И — почти ничего не понял. Просто вдруг побежали к дороге взрослые, рядом с домом. На обочине валялся большой велосипед — и возле него девочка: чистенькая, беленькая, в розовых носочках. Лежала — и не шевелилась.

Из разговоров услышал: ехала на багажнике, наверное, с папой. Сбил самосвал... Я, конечно, тогда не осмыслил: что это значит — умерла? Когда вокруг тихий вечер, когда под ногами тёплая мягкая пыль, а кругом — друзья, родные, мама... Сегодня, глядя на себя тогдашнего, хочется еще написать: когда по самые вихры на макушке наполнен счастьем...

Из тихого счастья вспоминается летнее утро, я спускаюсь — конечно, босой — по тёплой деревянной лестнице, а всё вокруг заполняет солнечный свет. Тоже свой, родной!

А однажды нам, ребятишкам, пришла фантазия: ночевать на чердаке. Большой чердак, под шиферной крышей. С длинными стропилами, тёмными углами, таинственный и загадочный. Взрослые разрешили. Мы притащили матрасы и разные тряпки, улеглись, лежали в темноте, болтая разную таинственную чепуху. Запомнилось навсегда!

Бурное счастье было зимой, когда мы вечером играли в общем коридоре и на лестнице, прячась за стойки перил и развешанные пальтишки — и лупили друг в друга мячиками! Визгу и крику было столько, что взрослые нас в конце концов разгоняли.

А на улице — мороз градусов под 40, и синяя снежная гора, прямо у входа, где мы отводили душеньку уже днём, устраивая штурмы — или тихо прокапывая туннели и ходы. А весь дом, как большая гора счастья, смотрел на нас и радовался...

Радовался дом и за взрослых — когда звучали песни на праздниках. Не всё же бадан пили, кедровые орехи щелкали да про «больнисю» говорили. Такую дробь каблук выбивали — стукоток на весь дом стоял! И песни пели — какие в провинции до сих пор на гулянках поют: «Вот кто-то с горочки спустился...», «Ой, рябина кудрявая, белые цветы...», ну, и коронное — «Огней так много золотых на улицах Саратова-а-а-а... Парней так много холостых, а я люблю жена-а-а-а-това-а-а-а!»

На столе — брага, вареная картошка, селёдка да квашеная капуста — целый таз; всё самое простое, самое дешёвое. А за столом — самое дорогое: искренняя радость, настоящее веселье. Счастье...

«Программу» пытались разнообразить тётя Лепа с дядей Митей: песнями и ча-стухами собственного сочинения. Впрочем, пели они всё, что им нравилось: и своё, и народное, и эстрадное. Так, услышали они по радио песню про «город мой солнечный Сплит» — и пели-прославляли этот неведомый никому «солнечный Сплит».

К себе зовёшь ты меня,
О, Сплит, жемчужина моря!



А уж весёлых-шутейных песенок-частушек в их репертуаре было поистине море. — Завлека-а-тельный Серёжа, — начинает ласковым голосом Лепестинья Фёдоровна. — Нос рябой, ко-ря-ва харя! — грохает Дмитрий Леонтьевич.

А далее — хором:

— Ой-лы, чиндалы, лычка-чинда чечевинда — ох, кручинда-чиндала!

Десятки лет они пели-сочиняли, и только в двадцать первом веке, когда уже и дяди Мити не было, их творчество получило известность: бийское телевидение, услышав однажды про народную певунью-сочинительницу, наведальось к ней, рассказало про неё...

А дядя Митя был еще и настоящий воин-герой: всю войну прошел в пехоте! До Будапешта дошел, и даже там, в страшнейших уличных боях, сумел остаться живым.

— Пробираемся вдоль стенки — и вдруг оказываемся — как на расстреле! — рассказывал дядя Митя. — Стрельба, кирпичная пыльца такая, что ничего не видно. Пыль малость осядет, вижу — всех перебило... А я цел!

Однако, как сочинитель, хлебнув лишнего, дядя Митя мог пуститься в такие фантазии — только держись! Тётя Лепа и удерживала: от погони на танке за Гитлером, например. Хотя это было не хвастовство, а фантастическое сочинительство — все отнесилось с пониманием.

Ну, и еще про один бой Дмитрий Леонтьевич рассказывал... Закончилась война, вернулся он в Горный Алтай, в свою деревню. К молодой жене. Легли спать... И тут на них напали... полчища клопов!

— Да во-о-т такие клопы! — показывал дядя Митя свой здоровенный ноготь. — Ну всё, думаю — пропал, погиб!

И в старости он рассказывал как-то за столом эту историю, надев военную фуражку и китель — весь в орденах и медалях.

Хохотали до слёз...

Если тётя Лепа с дядей Митей — певцы-сочинители, то тётя Тася — искусница по всяким словечкам и выражениям. Это и по характеру ей подходило: острая на язык, решительная, боевая. Крутясь целый день по хозяйству, она и сыпала этими словечками. Обожглась, укололась:

— Куток!..

Случилось что-нибудь поострее:

— Ёкарный бабай!..

А когда я швырнул в коридоре новенький резиновый мяч, и он тут же напоролся на что-то острое, мигом и непоправимо сдулся, тётя Тася произнесла своё коронное:

— Надолго собаке блин...

Порвались ли новые штаны, разявились ли новые ботинки, поломались ли новые санки:

— Надолго собаке блин.

Нехорошую женщину тётя Тася могла назвать так:

— Сука меделянская!

А мужчину:

— Уразбай покровский!

Но это — только словесные характеристики за глаза: открытых скандалов с кем-нибудь я не помню.

Хотя нравы вокруг — именно вокруг, в жизни — были грубые, жестокие. Бедность — мать всех пороков... С полочки, аванса — новостройка вся гудела и шаталась от пьяного разгула. Доводилось мне видеть и жестокие массовые пьяные драки мужиков... Застал я, кстати, и времена, когда пацаны — подростки — ходили улица на улицу и даже район на район: орали, кидались камнями, наступали-отступали. Кажется, это повсеместно закончилось к 1970-м годам, когда пришел телевизор.

* * *

Осмысленно я приехал в Верхний Уймон первый раз в 1983 году, в отпуск, из Питера. Помню, мой тогдашний приятель, аспирант ленинградского вуза, сам — из Бийска, представлял меня своим друзьям-знакомым на невских берегах так:

— Атаманов — наш сибирский князь!

Имея в виду, конечно, мои корни — от Вахрамея Атаманова.

Осмысленно-то осмысленно, да только вот религиозные, духовные вопросы оставались для меня закрытыми наглухо, напрочь, абсолютно. И поговорить на эти темы было не с кем. Так, какие-то отголоски, самые первые шаги, небольшое приоткрытие. Иду по улице, а навстречу парень, голый по пояс, не местный. Уймонская старушка при виде парня крестится, отворачивается в сторону, пытается его усозвестить... Потом и на меня обращает внимание: а ты кто таков, чей будешь?

— Атаманов, правнук Вахрамея Семёныча.

Старушка глядит на меня пристальной, выдает приговор:

— А ты на него не пох-о-ож...

Но тут же спохватывается: да, каждый таков, каким его Господь создал, у каждого свое лицо. А потом и поговорили мы с ней хорошо, душевно: признала своим. Но отошел в сторону — и снова житейская суета и страсти, грехи и пороки... А я ведь еще и журналистом был, газетчиком. Вспоминаю сейчас с ужасом всю белиберду, которую выводило моё перо про социалистическое соревнование, трудовые вахты, перевыполнение плана... Ничего этого в природе не существовало! Не просто враньё — фантазмагория, притом напряженная, жесткая, жестокая... Как в таких условиях умудрился написать очерк — путевые заметки для журнала «Нева» — ума не приложу. Под пьяный рёв соседей по коммуналке в Питере, да со всех сторон — да еще и сам, голубчик, хорош: я же говорю — все грехи и пороки. Я был для них полностью открыт — беззащитен. Мотало меня — как соринку в Катунь! Только молитвы моих родных-староверов, пребывающих — я надеюсь — у престола Божия, меня и спасали.

Они меня вымолили. Только так могу объяснить своё второе рождение — во Христе, и открытый взгляд на мир.

В 2010-ом году еще раз приехал в Верхний Уймон. Снова прошелся по усадьбе Вахрамея Семёныча Атаманова. В самый туристический сезон попал — вместе со мной ходила англоязычная группа, и всё-то было слышно: Рерих, Рерих, Рерих. Я — с полным пониманием: если бы не заехал сюда Рерих в 1926 году, вероятнее всего, вообще бы никаких туристов и музеев в Уймоне не было, и про Атамановых никто бы не узнал. Как они здесь жили, добывали хлеб в поте лица своего, молились. И как за своё трудолюбие, благочестие, цельность природы и справедливость — перед советской властью поплатились.

Теперь здесь красиво и спокойно: растут цветы, бродят по траве-мураве мирные туристы со всего света, слушают экскурсоводов, покупают сувениры. Расходятся по миру книги и открытки, звучат имена и названия: Горный Алтай, Верхний Уймон, Николай Рерих, Беловодье, Вахрамей Атаманов...

Реальная жизнь, однако, очень и очень сложна. И своим подвигом мои предки показали миру, как надо стоять за правду, отстаивать Добро — и хранить свою веру.

Теперь и я сподобился молиться за моих родных староверов.



ВОСПОМИНАНИЯ*

Когда отец вышел на пенсию, он сказочно разбогател. Нашёл дело по душе: при отделе рабочего снабжения ему дали мастерскую со станками — там одних токарных три станка, а ещё фрезерный, точильный, сверлильный!.. ОРС — это все магазины в городе и посёлках. В этих магазинах постоянно что-то случалось — то замок сломается, то отопление прохудится, то резак для мяса затупится. И директора магазинов шли на поклон к отцу: выручайте, Дмитрий Алексеевич!

Отец чинил замки, придумывал новые резак и прессы, конструировал системы отопления. А в благодарность получал мёд и масло, сыр и яйца, рыбу и мясо... Так что пришлось ему даже завести второй холодильник — в одном уже всё не помещалось. И так продолжалось... Не год и не два, а двадцать с лишним лет! Уже когда отцу было за восемьдесят, кончилась эта лафа — но не потому, что он не мог или не хотел работать — позвали его переехать в Херсон, поближе к родне.

Там начался у него новый виток жизни: отец стал записывать свои воспоминания — о службе в авиаполку на Дальнем Востоке, о работе на заводе, о Великой отечественной войне, — их я и предлагаю вашему вниманию.

Юрий Нечипоренко

ЛЁТНАЯ ШКОЛА

В 1935 году мне исполнилось 22 года, и по повестке я явился в херсонский военкомат. Там собралось много призывников, и после переключки всех строем отправили на вокзал. Но меня не вызывали, моего дела не нашли и дали повторную повестку. По дороге домой вспомнил слова моих недоброжелателей: «Его в армию не возьмут — он внук самого богатого кулака на селе». Вдруг за время отсрочки, что они дали, в военкомате узнают о моём происхождении, и тогда — прощай служба в армии [1].

Но всё обошлось, через три дня военком заявил:

— Документы нашлись! Я вас порадую — со всей области мы отобрали только троих призывников, в том числе и вас, в особую Краснознаменную Дальневосточную Красную Армию. Ею командует маршал Советского Союза Блюхер. А сейчас, — добавил он, — я отвезу вас на вокзал к поезду.

Примерно через час мы — трое избранных — уже сидели в плацкартном вагоне. Военком провожал нас как своих детей — даже о постели позаботился.

В Харькове нас встретили военные и повели к длинному составу. В каждом вагоне размещалось по 32 человека.

Примерно через 20 суток мы прибыли на место службы: станцию Куйбышево-Восточная в ДВК (Дальневосточном крае), это 60 км от Благовещенка. Я ехал рядом с Василием Кручковским и рассказал ему за это время чуть ли не всю свою жизнь. Прибыли ночью — и нас строем повели в баню. Из бани вышли уже в новом обмундировании. Потом — казарма и койка с чистой постелью. Утром — подъем и зарядка.

Через неделю старшина лётной школы Ветренко предупредил курсантов, что на утренней поверке будет начальник школы майор Маслов.

* Публикация Юрия Нечипоренко. Печатается в сокращении.



Начальник рассказал, что школа будет готовить нас по специальности «стрелок-радист», объяснил, что это такое. Потом ответил на вопросы курсантов — и обратился к нам:

— Мне нужен человек, как говорят, мастер на все руки. Если есть такой, прошу сделать один шаг вперед.

В строю воцарилась тишина. В шеренге за моей спиной стоял Кручковский. Он так толкнул меня в спину, что я вылетел вперед и чуть было не распластался на плацу.

Я быстро выровнялся и принял стойку смиренно. Курсанты засмеялись, улыбнулся и начальник школы.

— Вот и хорошо, — сказал он, — после окончания утренней поверки явитесь ко мне.

Жить я стал теперь не в казарме — в отдельной комнате, вместе с бухгалтером школы (он тоже был отобран из курсантов).

В школе я много чего делал. К примеру, в новом здании не было дверных ручек, и достать их было негде. Вместо них к дверям были прибиты ремешки. Я сделал ручки из медных труб, выглядели они добротно, с благородным красным отблеском. Приходилось мне писать лозунги и рисовать углём на полотне портреты больших военных чинов. Мог и фотографировать, если надо было.

Почти сразу же обратил я внимание на доску с номерками для курсантов: номерки были изготовлены из простой жести, имели неприглядный вид. За неделю мне удалось изготовить стальной штамп с названием школы, и после двух ударов тяжелого молотка из листового алюминия получались аккуратные номерки.

Первый отштампованный номерок я показал начальнику штаба Филимонову. Он заинтересовался, как я это делаю. Затем повёл меня к начальнику школы:

— Вы знаете, что у нас в школе скоро начнут штамповать деньги? — И показал ему мой номерок. [2]

Пришлось мне продемонстрировать и начальнику школы, как штампуются эти номерки. Он распорядился выдать мне денежное вознаграждение.

Меня начали уважать, кое-кто из начальников стал приглашать домой. Частенько заходил я к майору Филимонову. У него была милая жена и сын-подросток: майор всегда советовал ему приходиться ко мне в школу и смотреть, как и что я делаю.

Приглашал меня к себе и начальник строевой службы школы капитан Новиков. Интересовался, откуда я родом и где учился мастерству. А когда узнал, что я не хожу на утреннюю зарядку — возмутился и потребовал, чтобы я ежедневно являлся к нему в 6 часов утра — чтобы вместе бегать по 3-4 км. Потом холодный душ и — «по домам», как он выразился. Меня это не очень-то прельщало, но приказ есть приказ. Капитан мне понравился: он оказался интересным и много знающим человеком. Наверно, и я ему понравился.

Однажды он показал мне дорогую ему книгу — альбом с репродукциями. Интересно, что раньше при моём появлении он этот альбом прятал под подушку. Там были собраны шедевры мирового искусства, были и изображения обнажённых молодых женщин. Я попросил разрешения перерисовать несколько картин, но он не согласился. И попросил меня об этой книге никому не рассказывать.

На следующее утро меня разбудил старшина школы Ветренко. Ночью арестовали всё начальство школы и большую часть преподавателей. Курсанты были отправлены на занятия по стрельбе. Когда мы были на полигоне, то увидели бегущего военного. Это был преподаватель военного дела Немцов, и бежал он к приближающемуся грузовому поезду.

Мы помчались вслед за ним, но опоздали; опоздал и Немцов: он не успел броситься под поезд — его только сильно ударило буфером в правое плечо, отбросило от железнодорожного полотна. Когда мы подбежали к нему, он ещё раз попытался броситься под колёса. Через рубашку сочилась кровь. Он тихо, с трудом вымолвил:

— Ребята, зачем вы мне помешали, мне всё равно уже не жить.

Подъехала легковая машина, двое военных посадили в неё Немцова и увезли.

На следующий день ко мне пришла жена Филимонова. В школе её хорошо знали, она руководила кружком самодеятельности.



— Вы же были частым гостем у нас, разве мой муж хоть раз что говорил против Советской власти? Какой же он враг народа? — плакала она.

Я старался убедить её, что произошла какая-то ошибка и что её мужа скоро освободят (его правда освободили через два месяца).

О Немцове же пошли слухи, будто в его сейфе хранились секретные чертежи нового пулемета «Шкас». И каким-то образом фотографии этих чертежей оказались у японцев.

Вокруг японского шпионажа на Дальнем Востоке было много шума. Почти ежедневно в краевых газетах жирным шрифтом публиковались фамилии людей, замешанных в шпионаже. Рассказывали, что в это дело впутывали детей. Например, в авиагородке Белоногово возле столовой начал появляться мальчик 6-7 лет. При проверке обнаружили в его карманах спички без коробок. Оказалось, что при входе посетителей в столовую мальчик перекладывал спички из одного кармана в другой. Так вёлся подсчет военных в лётном городке.

В лётной школе у меня был друг, Михаил Болгарин — мы были еще до призыва хорошо знакомы: он был моим земляком, из соседней деревни, что через речку Ингулец. Раз Болгарин пришёл как в воду опущенный, очень переживал: в Особом отделе ему предложили сотрудничать, но он не хотел, чтобы его называли стукачом — и отказался. Тогда его спросили: «Вы что, против Советской власти?» Он был за Советскую власть — но кто же ему поверит...

Вскоре он пропал. Перестал бывать у меня. Я сам пришёл к нему в казарму и обнаружил пустую койку. Соседи сказали, что Болгарина куда-то забрали со всеми вещами. Больше о нём я ничего не узнал...

Вскоре и мне предложили «сотрудничать». Я понял, что отказываться, как Болгарин, нельзя — исход будет плохим. Мне поручили принимать доклады и передавать то, что заслуживает внимания, в Особый отдел. Докладывать должны были Нечитайло и Дибров. За всё время учёбы в школе мы вместе не разоблачили, конечно же, ни одного врага народа.

Репрессии в армии продолжались не один год. В 1937-ом я стал свидетелем арестов уже не в школе, а в военной части. В это время я служил стрелком-радистом в 22 авиаполку на ДВК. Командовал полком подполковник Громов, которого все уважали. Однажды ночью его арестовали, а тогда судили так: «Арестовали — значит, враг народа». Через три месяца Громова, однако, освободили. Объявили приказ всему лётному составу полка собраться в армейском клубе. Перед нами появился Громов. Выглядел он не лучшим образом: заметно постарел, на лице появились морщины. Со всеми поздоровался, ему радостно и дружно ответили. Громов начал говорить по-военному — кратко и ясно:

— Мне очень жаль, но я приехал попрощаться с вами. Поблагодарить вас за то доброе отношение, которое вы проявляли ко мне. Мне предложили вернуться в полк, но я отказался — и только потому, что в вашу среду — добрых и порядочных людей — вписался один стукач, из-за которого не только я, но и вся моя семья пережила трагедию. Разоблачить мне его не удалось, но я знаю, что он находится среди вас, поэтому решил — в полк больше не возвращаться.

Потом он пожелал всем успехов и удач и, козырнув, покинул зал. Было видно, что ему было тяжело уходить из полка, которым он так дорожил. Больше я о Громе ничего не слышал.

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ

После того случая с Громовым я служил в армии ещё почти четыре года. Полк наш стоял в авиагородке Белоногово. Помню, как я волновался, когда меня направили из школы в полк. Как-то меня встретят, кто у меня будет командиром?

Старший лейтенант Логинов отнёсся ко мне доброжелательно. Добрым и порядочным человеком оказался и штурман самолёта Довгуша. Вскоре командир уже беседовал со мной по душам. Я узнал, что рос он без отца и матери, был воспитанником ленинградского детдома. Он мне признался:



— Знаешь, Димка, сердце у меня барахлит. Только так странно: как пойду на медкомиссию — работает как часы. А в полёте иногда прихватывает. Только ты никому не говори, куда я пойду — я же лётчик, ничего больше не умею.

Эскадрилья, в которой я служил, облётывала новые машины и перегоняла их из Иркутска в Хабаровск. Однажды, на полпути, я получил закодированную радиограмму, адресованную командиру эскадрильи майору Калинушкину. В ней говорилось: «Немедленная посадка аэродром Уркурей». Я сразу же доложил об этом командиру. Оказалось, что аэродром как раз под нами — и командир, не теряя времени, вышел перед эскадрильей. Условным взмахом крыльев приказал следовать за ним. Все самолеты приземлились благополучно.

Комендант аэродрома сообщил, что два часа назад с этого аэродрома полк истребителей по тревоге вылетел в Монголию — началась война с Японией. Мы ждали, что и нас туда пошлют, но этого не случилось.

Этот полёт запомнился мне больше всех. Помню, как переживал, когда командир повёл эскадрилью на посадку: «А вдруг я в радиограмме в чём-то ошибся... Что будет тогда?» Эту радиограмму обязаны были принять все радисты, тем более — радист командира эскадрильи. Но почему принял её один я? Моё беспокойство заметил командир:

— Старшина, не волнуйся, ты всё сделал правильно, из Хабаровска уже пришло подтверждение этой радиограммы.

Потом выяснилось, что радиограмму принимали и другие радисты, но их командиры не осмелились повести эскадрилью.

На этом аэродроме нас продержали в полной боевой готовности целую неделю; затем отправили по прежнему маршруту в Хабаровск, а из Хабаровска поездом отправили на место базирования, в Белоногово. Обстановка была напряженной. Шла подготовка к широкомасштабной войне с Японией. Весь лётный состав эскадрильи был обязан знать наизубок расположение аэродромов и стратегических пунктов противника. Мне на всю жизнь запомнились такие города, как Хайлар, Харбин, Цинциннар, Фашань и другие.

Вблизи нашей границы начали появляться японские истребители. Это обеспокоило командование. Надо было узнать, где же находится их аэродром. И тут помог случай. В одну из ночей на берегу Амура со стороны противника раздался шквальный пулеметный огонь. Вскоре он затих. Наши пограничники увидели плывущего к нашему берегу человека. Его проводили в штаб пограничной службы. Там выяснилось, что этот беженец — участник строительства нового подземного аэродрома Тудаудзянь. Из троих сбежавших смертников только ему одному удалось остаться в живых. Так на нашей лётной карте появился ещё один японский подземный аэродром.

Во время войны японцы выпускали в радиозфир передачи на русском языке, где рассказывалось о репрессиях и ужасах коллективизации. В полёте командир как-то раз говорит:

— Давай, Димка, послушаем японцев.

Настроил я радиостанцию на их волну, послушали-послушали, потом командир выругался:

— Хватит, ити их мать!

В Особом отделе в полку у меня допытывались:

— Японцев слушаете?

— Нет, что вы...

КАТАСТРОФЫ И ЧИНЫ

В эскадрилье у нас произошёл редкостный случай, который мог привести к человеческим жертвам. Было это так. Лётчик Абрамов испытывал в воздухе двухмоторный самолет Р-6. Пять-шесть человек на земле (в том числе и я) следили за полётом. Наш аэродром был рядом, и было хорошо видно, как Абрамов после окончания испытания пошёл на посадку, но посадка почему-то не получилась — а он, не меняя ни курса, ни высоты, шел прямо на авиагородок. Сначала самолет задел колёсами конёк крыши



двухэтажного дома. Дальше на его пути оказались бельё, развешанное на проволоке во дворе, и дощатый туалет общего пользования.

Бельё с проволокой он утащил за собой, а туалет снёс крылом, да так удачно, что сидевшая в нем женщина в оторопи какое-то время оставалась сидеть на виду у всех, а когда опомнилась, кулаком начала грозить улетевшему лётчику за то, что он уволок её бельё. Делала она это стоя — и даже подол забыла опустить. Эту женщину мы все хорошо знали, она была женой командира эскадрильи Николая Тихонова. Понятно, что всё то, что я описываю, происходило очень быстро.

Нужно было как можно скорее узнать, что же случилось с самолётом и с лётчиком. Мы прибежали к месту посадки как раз вовремя. Абрамов стоял на крыле с папиросой во рту и собирался зажечь спичку... Криками мы помешали ему это сделать — и как после выяснилось — правильно поступили. В системе подачи горючего была обнаружена течь, и его парами был заполнен весь самолёт, так что зажжённая спичка могла привести к взрыву.

В это время, о котором я пишу, в Советском Союзе, особенно в авиации, происходило много событий. Понятно, что о том, что прославляло родину, много говорилось: по радио, в печати. А про неудачи молчали — всё держалось в строгом секрете. Это случилось и с прославленным женским экипажем самолета «Родина» — Осипенко, Гризодубовой и Расковой.

Нужно было показать всему миру, что в Советском Союзе героями могут быть не только мужчины, но и женщины. Экипаж совершал беспосадочный перелет на Дальний Восток. Но самолёт, пролетев две трети пути, потерял связь с землёй. Подвела и погода: пропала видимость. Горючее должно было уже закончиться, все переживали — а за этим полётом следил сам Сталин.

На поиски пропавшего экипажа была брошена военная авиация, но безуспешно. Дня через два-три самолет нашёлся. Его случайно заметил в тайге пилот гражданской авиации Сахаров, летевший с почтой из Комсомольска в Хабаровск. На это место на военно-транспортном самолёте был срочно послан парашютный десант. Вслед за ним на самолете «Дуглас» полетел штурман Бряндинский. Но самолёты столкнулись в воздухе над местом вынужденной посадки «Родины». Пятнадцать человек погибло, четверым десантникам удалось спастись. Если об Осипенко, Гризодубовой и Расковой много шумели в печати и по радио — как о героинях, то об этой катастрофе все молчали.

Лётному составу прочитали секретный приказ, в котором говорилось, что Бряндинский проявил самоволие, что он хотел примазаться к чужой славе.

Был приказ и по случаю гибели Чкалова. Он тоже обвинялся в самовольстве и невнимательном отношении к советам обслуживающего персонала. Более длинным по содержанию был приказ по случаю гибели Осипенко и комкора Серова. Они оба погибли из-за нарушения основных правил лётной службы.

За время службы в армии я встречался с тремя военачальниками: маршалом Блюхером, начальником политуправления Красной Армии Гамарником и командующим Дальневосточной Красной Армией Коневым. Блюхера я видел, когда он посещал нашу лётную школу. Маршал потребовал, чтобы все курсанты в казарме подошли к нему как можно ближе. Мне удалось его хорошо рассмотреть. Коренастый, среднего роста, в полотноном костюме с большими маршальскими звездами на петлицах... Его сопровождал какой-то чин, записывал в блокнот все вопросы, которые задавали курсанты. Блюхер подробно расспрашивал курсантов, чем они довольны, а чем недовольны на службе. Он понравился всем курсантам.

Нашу школу посещал и Гамарник. Бросались в глаза его большая чёрная борода и длинная шинель (как у Дзержинского). Глаза его показались мне строгими и злыми. Рядом с ним тоже шёл военный чин с двумя ромбами на петлицах. Я плёлся в хвосте процессии со связкой ключей от классов. В мою обязанность входило открывать ту дверь, на которую укажет пальцем Гамарник. За время хождения по коридорам школы он задал начальнику школы один-единственный вопрос: «А голанки (камины. — Д. Н.) проверяли?» Гамарник посетил и Красный уголок — и чем-то остался недоволен. После выяснилось, чем. Среди портретов военачальников Красной Армии его портрета не было. На второй день после ухода Гамарника меня вызвал к себе в кабинет Маслов и признался:



— Нехорошо получилось, что в Красном уголке не оказалось портрета Гамарника. Этот наш пробел необходимо ликвидировать.

Вручил мне фотографию Гамарника и потребовал срисовать с неё портрет.

Вскоре портрет был готов — и одобрен начальством. В тот момент, когда я собрался нести его в Красный уголок, в мастерскую ворвался курсант, по национальности мордвин, с топором в руках. Взглянув в его разъяренные глаза, я не на шутку испугался и подумал, что он сошёл с ума. Не обращая на меня внимания, он подбежал к портрету Гамарника и со всего размаха разрубил раму. Когда он уже полностью разделался с портретом, то повернулся ко мне и заявил: «Ты нарисовал врага народа!» Я ему не поверил — и побежал к майору Филимонову. Тот подтвердил, что действительно только что передали по радио, что Гамарник — враг народа — и что он застрелился.

Трагично сложилась и судьба маршала Советского Союза Блюхера. В это время шла война с японцами на Хасане. Руководил боями сам Блюхер. Пошли слухи, что Сталин был недоволен ходом войны и по телефону очень ругал Блюхера. Маршал не сдержался и бросил трубку: отказался выслушивать Сталина. После чего был срочно вызван в Москву. Его портреты были отовсюду сняты. Вскоре он вернулся, и его портреты были повешены на прежние места, но ненадолго. Блюхера опять вызвали в Москву, объявили врагом народа и расстреляли.

Вместо Блюхера командующим Дальневосточной Красной Армией был назначен Конев. Мне пришлось встретиться с ним весной 1939 года. В то время нашей эскадрилье было дано задание перегонять собранные самолеты «СБ» из Спасска на аэродром Хабаровска. Все самолеты взлетели благополучно, только в нашем один мотор забарахлил: из выхлопных труб повалил густой дым, что-то загрохотало. Это заметил комендант аэродрома — и пустил впереди самолета красную ракету, запрещающую полёт. Мой командир был вынужден вернуться на аэродром, но ненадолго. Он снова пошёл на взлет — оба двигателя заработали нормально. Самолёт взял курс на Хабаровск с опозданием на 10 минут — и мы полетели по упрощённому маршруту — по «компасу Кагановича». Так тогда назывался маршрут над железнодорожным полотном — в честь министра ж/д транспорта. Помню, что в этом полёте я неосторожно развернул свою карту из планшета, и её вырвало из рук потоком воздуха. В довершение всех бед, подлетев к аэродрому Хабаровска, мы не увидели самолётов нашей эскадрильи.

На аэродроме возле посадочной полосы стояла легковая машина, а рядом — три человека, в том числе и командующий армией Конев. Они ожидали эскадрилью. Как только наш самолет приземлился, кто-то из них махнул рукой, дал знак подойти к ним. Командир, прижав планшет рукой к боку, побежал к командующему; ему навстречу вышел сам Конев. Доклад был короткий, и командир побежал обратно. Мы со штурманом двинулись ему навстречу.

— Старшина, — крикнул мне командир, — командующий вызывает тебя, беги, только не волнуйся, — крикнул он мне вслед.

Мой доклад командующий прервал вопросом:

— Вы радист?

— Так точно.

— Тогда скажите, куда улетели самолеты?

— Не знаю.

— Доложите своему командиру, что вы плохой радист.

Как раз в это время с восточной стороны донёсся гул, а потом появились и самолеты.

Всё же я доложил своему командиру, что я «плохой радист». Он улыбнулся и ответил: «А при чём тут ты?» В общем, всё обошлось благополучно. И через два дня весь личный состав нашей эскадрильи вернулся на место дислокации в Белоногово.

ОТПУСК С ПИСТОЛЕТОМ

По ходатайству командира мне предоставили отпуск с поездкой домой, на родину. Меня это очень обрадовало — дома я не был около трёх лет. Понятно, что домой хотелось уехать с пистолетом, но при оформлении отпуска личное оружие необходимо было сдать на склад, иначе отпуск не оформят. Ведал этим хозяйством старший техник Кругов:



- Что, старшина, пришёл пистолет сдавать?
 - Да.
 - А хочется домой поехать с пистолетом?
 - Конечно, — засмеялся я.
 - Где будешь проводить отпуск — в деревне или в городе?
 - В деревне.
 - Ладно, езжай с пистолетом, только не подводи меня.
- Он дал еще 10 патронов в запас: «Где-нибудь постреляешь».

На следующий день я уже ехал в купе с лётчиком Николаем Корецким. Он увидел у меня пистолет и удивился: «Старшина, как тебе удалось уехать в отпуск с пистолетом? Я обращался к командиру полка, ничего не вышло, не разрешают, и всё!»

В то время Дальневосточная армия была в большом почёте, и вагон с военными встречали с цветами, в гостиницах принимали вне всякой очереди. В Москве мы с лётчиком решили посетить Мавзолей Ленина. Я волновался — как же быть с пистолетом? В гостинице оставлять нельзя, но и в Мавзолее могут быть большие неприятности. Всё же рискнул пойти в Мавзолей с пистолетом. Хорошо его замотал в большой носовой платок и спрятал в карман.

Все обошлось благополучно, хотя я очень волновался, особенно когда при входе увидел табличку с надписью «Вход с оружием запрещается».

Через три дня я уже был дома. Конечно, больше всех приезду обрадовалась мать. За время моего отсутствия в семье произошли немалые перемены. Сестра Вера вышла замуж. У неё подрастал малыш Вася. Он начинал ходить, смотрел на меня — и улыбался. Он мне понравился; как понравился и его отец — Николай Гончаров. Мы с ним подружились. Как-то нам с ним захотелось пострелять из пистолета. Пошли на речку Ингулец, но там, кроме лягушек, больше ничего не оказалось. Ну что ж: лягушки так лягушки!

На следующий день мы с Николаем пошли в соседнее село Давидов Брод. Там я учился в школе, там жили мои друзья и знакомые. Возле центрального магазина нас окружили люди. Я отвечал на вопросы, когда к нам подошёл какой-то седой человек. Он злобно посмотрел на меня — и куда-то исчез. Мне показалось, что я его где-то видел. Потом вспомнил его фамилию: Мороз. Я учился в одном классе с его дочерью, и он приходил на родительские собрания. Тогда о нём ходили плохие слухи, якобы он принимал самое активное участие в раскулачивании крестьян — и жестоко с ними обращался. Мороз добивался, чтобы меня исключили из школы как внука кулака.

Когда мы с Николаем уже уходили домой, нас догнал мой одноклассник Геннадий Дармосюк и сообщил, что он был в поссовете, и туда пришёл Мороз. Тот высказывал свое возмущение председателю, мол, как это так: внук кулака пробрался аж в летчики, ходит здесь, да ещё и с оружием. Председатель ответил ему: «Товарищ Мороз! И когда вы уже утихомиритесь, кулаков у нас уже давно нет, их всех выслали».

Отпуск закончился — и спустя две недели я уже был на месте службы.

НА ЗАВОДЕ

Нездолго до окончания срока службы меня вызвали к командиру полка полковнику Кравченко.

...Вот я в кабинете полковника. На его груди поблескивает звёздочка Героя Советского Союза. Он получил её за участие в боях в Испании. Полковник вежливо пригласил меня сесть.

— Товарищ старшина, — начал он, — срок вашей службы в армии уже истёк. Мы предлагаем вам остаться в нашем полку. Вам будет присвоено звание младшего лейтенанта с назначением на должность начальника связи полка.

Конечно, предложение было заманчивым, но желание уволиться из армии было сильнее. Я поблагодарил полковника за такое доверие и признался ему:

— Моё призвание — работать на заводе.



— Не имею права задерживать вас в армии. Желаю вам успехов!
Он протянул мне руку.

В Николаеве меня приняли токарем на судостроительный завод. Завод предоставил и жильё. До призыва в армию я уже имел пятилетний стаж работы на разных токарных станках. Поэтому вскоре я начал выполнять и перевыполнять план. Примерно через месяц ко мне подошёл мастер Степан Иванович Дьяченко и похвалил. Сказал, что переводит меня в отдел по изготовлению червячных валов. Это была очень ответственная работа: такие валы вращали башни военных судов.

Там работал Коровин, который через неделю уходил, — он оказался специалистом высокого класса, рационализатором: имел на счету несколько внедренных рацпредложений. Отнёсся он ко мне доброжелательно; сам он работал на трёх станках. Один из них оказался довольно сложным.

Примерно через неделю я уже мог работать самостоятельно. Мы с Коровиным распили по сто грамм — и расстались приятелями.

Я оказался на Доске почета, вскоре мне присвоили звание стахановца. А тогда был такой порядок — если ты стахановец, то должен делиться опытом с теми, кто менее успешно работает. Как-то подошёл ко мне мастер и сообщил, что завтра до начала рабочего дня он соберёт всех рабочих токарного цеха, и я должен буду выступить перед ними. Я стал было возражать, но он пояснил мне, что это распоряжение начальника цеха — и что он сам будет присутствовать на собрании. Делать было нечего — пришлось согласиться.

Помню, я спал плохо, все думал — что я им скажу? Я знал, что на этом собрании будут рабочие со стажем более десятка лет, а я-то работаю всего лишь полгода! Что поделаешь — я набросал конспект своего выступления — и вызубрил его.

На завод явился пораньше. Рабочие тоже уже начали собираться и усаживаться на длинные дощатые лавки. Мастер заметил, что я волнуюсь, и шёпотом успокаивал меня: «Не волнуйся: как выступишь — так и будет, надо же тебе не только хорошо работать, но и говорить».

Собрание началось. Радостных лиц я не увидел, некоторые показались мне безразличными. Не помню, сколько прошло времени, 15 или 20 минут, когда я закончил рассказывать о своём опыте. Мне даже поаплодировали. И кто же? — мастер, начальник цеха и ещё три человека. Остальные разошлись — и даже не посмотрели в мою сторону.

Я пошёл к станку и уже начал надевать спецовку, когда заметил, что ко мне направился рабочий-строгальщик средних лет. Он присутствовал на собрании — и я начал догадываться, что разговор будет неприятный. Было мне тогда 27 лет, а выглядел я ещё моложе.

— Сынок, — обратился он ко мне, — ты заметил, что аплодировали тебе только начальники и нормировщики? Они так и рыщут, как бы нам увеличить норму выработки — и тем самым уменьшить зарплату, а у меня трое детей.

Я прервал его речь и заявил, что хорошо всё понял, пообещал ему, что на эту тему я больше не буду выступать. На этом мы с ним разошлись.

Этот день оставил в душе неприятные воспоминания. Зато второй день, а это было воскресенье, обрадовал приездом самого дорогого гостя — матери.

Утром встречал, а вечером уже провожал. Поезд уже отошёл и набирал скорость, а я продолжал бежать за ним, чтобы как можно дольше видеть в окне вагона милое и доброе лицо матери. Не обошлось и без слез...

Вернулся к вокзалу, чтобы купить папирос, — и здесь меня окликнули. Голос показался знакомым. Я оглянулся: передо мной стояла Галина. От неожиданности я растерялся и выпалил:

— Это ты?

— Я...

Она показала левую руку. Немного выше ладони был виден шрам, он был оставлен пулей. Для того чтобы рассказать, с кем я встретился, необходимо вернуться в 1935 год.

ВЫСТРЕЛ

Тогда я работал токарем в райцентре Березнеговатое. Свободное время проводил в парке, в клубе и на танцплощадках. В один из вечеров ко мне подошел приятель — Ваня Ковалёв и признался, что девушка, с которой он встречается, хочет со мной познакомиться. Я согласился. Она вела себя довольно раскованно: попросила разрешения примерить мою фуражку. А когда примерила, в ней домой и ушла вместе с Ваней. Правда, он успел мне шепнуть: «Я фуражку завтра принесу». Я понял, что новая знакомая пыталась намекнуть мне кое о чем.

Вечером через день-другой я встретил Галину с подругой. Подруга под каким-то предлогом ушла, и мы с Галиной остались вдвоём. Она сообщила, что Ванька (так она его назвала) уехал в командировку на две недели, и что якобы он не возражает, если я буду провозить её домой. Так получилось, что с этого вечера мы с Галиной стали встречаться.

Время мы с ней проводили славно. Разговоров о её бывшем ухажёре не было. Но однажды она сказала: «Ванька вернулся из командировки, и с ним состоялся неприятный разговор». О чём именно, она не пожелала мне сообщить, да я и сам мог догадаться. Мне было неудобно перед приятелем после всего, что случилось. Знал, что теперь мне от него добра не ждать...

Когда мне исполнилось 16 лет, мать подарила мне маленький шестизарядный пистолет. Он ей достался от белогвардейцев. В Гражданскую войну они занимали нашу хату и при отступлении оставили множество оружия: пистолеты, патроны, гранату. Мать всё это собрала в ведро и закопала в землю. А вручила она мне этот подарок по-своему — оригинально.

Как-то вечером она предупредила, чтобы я никуда не уходил. А когда стемнело, велела взять лопату и идти за ней. На вопрос — куда идти и зачем лопата — ответила: «Будем откапывать тебе подарок». В конце нашей усадьбы росла роскошная верба. Мать подошла к ней, отмерила два шага в сторону дома и показала, где я должен начать копать. Можете представить себе, с какой энергией я начал рыть эту землю! Вначале показался уже прогнивший толь, а потом и крышка эмалированного ведра. А когда я снял крышку, то увидел пистолет и всё прочее... Хотя в нашей семье не принято было целовать кому-либо руки, но я матери от радости поцеловал их несколько раз [3].

И вот, с этим пистолетом (вдруг возникнет необходимость самообороны) я и пошел на очередное свидание с Галиной. Не помню, как получилось, что она его обнаружила и начала просить дать ей «поклацать». Сначала я не соглашался, но она настаивала на своём, и я, вынув патроны, дал ей пистолет. Но по халатности я не все патроны вынул — один остался. Когда она дурачилась, раздался выстрел, — мы испугались и решили как можно скорее бежать. Но куда? «К моей сестре», — предложила Галина и пояснила, что сестра живёт неподалёку.

В доме сестры светились окна. Услышав стук, она открыла дверь. И тут, при свете, я увидел, что у Галины насквозь прострелена левая рука, и что из неё обильно течет кровь. У сестры после того, что она увидела, стало плохо с сердцем, и всё же она смогла сказать, где находятся йод, бинт и вата. Мы с Галиной вместе занялись её рукой, залили йодом, наложили вату и замотали бинтом. Галина потеряла много крови и поэтому выглядела бледной. А когда её сестре полегчало, мы вместе начали думать, что же делать дальше. Обращаться к врачам было нежелательно. О таких ранениях они обязаны сообщать в милицию. Вдруг Галина заявила: «Нужно ехать в Николаев, там наша родственница работает медсестрой». Так и решили.

На следующий день мы с Галиной на машине отправились к поезду на Николаев. По пути договорились, что если с рукой будет всё в порядке, она на имя сестры пришлёт телеграмму. Через трое суток такая телеграмма пришла.

А расстались мы с Галиной потому, что Ванька Ковалёв подговорил дружков — и они мне написали письмо в армию, что она якобы задружилась с морячками. Я тогда перестал ей писать. А когда после армии приехал домой, выяснилось, что всё это клевета, Галина меня очень ждала.





И вот теперь, спустя пять лет, мы вновь встретились. Мы присели на лавочку и долго-долго разговаривали — у нас было что рассказать друг другу.

Галина попросила меня проводить её домой. От трамвая мы отказались — и пошли пешком. Ходу было примерно полчаса. Она рассказала, что замуж вышла неудачно, что муж начал «заглядывать в бутылку» и что за это его могут уволить из армии. Показала мне и дом, в котором жила. А когда я уже собрался уходить, то почувствовал, что Галина чего-то испугалась.

— За нами следом муж идёт! — шепнула она.

Я как можно быстрее постарался затеряться в толпе людей — и вскоре уже был дома. «Видел ли он меня?» Если видел, то Галине будет нелегко оправдаться перед ним. Он знал про меня, знал, что я служил в авиации, а провожал я Галину в лётной форме: выходной одежды у меня тогда ещё не было [4].

ЗЕМЛЯК

Я любил свою работу на заводе — и шел на неё, как на праздник. В свободное время готовился к поступлению в вуз. Рисовал маслом картины. Учился по самоучителям играть на гитаре и баяне, читал (помню, как на войну в 1941 году ушел с книгой Герцена «Былое и думы»).

В общем, дела шли хорошо. Только вот за полгода жизни в Николаеве не встретил ни одного земляка. Но вот однажды в гости приехала мать и передала маленькую бумажечку. На ней было написано: «Гаркуша Григорий работает сталеваром в г. Николаеве». Этого было достаточно, чтобы его разыскать.

Через три дня у меня уже был его адрес. Мы раньше жили по соседству в селе Новогригоровка Березнеговатского района. В то время как раз началось раскулачивание крестьян. Григорий уже знал, что это коснётся и его отца, и заранее ушёл из дома. Куда именно, властям выяснить не удалось. И вот сегодня, в субботний день я встречаюсь с ним!

Ходу до его дома, где он жил, примерно 10 минут, за это время чего я только не передумал. Григорий старше меня на три года, — женат он или холост? Если женат, то какая у него семья? Как он меня встретит?

Нажал кнопку звонка.

— Кто там? — услышал я женский голос.

— Григорий Семёнович здесь живет?

— Да, — ответил тот же голос.

Дверь открылась — и белокурая стройная женщина пригласила меня войти. Услышав разговор в прихожей, к нам вышел и сам Григорий. Он встал передо мной — и от неожиданности растерялся. Я смотрю на него, а он на меня, а потом, как по команде, мы бросились друг к другу в объятия. На нас с интересом смотрели его жена и две дочери.

Григорий обратился к жене:

— Ира! Накрывай стол, к нам пришел очень дорогой гость — бывший мой сосед из Новогригорьевки. Я тебе о нем рассказывал.

Григорий познакомил меня со всей своей семьей — женой Ирой, старшей дочкой Аней. Младшая дочь, Жанна, ещё малышка, сама представилась.

Первый тост Григорий поднял за меня, он говорил, что очень и очень рад моему приходу. Рассказывал своим, как я, ещё будучи подростком, ходил к его отцу учиться кузнечному делу, хвалил меня за мастерство...

Когда выпили по второй, мы с Григорием начали вспоминать о нашем селе. Оба знали, что оно ещё молодое — плод стольпинской реформы. Его основали крестьяне, собравшиеся со всей Херсонской губернии. Там, где они жили раньше, им недоставало пахотной земли. А здесь всё было: и целинные земельные угодья, и прекрасная река Ингулец. Здесь же был строительный материал — камень, песок и глина. Лес помогало доставать государство. Вскоре новый посёлок уже мог похвастаться усадьбами с фруктовыми и декоративными деревьями, виноградом и, конечно же, кустами роз и сирени.

Время уже было позднее, мне пора было собираться домой, но я ничего не узнал о жене Григория — кто она и как они поженились? Я начал было об этом разговор, но Григорий дёрнул меня за штанину. Я замолчал. Григорий настоял на том, чтобы



проводить меня. «Хочу посмотреть, где ты живёшь», — сказал он. Шли мы не спеша. Григорий рассказывал мне о своей жене, — они жили вместе уже пять лет. До этого у неё был муж Павел Сильверберг. Он работал ведущим инженером на судостроительном заводе, пользовался большим авторитетом. Жили в добротной квартире с маленькой дочерью Аней.

Когда начались репрессии, в 1936 году, её муж не вернулся домой. Ирина Васильевна обращалась к близким, друзьям и знакомым (а их было немало), но узнать о муже ничего не смогла. Даже те, которых она считала преданными друзьями, старались избегать встречи с ней.

Григорий замолчал и предложил сесть на лавочку возле какого-то двора. Мы с ним оба закурили. Григорий продолжил свой нелёгкий рассказ. Пояснил мне, почему он так подробно знает о трагедии этой семьи:

«Вначале я познакомился на рыбалке с мужем Ирины Васильевны. Потом он пригласил меня домой. Я подружился с этой семьей — и относился к ним с большим уважением. Особенно тогда, когда у них случилось горе. Я готов был оказать им любую помощь. Ирина Васильевна об этом знала и поэтому однажды сказала мне:

— Пока я не увижу могилу мужа, не буду верить в то, что его нет в живых. Прошу тебя, Григорий Семёнович, найди его могилу и покажи мне.

Я растерялся и даже не знал, что ей на это ответить. Потом сказал, что это не только трудно, но и опасно.

— Знаю, — ответила она, — а ты попробуй, предложи деньги.

Я не мог отказать убитой горем женщине.

На следующий день, а это было воскресенье, я пошёл на кладбище — и направился в ту сторону, где были видны свежие могилы. Немного в стороне я заметил несколько могил без крестов и надписей. Я был уверен, что это и есть те могилы, которые искал. Что делать дальше? Охранники кладбища должны знать, кто похоронен в этих могилах.

Я спросил охранника о безымянных могилах. Сначала он насторожился: зачем, дескать, мне это нужно. Вместо ответа я потихоньку шепнул ему на ухо: «Я вам хорошо заплачу». Тогда он спросил, как фамилия человека, могилу которого я ищу. Я назвал, он посмотрел в блокнот — и согласился. Сделка состоялась и, наверно, она у него была не первая.

Я сразу зашёл к Ирине Васильевне. Узнав о моей удаче, она твердо решила в эту же ночь идти на кладбище. В это время у неё гостил брат Сергей, он согласился идти с нами.

Прихватив с собой две лопаты и фонарь, в 11 часов ночи мы уже были у могилы. Земля была мягкая: два-три месяца назад образовалась здесь эта могила. Ирина Васильевна стояла рядом, с траурным шарфиком на голове. Я старался не смотреть на неё. Можно было представить её состояние в это время.

Мы с Сергеем трудились без отдыха. Глубина ямы была уже достаточна, чтобы лопатой достать крышку гроба, но крышки не оказалось. Показалась мешковина. Мы начали разгребать землю руками. Ирина Васильевна, не отрывая глаз, смотрела, что и как мы делаем. А когда увидела, что мы начали работать руками, тихим и неузнаваемым голосом промолвила: «Я хочу сама посмотреть в его лицо».

Могилу мы вскрывали со спусками вниз, и с нашей помощью она сошла к покойному, посмотрела в лицо и твердо заявила: «Это не он». Потом обратилась к Сергею с просьбой — посмотреть у него золотую коронку на переднем зубе. Он посмотрел, но там, где она должна была быть, не оказалось ни коронки, ни зуба».

После этих слов Григорий как будто онемел, потом достал папиросу — и опять закурил. Какое-то время мы оба молчали. Первым заговорил Григорий. Он признался, что ему очень тяжело рассказывать о том, что происходило с Ириной Васильевной, когда она все-таки убедилась, что это был действительно её муж Павлик, так она его называла. Домой они с Сергеем вели её под руки.

После рассказа Григория я стал задумываться о репрессиях. Мне пришлось быть свидетелем того, как они проходили в армии, но то же самое творилось и на гражданке. Мой дядя Иван — младший брат матери — был крестьянином, имел образование три класса. Во время Октябрьской революции воевал на стороне советской власти. Когда началась коллективизация, он отказался вступать в колхоз, и его за это раскулачили,

имущество конфисковали. Так же, как и Григорий, он сбежал в Николаев. Устроился на работу, но его нашли. Судили и отправили в лагерь строгого режима без права переписки.

Интересоваться судьбами осужденных было опасно и даже рискованно, особенно их родственникам. Но младшая сестра дяди Ивана — тётя Анна — решила хоть что-то узнать о своём брате. Она была членом колхоза, жила бедно и как-то сказала: «Мне терять нечего». Куда она только ни обращалась — никакого ответа не получила. Только спустя двадцать лет пришел ответ. Оказалось, что уже 15 лет как Ивана не было в живых. Сообщалось, что брат тети Анюты, Иван Аксентьевич Шевченко, реабилитирован посмертно. Вот такая трагическая история моего дяди Ивана. А сколько было таких историй — миллион или больше, сейчас, наверно, уже никто не скажет.

(Окончание следует.)

Примечания

1. Отец родился в деревне Новогригорьевка Березнеговатского района Херсонской области в 1913 году. Детство его пришлось на гражданскую войну, юность — на коллективизацию. Дед отца — Трофим Елизарович Нечипоренко имел лучший дом на селе, дружил с местным помещиком Балашем, держал лошадей на выезде, мог служить за попу в церкви. Он был раскулачен, но скрылся от властей — и в конце жизни заведовал складом на руднике под Кривым Рогом. Мать отца — Домна Авксентьевна Шевченко развелась со своим мужем после рождения четвёртого ребёнка, возможно, по этой причине их семья не была раскулачена.
2. Заметим, что начальник школы был недалёк от истины: денег отец не штамповал, но ему пришлось вырезать печати сельсовета — для справок, в которых нуждались раскулаченные родственники: надо было спасать людей... Дело это было рискованное, никому он в том не признавался, но пару справок «для своих» сделал.
3. Этот экстравагантный по нынешним меркам поступок матери моего отца (дело было в 1929 году) свидетельствует о большом доверии, которое царило в семье. Она вообще пользовалась большим уважением на селе; так, в голодные годы, когда не хватало зерна, именно ей доверяли печь хлеб на всё село.
4. Отец поддерживал переписку с Галиной до последних дней её жизни.



Игорь ПРИНЦЕВ

ЭУ

Р а с с к а з

Что-то заставило Кима остановиться и оглядеть свое отражение в витрине небольшого магазинчика.

Припорошенные мелким снежком коричневые ботинки. Утепленные джинсы. Простое клетчатое пальто. Портфель в руке. Синий шарф.

И там, выше шарфа, было то, к чему Ким нарочно стал подбираться взглядом с самого асфальта. ЭУ чем-то было похоже на защитные очки, плотно прилегающие к лицу. Только непрозрачные. Дужки ЭУ тянулись к ушам и скрывали их полностью.

Издали ЭУ напоминало лошадиные шоры. Или шлем какого-нибудь солдата будущего из старого фантастического фильма. Ким, наверное, так бы и выглядел, если бы не надел поверх ЭУ обтрепанную ушанку.

Именно этот странный полуфантастический вид заставлял его иногда останавливаться и разглядывать свое отражение. Красиво ЭУ? Или все-таки чудовищно?

Он двинулся дальше, оглядывая улицу сквозь ЭУ. Центр города. Серые стены домов теряются в вечерней темноте. Машины еле ползут, проталкиваясь в пробке. Люди — все в ЭУ — спешат завершить дела и вернуться домой.

Все это Ким видел и слышал — экранирующее устройство пропускало все необходимое. И с помощью сложной системы отфильтровывало лишнее.

В ухе пискнуло, и сочувственно-механический женский голос сказал:

— Ким Коробов, средства на вашем пользовательском счете исчерпаны. У вас есть пятнадцать минут, чтобы пополнить счет, иначе по условиям договора обслуживание вашего персонального экранирующего устройства будет приостановлено.

Раздраженно хмыкнув, Ким свернул к ближайшему банкомату и, выстояв небольшую очередь, приложил ребро ладони к отполированной руками пластине, приказав девушке на экране:

— Оплата пользования ЭУ на месяц вперед.

— К сожалению, средства на вашей банковской карте исчерпаны, — с тем же запрограммированным сочувствием ответила машина. — Воспользуйтесь другой картой или внесите наличные средства на счет.

Коробов почти ударил пластинку второй рукой и повторил приказ. Девушка на экране, казалось, стала еще более сочувственной. Хотя для всех отказов был установлен один тон.

— К сожалению, банк «Корона» сейчас проводит усовершенствование программного обеспечения во всей сети, и перевод средств с данного терминала невозможен. Работы направлены на повышение комфорта клиентов и будут завершены уже завтра.

Ким даже притопнул от досады и быстрым шагом направился по заснеженной улице. О тех, кто остался в центре без ЭУ, рассказывали страшные истории.

Он метнулся было к метро, но там, говорили, еще страшнее. В ухе снова пискнуло. Вкрадчивый и сочувственный женский голос сообщил, что до отключения осталось пять минут.



Голос был стандартный, но ощущение все равно складывалось такое, будто машина издевается над попавшим в ее власть человеком.

По телу прошла дрожь — Ким не видел выхода из ситуации и сделал единственное, что мог. Сорвался с места и побежал по улице. Домой! Скорее!

Налетая на прохожих и спотыкаясь, он мчался, словно безумный. Первым в сторону полетел портфель. Затем пальто. Шапка.

Сервисная машина сообщила, что отключит ЭУ через минуту, и Киму показалось, что при этом она злорадно хихикнула.

Ким задыхался, но продолжал бежать. Пересекая проезжую часть, едва не влетел под машину, но рванул дальше, даже не оглянувшись.

Но все бесполезно. Не была пройдена еще и треть пути до заветной двери... и — шоры пали.

Спокойный и серый зимний вечер взорвался вихрем красок и звуков. Очки Коробова стали прозрачными, и он увидел стены домов, улепленные светящимися баннерами, плакатами, просто надписями, которые, казалось, ни на чем не держались. Тут и там выросли рекламные щиты, которых, Ким готов был поклясться, раньше не было. Даже одежда людей и бока машин были изрисованы светящимися слоганами и логотипами.

И собственная одежда не отличалась чистотой. На одном рукаве реклама сигарет, на другом — шоколада. На груди — новый коммуникатор. Дрожащей рукой Ким оттянул рукав свитера и тут же поспешно вернул на место, увидев еще одну рекламу, вырисованную прямо на коже.

Исследуя этот новый мир без ЭУ, Коробов двинулся дальше к дому. Он крутил головой, раз за разом поражаясь дикости рекламы. Он был без пальто и шапки, и холод уже пробирал до костей, а по проезжей части, прямо сквозь машины, маршировал парад полуобнаженных девушек под знаменами сигаретной марки. Фантазия Кима сразу подсказала, что именно один из этих жутковатых призраков издевался над ним по сервисной связи.

На углу к Киму прицепился клоун. Он вопил, кривлялся и предлагал поесть шоколада. Прямо сейчас пойти купить и поесть. И не быть таким грустным. В конце концов Ким попытался отпихнуть надоедливого шута, но руки прошли насквозь — клоун был еще одной рекламной машиной.

Но все же ничего страшного не произошло. Он так же шел домой, хоть от изменившегося города и было жутко. Шел, пока не наткнулся на стену. Стену, которой раньше не было. А там, где раньше было не пройти, открылась арка. За ней виднелась череда ярких вывесок. Не имея выбора, Ким свернул с пути.

И чуть не вскрикнул от радости. Возле одного из магазинов он заметил Славку, старого знакомого. Замерзший и напуганный, Ким подлетел к нему, как ураган, тараторя:

— Привет, Славка! Слушай, у меня ЭУ отрубили! Выручи до завтра, а? Я домой не могу добраться из-за этой мишуры!

Слава молча выслушал и широко улыбнулся. Ким не видел его глаз за ЭУ, поэтому улыбка вышла мутная и жутковатая:

— Да без проблем! Эк тебя приплющило. Конечно, выручу. Только... Слушай, ты обязан заглянуть в этот магазинчик! Там бритвы просто офигенные! Я сам только что себе подобрал! И сразу займемся твоей проблемой!

Ким нахмурился. И протянул руку к Славке. Рука прошла насквозь без всякого сопротивления. И, тяжело вздохнув, Ким побрел дальше.

— Эй! — крикнул вслед Славка. — А как же твоя проблема?

Коробову хотелось зацепиться взглядом за что-нибудь простое и знакомое. Но в этом мире такого не было. Даже пробирающий до дрожи холод не доставлял столько беспокойства, сколько это чуждое все.

В робкой надежде Ким поднял глаза к небу. И вместо чернеющих в надвигающейся ночи снежных туч увидел колоссальную рекламу пива.

Чем больше проходило времени, тем больше рекламных шутов прилипало к Коробову. Клоун с шоколадом, Славка с бритвами, колоритный команданте с кофе, да еще что-то непонятное, торговавшее игрушками.

Ким и рад бы был дать им всем денег, лишь бы они отстали и прекратили галдеть. Выгуливая порождения рекламной индустрии, Коробов окончательно заблудился. От вывесок, шума, света, вспышек и неправильного неба разболелась голова.

— Отвалите! Да отвалите же от меня! — возопил Коробов, пытаясь растолкать призраков. — Вы ничего не получите! У меня нет ничего!

И каждый раз проходил сквозь них. Наконец, загнанный в угол, Ким закрыл глаза, зажал уши и прижался к стене какого-то магазина, крупно дрожа от холода. Он проклинал себя за то, что не оплатил вовремя проклятушее ЭУ, что не следил за счетом, что, повинуясь порыву, выбросил пальто.

И теперь Ким остался лишь с одними своими ладонями. Простейшими ЭУ, которыми можно закрыть глаза, зажать уши.

Сквозь опущенные веки рекламный фейерверк предстал неразборчивым цветным заревом, зазывными яркими бликами.

И на фоне этих бликов появилась женщина. Ким видел ее закрытыми глазами, сквозь веки. Она подмигнула и выдохнула:

— Привет, Кимка!

— Ты еще кто?! — сквозь зубы проскрипел Коробов.

— Я Мона. Хочу пригласить тебя в гости, — видение хитро улыбнулось.

— Куда это? — проскрежетал Ким.

— А ты уже почти на месте. В этот дом, к которому ты жмешься. Внутри находится наш клуб. Там есть я и еще много девушек, которые будут рады с тобой познакомиться. Улавливаешь?

— Идите вы все скопом... — простонал Ким.

— Да ладно тебе, Кимка, — покачала головой Мона. — Я у тебя в голове. Вижу все твои желания.

В этот момент с головой что-то произошло. В ушах что-то щелкнуло, по губам и подбородку потекло горячее.

Ким выгнулся и, как подкошенный, рухнул в снег, корчась в припадке. Рекламные призраки сразу порскнули в стороны, лишь настырный клоун навис над поверженным потребителем и все предлагал шоколада, который добавит энергии и поможет встать.

— Идите вы все!!! — вопил Коробов, отплевываясь текущей из носа кровью. — Идите к черту!!!

Он схватил клоуна за волосы и стал драть, мотать из стороны в сторону.

— Аааааай! — услышал он протяжный вой боли. — Отпусти, идиот! Отпусти, говорю!

Коробов уже ничего не видел перед собой, когда чьи-то пальцы сдернули с его лица бесполезное ЭУ и нацепили новое.

Рекламный балаган сразу стих, улица замерла. Те же руки приподняли Кима и усадили на лавку.

Зрение потихоньку возвращалось, кровь из носа перестала идти. Осталась лишь мучительная головная боль. Улица приняла свой привычный вид и стала разом знакомой. Рядом сидел невысокий парнишка в яркой куртешке. Его-то и драл за дреды Ким, приняв за клоуна.

— Спасибо, — простонал Коробов. — А ты кто?

— А я Паша. Я добрый. Ношу в сумке второй проплаченный ЭУ для таких придурков, как ты.

— А я... — начал Ким.

— А ты идиот, — весело заявил Паша. — И тебе в больничку надо, я тебе вызову. Бывай.

Он хлопнул измученного Кима по плечу и ушел. Коробов сидел на лавке и вспоминал свое путешествие по миру без шор. Насколько же все там, по ту сторону ЭУ, хотят денег... И на что они готовы пойти ради них?..

Он обхватил голову ладонями, своими бестолковыми древними ЭУ. Из-под шор текли слезы.

ЗВУКИ-СОСТРАДАЛЬЦЫ

ЖЕМЧУЖИНА

*Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой...*

О. Мандельштам. «Раковина»

Расскажи мне, в какой пучине
Добывают такие жемчужины?
Пламя высвеченной лучины
Вдруг отсветит из тьмы завьюженной!

Красоты своей, видно, чураясь,
Ты нетрепетно смотришь вдаль,
И как будто бы всем восхищаясь,
Твоя стать развечерит февраль!

И, как будто вонзаясь в сердце,
Отблеск глаз твоих — нежных, святых,
Всё простит, как простят иноверцев
Инквизиторы в церквях пустых!

«МИСТЕРИЯ» НИНО КАТАМАДЗЕ*

Эти звуки грузинской усталости,
Отрешенности в слове веков
Прорываются в каменной малости
Тех церквей, и молитв, и основ!

И когда, вдруг погрязнув в ничтожности,
В тяжком гнете культурной окраины,

* Современная грузинская певица.

Эти звуки, отринув все сложности,
Зазвучат, как бессмертностью ранены!

Зазвучат, и восторги воспрянут,
Пой, о, Грузия! Вечной тоски,
Вечной радости звуки не вянут,
А живут и поют по-людски!

* * *

Движение руки и трепет нежных пальцев,
Заботливо скользящих по неге звонких струн.
Миг — и сорвутся звуки-сострадальцы
С твоей души, как птица Гамаюн!

К своей гитаре ты склонилась нежно,
Прижав ее, как первенца, к себе,
Полифонии очарованный подснежник
Произрастает трепетно в судьбе!

И тех сорвавшихся в тот вечер звуков
Предвосхитить уже не в силах я,
Предписанная невесть кем разлука
Уж затаилась в уголочках бытия!



Татьяна ЛАПТЕВА

О ПОЭЗИИ СТАНИСЛАВА ЗОЛОТЦЕВА

Два эссе

О МУЗЫКЕ СТИХОВ И НЕ ТОЛЬКО...

Музыка, внешняя и внутренняя, наполняет мир Поэта. В древние времена музыка и поэзия были неразрывны. В XX веке об этом вновь напомнил О. Мандельштам, сказав: «...и слово, в музыку вернись!» Музыка наполняла и мир поэта Станислава Золотцева. Она помогала ему и в жизни, и творчестве. Она была одним из сильнейших источников его, можно сказать — вдохновения, а можно — рабочего настроения на творчество... Она стала составной частью его поэзии.

В Золотцеве поражало замечательное качество — над стихами он работал практически постоянно на протяжении своей жизни, и работал упорно, методично, как мастер, или, как он часто себя называл, — мастеровой. Он одновременно и ждал, и искал тему, находил её и, воплощая в стихи, уже действовал, «работал», прилагая мощную внутреннюю силу: искал ритм, рифму, слова, созвучия, соразмерности, длинную строку, короткую строку... И получалось, что почти всегда в его стихах усилиями упорного труда пробуждалась некая музыкальная *стихия*, которая способна захлестнуть читающего своим темпераментом, страстью, из чего бы она ни рождалась: из воспоминаний или «злободневности», любви или ненависти. Пейзаж или портрет у него тоже стихийно-подвижен, динамичен, окрашен невероятными переливами красок и чувств, наполнен внешними наблюдениями и

глубокими психологическими поэтическими мыслями.

Современный читатель ищет в стихах, если уж он открывает какую-нибудь книгу, соответствия своим чувствам, совпадения, общую тональность, «гармонию» с автором. О! — думает читатель, это — совсем как у меня, я так же чувствую, и слова даже мои, какие-то знакомые... Избалован наш читатель. Обыватель считает, и это его право, что поэзия должна утешать, «ублажать», «гармонизировать» его и — действительность...

С другой стороны, многие читатели стали, может быть, невольно, «по моде», приверженцами постулатов поставангардизма, откровенно принижающего поэзию до обыденности. Беспросветный и безнадёжный быт героя сам по себе должен окрасить его существование в трагические (?) тона... В этой эстетике поэтической доблестью считается достаточно унылое описание всех подробностей и «гадостей» жизни («муха в стакане», «давно немытое окно»). В этом направлении тоже неизбежны поиски слова, но искать гораздо легче, наверное, — оно почти всегда оказывается как-то под рукой... Поэзия на этом пути опускается до обывателя, и кажется, нет ничего страшнее. «Отцов» этого направления спасало чувство иронии... С одной стороны, ирония в XX веке достигла художественных высот (Зощенко, Шостакович, Шнитке...), но — с другой — стала обывательской, «пофигистской» — и это тоже страшно.

Ну, и, кроме того, читатель в наше время сам взялся за перо, вернее, сел за клавиатуру, а значит, плагиат и подражание стали законами нового псевдо-поэтического времени. По словам Золотцева, «Россия пишет... как никогда ещё не писала». Да, пишет, под лозунгом: «И я так могу, насколько хватит». Хватает на разное и надолго...

Настоящее чтение стихов Золотцева начинается, если приходит осознание, что его, Золотцева-поэта, понимание и восприятие жизни как-то сразу выбивает из колеи обыденности, будоражит, напрягает, вплоть до невольного сопротивления и неприятия — когда речь идёт о «больных» темах, порождённых «лихими» девяностыми, и речь стиха становится гневной, безудержной в выражении боли, стыда, возмущения. Кажется, что — это слишком, слишком громко, что ли, зачем же так... Таким помнится мне первое впечатление от знакомства с его стихами из книги «Летописец любви» (2001). Не уныло, но мрачно и бурно, с внутренним отчаянием, ожесточением:

**Злобой века мы обручены
Были с лихолетьем —
Как с распятым...**
(«Прощание славянки»)

Или:

**Декабрь уходит по чёрному льду,
Под снегом солнце распятое пряча...**
(«Новогодняя песня»)

И ещё:

**Так снова здравствуй, время холодов.
Зажги меня своим огнём суровым.
Просторы дремлют под седым
покровом...**
(«Дневник смуты»)

Золотцев возрождает право поэта на выражение в стихах жизненной дисгармонии. Важно оценить его художественные достижения в создании стихов в таких трудных лирико-публицистических жанрах. И всё оправдывает понимание, что в своих «больных» стихах поэт не стонет, не скрежещет зубами от боли, он не мучительно косноязычен, нет, — он рожает, пророчествует, возвещает великолепным мощным языком... В «Дневнике смуты»:

**Как легко быть печальным пророком
В нашей богохранимой стране
И вещать о столетье жестоком,
Что наступит в кровавом огне...**
<...>

**Нет, Россия, ты себя не сохранила.
Ты себя, Святая Русь, не сберегла.
Черeda веков была твоим горнилом,
а двадцатый — надломил твои
крыла...**

<...>

**Сколько лживых к нам пришло
пророков!**

**Слово их — как в сердце
ржавый гвоздь...**

<...>

**...где могильником ядерным стала
Почва пашен, лесов и полян,
Где живут по заморским уставам
Внуки вольных и гордых славян...**

И знаменательно, что продолжением его полемических, возмущённых стихов 90-х стали произведения, написанные в высоких жанрах «реквиема» (о защитниках Белого дома), гимна («Гимн грядущей России»), элегии («Ах, душа моя!»)... А стихотворение «Русская душа», буквально потрясающее своей словесной, речевой энергией, можно отнести к особому жанру, это — своеобразный алхимическо-аналитический этюд — исследование, симфоническое по своему звучанию.

**Я душу накренил — и в склянке
золотой
отнёс её частицу на анализ
туда, где над земною суетой
верхи галактик в вечность
окунались...**

Как музыканту, воспитанному на классической музыке, поэзии и литературе, и продолжающему их любить, мне невероятно трудно было сначала привыкнуть к таким, например, строчкам:

**Как смола ядовитая тянется
смута нашего хмурого дня...**

Казалось, слова «смола ядовитая» звучат острым, невыносимым диссонансом. Правда, такой же эффект производили на меня в свое время стихи В. Ходасевича, у которого в каждой внешне «серебрянозвучной» строфе находилось слово-диссонанс, мгновенно разрушающее внешнюю гармонию всей строфы. Здесь же, у Золотцева, стихи растут уже не из «сора», а из того самого *сплава* боли, стыда, возмущения; но — вдруг, вопреки всему, рождается певучая строка, которую сначала с мукой произносишь, словно сглатывая невыносимую горечь, но затем, в следующих строчках стихотворения чувствуешь, как вострепнулась неубитая душа... («Ах, душа

моя, нам бы только дожить до зари»). В стиле этих песенных строчек сохранилась преемственность с яркими и во многом счастливыми, оптимистичными и звучными стихами 80-х. Сравните «музыку» стиха:

**...Заиграет она, забагрянится,
в поле вешнем прогреет ростки... —**

и:

**И однажды в чаду одуревшей
от грохота площади...
словно древний припомнится миф...**

(«Два коня»)

Какие со-звучия!

Если осмыслить его поэтическое творчество 90-х, видишь, что он, как хроникёр или репортёр, не оставлял без внимания ни одной темы — не только в стихах, но и в обширнейшей газетной публицистике, здесь отразилась вся трагедия крушения нашего государства, многолетнего последующего, невероятно тяжёлого «выживания» разных поколений. Поэтическое творчество, вернее, способность творить поэзию в эти годы тоже подвергалась испытанию. Ведь потрясения и их мучительное переживание могут привести поэта к молчанию. Золотцев не молчал, утверждая, что нет страшнее ничего, «чем удущье от молчанья своего».

Золотцеву помогали выживать нерастратенные силы в области лирики, ведь именно лирика — сердцевина творческой вселенной поэта; а также помогали громадные ресурсы, заложенные воспитанием и университетским образованием. Золотцев не просто был поэтом. Он любил поэзию, как одержимый. В молодости, а затем и в зрелые годы он потрясал окружающих своей феноменальной памятью. Он много знал и постоянно читал других поэтов. Особенно — своих кумиров: Ивана Бунина и Сергея Маркова, а также — Заболоцкого, Блока, Мандельштама, Некрасова, Дилана Томаса (которого сам и переводил), реже — Пастернака, Бродского, которых он прекрасно знал, но критиковал и не боялся этого делать.

Он дружил в течение многих лет с плеядой потрясающих сибирских поэтов, в основном — своих ровесников. Сильные впечатления производят их переписка. Письма представляют собой обмен яркими жизненными впечатлениями, но, главное, — это настоящий мужской разговор о проблемах современной литературы и поэзии, обмен своими новыми

«нетленками» и критика, обсуждение творческих удач и неудач. Вспомним, что, начиная с 90-х годов, журналов стало множество, но тиражи их были такими ограниченными, что возникла, как некая неизбежность, разобщённость профессиональной пишущей братии по всей России. Поэты, сохраняя свои старые связи, старались преодолеть её общением на расстоянии. И, читая московские и сибирские журналы (присланные по почте!), видишь, как самобытны и оригинальны сибиряки, но широкого отклика ни на ту, ни на эту поэзию по всей России нет и уже не будет. Нет пространства поэзии, оно свернулось; нет читательского и критического «эха», которого так ждут поэты. Поэты превратились в невостребованных профессионалов.

С какой болью приходится говорить, что эти имена — Вишняков, Казанцев, Кобенков, — уже также стали историей. Поколение 70-х, к которому принадлежал и Золотцев, дети Победы, родившиеся во второй половине 40-х, оказалось поколением трагическим, оно ушло, не исчерпав своих жизненных ресурсов. А они были, и какие!..

Давно пора признать, что любовная лирика Золотцева — во многом совершенно самобытна. Вспомним, как, рассуждая от имени своего героя в одном из своих романов («Тень Мастера») о проблемах писательской «перестройки» в «злосчастные» 90-е, он с «белой завистью» описывает профессиональные успехи своей знакомой писательницы, которая неожиданно нашла себя в сфере эротических романов, легко добившись известности и материальных успехов в новые для литературы времена, причём это никак не отразилось ни на их дружеских отношениях, ни на добропорядочном облике самой удачливой коллеги.

Между тем любовные стихи Ст. Золотцева давно открыли путь в пространство этой волшебной страны — Любви-Эроса. Эта тема у поэта — многогранная, манящая, колдовская, глагольная, полная зовов, заклинаний и заклятий. Каждый раз, в каждом новом стихотворении она настолько живая, переживаемая по-новому, поэтому интригующая и как магнитом притягивающая. Волнующая тайна любовных стихов поэта Золотцева, очевидно, и заключена в их захватывающем эротизме. Какой критик может в этих стихах определить меру художественного мастерства, когда они с первых слов втягивают в некое головокружительное действо? Любовные стихи у Золотцева — один из самых мощных пластов

побеждает демиург — Поэт, так как именно он превращает множество историй любви в мгновения любви, явления преходящие, а затем они — его жестокой волей — складываются и превращаются в многоцветное мерцание вечности. Лирика превращается в музыку, её недостаточно читать «про себя», она должна звучать!

Лирика Станислава Золотцева кажется всеохватной по темам. Чем больше вчитываешься в одно стихотворение, проникаясь его глубиной, тем ярче возникает предчувствие новых открытий и откровений. В творчестве Золотцева сложилась система символов, воплощающих образы горячо любимой им малой родины — Пскова и Псковщины: звонницы, колокола, храмы, крепости, словенские ключи, цветущая вишня, в которой утопал когда-то тихий послевоенный Псков, сирень, рябина, смородина, кони, снегири, луговые травы...

Псковскую сирень Золотцев воспел во множестве стихотворений 70-х — 2000-х, среди которых и оды, и элегии, и романсы, баллады и вальсы. Некоторые из них положены на музыку местными композиторами, потому что очарование, ритмическое и звуковое, «Сиреневой песни» и «Осенней сирени» создаёт манищее ощущение лёгкости, с которой это можно сделать, ритм стихов словно «подсказывает» мелодии. Век-то у нас не «серебряный», банальность в цене... Сам Золотцев сетовал иногда, что некоторые музыканты, с энтузиазмом накидываясь на его стихи, слишком упрощённо понимают ритм и, вслед за этим, смысл текстов. (Пример тому — обманчиво-простой «Псковский мотив» — «...целовались мы с тобой».)

А вот уже другие стихи о сирени, «сиреневый сонет», — «Опять бушует псковская сирень, в распахнутые вваливаясь окна» — кажутся гораздо более самобытными с их неукротимым стремительным ритмом и весенним «рокотом»! А «Баллада о сирени», на мой взгляд, является очередным шедевром поэта. (В одном ряду с «Соколиной балладой» и «Словенскими ключами».) Игра стихотворных ритмов и вереница образов в неторопливом повествовании «Баллады» просто кружат голову своей красотой.

И вновь возникает иллюзия, что вы прочитали роман или печальную, полную любви повесть, к которой, как полагается, автор приложил сложный эпиграф из ранних изысканий самого же поэта на эту тему.

И невозможно удержаться от попытки превратить перечисленные стихи в «Сонату сирени», состоящую из четырёх частей:

Allegro («Сиреневая песня»):

**Вновь у каждого окна
Цвет кипит лиловый.
И земля пьяным-пьяна
От сирени новой...**

Adagio («Баллада о сирени»):

**И снова я везу в Москву из Пскова
в мешке льняном земное колдовство.
Сирень... сирень! — таинственное
слово:
певуч, как птица Сирин, свет его...**

Andantino («Осенняя сирень»), вальс:

**Как внезапно вспыхнуло тогда
В нас двоих сладчайшее горенье,
И мои осенние года
Запылали майскою сиренью...**

Allegro molto («Псковская сирень»):

**...чистейший по земле несётся шквал,
Сквозь камни к солнцу рвётся молодая,
Густая смесь мгновений и веков...**

Получилось ещё и невольное и красивое подражание Чюрленису, с его живописными «сонатами»... Но согласитесь, что живописность, красочность, владение внутренним пространством стиха — это неотъемлемые свойства стихотворных произведений Станислава Золотцева.

МЕТЕЛЬНЫЙ МИР В ПОЭЗИИ СТАНИСЛАВА ЗОЛОТЦЕВА

Станислав Золотцев вошёл в поэзию в семидесятые годы. И уже тогда, с первых публикаций в центральных литературных журналах, он привлёк внимание читателей мощным звучанием своего поэтического голоса. В его многочисленных выступлениях природная сила и звонкость голоса, помноженные на внутреннюю взрывную энергию его стихов, неизменно покоряли слушателей.

В стихах Золотцева, в игре слов и выражений постоянно «вспыхивают» ассоциации с образами его любимых русских поэтов, оживляя прошлые эпохи. Его поэзия претендует на всеохватность, всеобщность. Она откликается на «злобу дня» и обращается к вечным темам. Здесь много ярого солнца, огня, костров, гроз, жгучей радости и жгу-

чей боли, полыхающей любви, бушующих цветущих садов, опаляющих звёздно-синими пожарами зим, жар-птиц, мятежных, бредящих любовью соловьёв. В ранних стихах — в «каждой росинке» полыхает солнце, а в поздних — ночное небо вспыхивает, как «тысячеглазый Аргус».

И на пересечении многих тем у него, «солнечного» и «огненного» поэта, становится сквозной, проходящей через всё его не только поэтическое, но и прозаическое творчество, — тема метели. Метельная зима, метельная Россия, метельная Родина.

Эта тема рождается не случайно.

Пушкинская метель — как символ и образ России и русской жизни, отражение русского ума и русской души XIX века — в XX веке нашла воплощение в великом творении Георгия Свиридова, в его музыке к кинофильму «Метель».

**Парит метель в моей стране:
Весь год метёт она — и даже летом
Кружится пух. А по весне
Заметены сады вишнёвым цветом.**

**И снегопад, и звездопад,
И золотой листвы летучий терем...
Звнящий свет, мятежный взгляд...
И сердце русское горит в метели!.. —**

это стихи Золотцева на музыку знаменитого романа из «Метели».

Результатом увлечения пушкинско-свиридовской темой стали многочисленные очерки, юбилейные статьи, напечатанные в журналах и сборниках конца прошлого и начала нынешнего века. Роман «У подножия Синичьей горы» был опубликован в 90-е годы XX века в «Роман-газете», а в 2013-ом — вышел книгой в Пскове и Москве.

Станислав Золотцев неизменно восторгался музыкой и личностью композитора Георгия Свиридова, и в своём творчестве искал всё новые и новые приёмы, чтобы запечатлеть этот вечный пушкинский, ставший музыкальным, «метельный» образ.

Поэт родился и значительную часть своей жизни прожил и проработал в Пскове, на Псковщине, на *пушкинской* земле, и ещё поэтому обращение к этой теме он ощущал как призвание. Но одно дело — эксплуатация темы в многочисленных транскрипциях, аранжировках, вариациях. И другое — когда тема становится *своей*.

И, похоже, Станислав Золотцев нашёл свою «золотую жилу».

**Метель навек! Метель — повсюду.
И над серебряным родным простором
Звенит-поёт живое чудо —
Свеча любви моей — Святые Горы!**

**Метель — судьба, метель — подруга,
В морозной нежности, в разгульной
силе
«Оставьте мне метель да вьюгу...»,
Да песню вольную в полях России.**

**И смерти нет сердцам людским!
И дышат радостью снега и взоры,
Когда влюблён, когда любим,
И сквозь метель видны Святые Горы...**

Для поэта Золотцева эта интонация восторга и восхищения — естественна, как для человека, родившегося с красивым, самой природою поставленным голосом. Образ метели в этом стихотворении — многокрасочный, «радужный», праздничный, радостный для русской души — это и есть, на наш взгляд, «золотцевская» находка...

«Метельная» тема и «метельные» мотивы зазвучали, замерцали, зазвенели, запели в его стихах:

**За тридцать морозы,
а почва почти без покрова.
Давно не бывало такого у нас января...
Лютует зима наступившего года
шестого,
Грядущее лето бесплодем дая...**

**... Нет, небо запенится
звёздно-пушистым цветеньем,
И наземь падёт, и спасёт нас
от губельной тьмы
Метелью свиридовской,
пушкинской дивной метелью,
Мятежною песнею
сказочно-русской зимы...**

В следующих строчках образ метели ассоциируется с затянувшимся смутным состоянием души, с разочарованием:

**Завтра весна, хоть сегодня
метелью заносит
Землю мою и неладную душу мою...**

А здесь — метель-кутерьма становится воплощением души, охваченной радостью новой любви:

**Ах, какая нынче знатная зима
Прозвенела над моею головою!
Ах, какая молодая кутерьма
Сердце мне заволокла немолодое...**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ ШОРИЯНКИ

Вспоминаю весенний день апреля 1994 года. На Сыркашинской горе под Междуреченском на шорском национальном кладбище хоронили Андрея Ильича Чудоякова. Заведующего кафедрой шорского языка и литературы Новокузнецкого пединститута, ученого, человека, сделавшего очень много для возрождения национальной культуры и сохранения своего народа.

Среди провожающих — и группа студентов пятого курса — студентов, которых набирал для обучения сам Андрей Ильич, с которыми связывал свои надежды. Среди студенток обращает на себя внимание худенькая, стройная девушка с большими внимательными глазами.

Это и есть Люба, Любовь Никитовна Арбачакова, сегодня — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института филологии СО РАН, член Союза художников и Союза писателей России, героиня моего небольшого очерка.

Не берусь судить о Л. Н. Арбачаковой как о художнике, хотя с огромным удовольствием смотрю ее картины, а вот как о поэте позволю себе немного сказать. В основном буду цитировать стихотворения из ее последней книжки «Песни шориянки» (2011 г.). Сборник составлен из коротких стихотворений, самое большое — из десяти строк, самые маленькие — из двух-трех, в большинстве своем напоминающих японские хокку. Япония здесь, возможно, кстати, как замечает в предисловии к сборнику новосибирский поэт Владимир Берязев, «представляется очевидно правдивой легенда японцев о том, что их предки когда-то вышли из пределов Алтая».

Какого-то отчетливого принципа расположения стихотворений в сборнике нет, писались, видимо, как вырывались из души,

поэтому я позволю себе сгруппировать их по некоторым основным темам: автобиографические, личностно-философские, природно-философские, фольклорные, художнические, навеянные современностью и — самая большая группа — рисующие внутренний мир лирической героини, автора-женщины.

Подчеркну, что деление это чисто условное, т. к. сборник очень цельный, яркий, непринужденно-личный и открытый, искренний. Кошунство это я себе позволил только с целью установления какой-то последовательности в рассказе.

В свое время В. Маяковский правильно утверждал: «Поэзия вся — езда в неизвестное». Это «неизвестное» — все вокруг нас и в нас — от космоса до внутреннего мира человека.

«Я знаю все — но только не себя», — утверждает другой великий поэт. Устремленность к духовному познанию мира и себя в мире, без сомнения, определяет пафос лирики Л. Арбачаковой.

Для выражения этой устремленности бог дал ей редкое двойное дарование — талант художника и талант поэта. Талант художника в ней, очевидно, сильнее. Сама она об этом говорит так:

**Нежданно навалилась тоска.
Мысли горькие одолели...**

.....

**Давно бы тоска скрутила меня,
Когда б не моя живопись.**

Говорит она и о приходе поэтического вдохновения:

**Сердце мое встрепенулось:
Причитания народа послышались.
Это значит,
что время стихов наступило.**

Первооснова ее поэтического творчества — это глубоко диалектическое восприятие жизни. Оно идет от веры предков в существование двух миров — мира Ульгена и мира Эрлика, или, по-христиански, Бога и дьявола, в нерасторжимую слитность этих миров.

**Не торопись уходить
Туда, откуда возврата нет.
Ведь между «здесь» и «там»
Нет никаких границ.**

Отсюда убежденность в том, что жизнь складывается из единства противоречий, она не однобока и не однолинейна, она не сводится к страданиям и боли, и уж тем более к бездумному потребительству и наслажденчеству. Главная ее ценность — это душа, это то внутреннее, живое и сложное, чем должен жить человек.

Главное средство выражения этого сложного внутреннего мира человека, сложного вечно живого мира природы в лирике Л. Н. Арбачаковой — это метафоризм ее поэтического мышления. Б. Пастернак называл метафору «скорописью человеческого духа». Белинский говорил о «неуследимой глубине художественного образа». Без метафоризма поэтического мышления и образ бы не состоялся. Но метафора метафоре рознь. Есть такие, в которых автор «вокруг смысла оригинальности пушей для дает гигантского кругаля», а есть — рожденные жизнью и органичные, как дыхание.

Метафоры в большинстве стихотворений Л. Арбачаковой мгновенны, интуитивны и тем самым оставляют читателю просторное поле для домысливания и дочувствования, стимулируя сотворчество.

Оцените, как много сказано на языке души:

**По земле родного аала
Босиком пробежалась.
Теперь и душа, и ноги в занозах...**

Или еще:

**Ты ушел, хлопнув дверью,
Как всегда, меня не дослушал.
Мне вспомнилось наше детство...
Ах, с каким удовольствием
Одна старуха-шаманка
Трубкой своей дымила.**

**Каким же маняще-сладостным
Был запах дымившей трубки
У старой соседки-шаманки
В нашем далеком детстве!**

А вот стихотворение о погибшей сестре:

**Избыть беду
По улице бреду.
Спина напряжена,
И сердце никнет:
Вдруг кто-то
Именем твоим
Меня окликнет?**

Какая экономность в словах, но как полно передана трагедия! И эта деталь внешнего облика: «спина напряжена» в сочетании с метафорическим выражением душевного состояния: «сердце никнет»... Не упустим и его звуковую организацию первого двустопия — с преобладанием звонких взрывных согласных «зб... бд... брд...» оглушенного сознания. Своего рода лирический микрошедевр. Мы не только почувствовали горе этой женщины, мы ее еще и увидели.

Вот еще две словесные зарисовки, которые может сделать только художник:

**Случайно
В горной речке
Поймала
Я солнца взгляд.**

**Взгляда не отведу,
Даже если ослепну:
Миг счастья!**

И:

**Я камушек бросила солнцу
В гладь речную.
Солнце встревоженное
Долго не могло успокоиться.**

Стихотворения могут быть буквально пронизаны светом, цветом, и через эту гамму меняющихся красок возможно передать состояние души:

**С восходом желтого солнца,
Светлое платье надев,
Жду твоего письма!**

**Красный вечер вручил мне записку...
Уставшее солнце за гору село,
И яркое платье мое померкло.**

В краткой, но очень насыщенной мыслию, высокопрофессиональной статье «Живопись Любви Арбачаковой» Лариса Ларина, директор Новокузнецкого художественного музея, говорит о синкретизме фольклора как вида искусства. Помимо такой его составляющей, как искусство слова, существует еще и пластический фольклор. «Связь этих видов народного творчества очевидна, она имеет глубокие корни в народном мировоззрении, мировосприятии и мироощущении, — пишет исследовательница. — Поэтому вполне

логично и естественно было обращение Арбачаковой от вербального фольклора к пластическому... Различие этих пространственных и временных искусств не допускает полного перевода смысла, но он и не нужен, наличие непереводаемого становится смыслообразующим фактором». * Концептуальная мысль как для понимания живописи Л. Н. Арбачаковой, так и ее поэзии. Вспомните и вслушайтесь в такие, например, пятистишия:

**Осенним холодным утром всегда
Сквозь туман на реке Мрассу
Конь белогривый
Все мчится куда-то —
Но доскакать не может.**

И еще:

**Лодка любви
Тихо плывет по Мрассу...
Лишь где-то крылатая рыба,
К небу рванувшись,
Исчезает снова в синей бездне.**

Всегда остается недоговоренность, за которой нечто скрытое, тайное, недосказанное.

Уместно будет сказать, кстати, как сам автор картин и стихов отзывается о себе. Вот две самооценки:

**Я — художница,
Я — поэтесса.
Но... во всём —
Дилетантка.**

И:

**Многое мне сегодня дано.
Есть компьютер, чтоб стихи набирать,
Разные краски, чтоб картины писать.
Но...
шедевры не получаются.**

Заверим, это не кокетство. Это и есть тот святой огонь недовольства собой, который делает художника художником. Есть и такое стихотворение, выражающее авторское кредо:

**Я художник, поэт,
Почти взнуздала коня-облако!
Пусть кто-то на этой земле
Крепко держит мой повод.**

Этот «кто-то» — и есть тот высокий нравственно-художественный критерий, который не позволяет терять чувство реальности ни в творчестве, ни в жизни.

* Ларина Л. Живопись Любови Арбачаковой // «Возвращайтесь домой, богатыри!». — Кемерово, 2004. — С. 7.

Выше уже говорилось о диалектике и многогранности восприятия жизни в стихотворениях Л. Н. Арбачаковой. Интересно понаблюдать, как эта важнейшая особенность ее лирики диктует композицию ее лирических миниатюр.

В свое время еще Л. С. Выготский уподоблял стихотворения летательным аппаратам легче или тяжелее воздуха. Одни, подобно надувным шарикам, существуют только за счет своей «поэтической» темы. Другие, подобно самолетам, преодолевают энтропию отражаемой в них житейской прозы внутренней энергией стиха. Энергия эта и рождается из столкновения в стихе двух противоположных смыслов. Столкновение это создает живой и сложный итоговый смысл стихотворения.

В большинстве лирических миниатюр Арбачаковой, даже на минимальном словесном пространстве, происходит это столкновение, рождающее авторское видение, часто очень своеобразное и всегда очень многомерное.

Стихотворение может быть, на первый взгляд, чисто бытовой сценкой:

**Мне свекровь моя с радостью
Показала свою обнову.
Между делом сказала:
«Это чтобы ты знала,
В чем меня хоронить!»**

Может быть жизненным раздумьем:

**Я в мае родилась.
По-шорски — кандыкам цвести.
По-русски — вечно маяться.
По жизни — беды и цветы
переплетаются.**

Может таить много невысказанного в однообразных буднях:

**Сию одиноко в многоэтажке.
За окном — грохот машин.
Ты вернулся с работы,
Молча включил телевизор...**

Еще один день пропал!

Может содержать своеобразно переосмысленный, сниженный традиционный фольклорный мотив:

**По лунной Мрассу
Твоя лодка летит ко мне.
Навстречу рванувшись,
Угодила я в грязную лужу!**

Может касаться и сложных вопросов веры и притягивания/непритягивания жизни:

**Шаман камлает неистово,
Пытаясь излечить мою душу...
А в переднем углу его дома
лучится
Печальный лик божьей матери.**

И:

**В мире ином я согласна на рай,
И даже на ад...
Лишь бы не снова на землю!**

Чаще всего, как видим, концовка стихотворения может вступать в противоречие со всем стихом или бросать на него неожиданный свет, углубляя тем самым все суждение.

Интересен еще один штрих к творческому портрету. Поэтического отклика на темы и проблемы современности в сборнике практически нет, как и в живописи Арбачаковой. А те единичные, что в сборнике встретились, выдержаны в очень сдержанном ироническом тоне.

**Издаю ко мне
Долгожданная подруга приехала!
При всех не рискнула
Расцеловаться —**

Нынче ведь все переименовано...

И такая вот замечательная психологическая миниатюра:

**Ты знаешь,
Он так наивен!
Позвонил
И в кино пригласил...**

Замечателен и образ лирической героини, вобравший в себя и черты личности автора, и черты вообще женские. Образ этот динамичный, живой, полный противоречий и очень по-женски логичный. В основе его, конечно, сознание своего очарования, но и оно чуть-чуть иронично:

**Мои подруги, суетясь,
К конкурсу Кен-Кыс готовятся,
Мечтают о короне красы Шории.
Я не готовлюсь к конкурсу,
Мне быть там не обязательно,
Ведь и без того я — красавица.**

Любовь для такой природы — главное условие жизненной гармонии и счастья.

**Позволь полюбить тебя.
Не дай разочароваться!
Когда я с тобой —
Земля роднее становится.
И продлевается жизнь моя.**

И снова поражает изобразительная сила:

**Милого ожидая,
На стук дверей
Всю ночь выбегала —
Лишь грубый ветер
В объятья меня принимал.**

Героиня отличается трепетностью, чувственностью, горячим желанием быть с любимым человеком. Но тут же — высокое чувство собственного достоинства, природный ум, трезвость суждений и о себе, и о возлюбленном, большая внутренняя сила и эта спасительная ирония в оценке себя, своих чувств, других людей, любимых, любивших и просто чем-то интересных.

**Ночью мне не спалось
Я вспоминала тех,
Кто хоть однажды в меня влюблялся...
Никого не припомнила.**

И снова поражает изобразительная сила слова, данная поэту-художнику и художнику-поэту:

**Вспорхнула красавица юная,
Только косы взметнулись крыльями!
...Прежних своих волос больше
не отращу,
Как осенняя трава, они хрупки.**

Когда она изредка касается интимных сторон любви, как касались их народные сказители-кайчи, она и тут остается верна своей манере — соединять высокое и низкое, духовное и материальное, повседневное и праздничное.

Любовь Арбачакова — двуязычный поэт, она прекрасно владеет и шорским, и русским словом и тем самым выводит культуру своего малого народа в широкое русло культуры России.



«ТЫ ДАЛ МНЕ ДАР: ЖИВОЕ СЕРДЦЕ...»

Станислав Минаков. Невма. Стихотворения. — Новосибирск: Библиотека журнала «Сибирские огни», 2011. — 128 с.

Начальные строки первого стихотворения книги Станислава Минакова «Невма» («Так молись, — говорит, — чтоб в груди ручеек журчал...») можно воспринимать как своего рода духовный посыл, определяющий состояние души «внимающего» читателя этой книги. Однако же «так молиться» — это либо Божий дар, либо результат несуетного, самозабвенного, каждодневного труда. И потому пока что —

**Хоть сто раз напоказ повторяй-учи,
а душа, как Герасим, — своё мычит.
Сделай милость, журчи в груди,
ручеек, журчи!**

Не журчит.

Молчит ручеек... И от безмолвной, тёмной души, как от немого тургеневского Герасима, послушного жестокосердной барыне своей, ничего доброго не дождётся.

Но поэт верит в преображение жизни молитвой.

В определенном смысле автор представил читателю некий свод — сказов, припевок, песенок, баллад, элегий, стансов. И название для этой книги стихов подобрано подходящее: слово «невма» — средневековый музыкальный термин, означающий знак для записи мелодий и законченную музыкальную фразу, мелодию-модель, характерный способ распева того или иного церковного песнопения. В обширной статье «Можно дышать и тут» («Октябрь», № 7, 2011) Е. Гофман подробно анализирует связь со средневековым лексиконом всего «пятикнижия» Минакова («Имярек», «Вервь», «Листобой», «Хожение», «Невма»).

Большинство произведений книги «Невма» составили своеобразные стихи-апокрифы, интимные, сакральные, молитвенные откровения, не требующие аккомпанемента. Поэт-христианин словно бы «высказывает» свой нутряной голос, мастерски используя церковнославянскую лексику, погружая читателя в исторический контекст своих раздумий, заставляя преклонить главу перед современным Бояном.

Е. Гофман справедливо отметил, что «тяга этого автора к постижению глубинных, сакральных начал бытия роднит его творчество с поисками таких крупных современных мастеров, как Ю. Кабанков, С. Кекова, Ю. Кублановский, Г. Русаков». К этому списку я бы добавила еще несколько имён: О. Чухонцев, А. Кушнер, М. Кудимова, А. Ивангер.

Религиозного лирику С. Минакова отличают, с одной стороны, по-детски прозрачная и местами наивная первозданность и архаичность в восприятии Божьего мира, с другой — чёткий ориентир на святоотеческую мудрость и просветительский долг.

Минаков обращается к своему русскому (а иногда и древнерусскому) нутру, извлекая из него не то чтобы ответы на вопросы — скорее, слова для обретения равновесия.

Поэт здесь похож на странный музыкальный инструмент — эолийскую, или гармоническую, арфу, — позволяющий стихии ветра в себя дудеть, играть и петь, не требующий контакта с руками человека.

Минаков воспевает животворящую силу мощей святых отцов, «зрячьсть» слепого ашуга, чей голос находит созвучные ему сердца в ночи. В Сурожи ему грезится «в огне преподобный Парфений, / сожжённый татарами здесь...». Глазами истинного ценителя русской культуры поэт смотрит на живописные полотна художников и поёт их тоже. Таковы его «Алёнушка. Васнецов», «Венецианов. Крестьянка с васильками», «Алексей Саврасов. Грачи прилетели».

Вот почему для описания минаковского словесного шитья слово «мотивы» представляется неуместным. Когда изнутри неосознанно и неотвратимо вырывается музыка, то это — не мотивы, а произвольный звук души, не знающей ни своего возраста, ни расценок на песенный товар.

Наитие автора «Невмы» — особенное, жреческое, порой полублаженное, однако об этом поэте можно сказать и так: вмняем и трезв, как насельник монастыря во дни Великого поста.

«Тот, кто спал, обнимая святые гроба, кто по капле в себе прозревает раба...», — пишет С. Минаков в начале стихотворения «Ночлег в Оптиной пустыни». Поэт именно «прозревает» в себе, а не по-чеховски выдавливает из себя раба, ведь речь идёт не о презренном рабе — но о рабе Божьем. С помощью таких тонких стилистических смещений духовная

поэзия деликатно, по росинке, по дожде, возвращает в сознание современников подзабытые или вытоптаные сапогами истории зёрна христианского мышления.

**Я постным становлюсь и пресным,
простым, бесхитрым и ясным.
Отдавши дань мослам и чреслам,
я возвращён к воловьим яслям...**

В, казалось бы, коммерческом и уже поэтому остывшем выражении «долевое участие» поэт снова выделяет корень, говоря о доле, а в сердце слышит пульс необъятной Христовой любви:

**Ты дал мне дар: живое сердце,
вмещающее всё живое, —
мерцающую веры дверцу,
в любви участие доле.**

**На свадьбу в Галилейской Кане
я вышел, словно на свободу,
нетерпеливыми глотками
я пью вина живую воду...**

Простых ясных слов вполне хватает поэту для усиления впечатления от прикосновения к святыне в стихотворении «Про Ульяну Дроздову»:

**Ульяна стояла, и солнце росло
в волосах.
В ларце проплывал —
словно по небу — Иоасаф
Святитель сквозь Белгород,
между сердец и глаголов,
и к Иоасафу Свой лик приклонял
Саваоф.**

**По Преображенской,
по Троицкой, Троицкой, Тро...
И звон колокольный вникал
целодневно в нутро
скитальцу любому, что света
полжизни искал...**

Разве не чудесно это поэтическое бормотание про «Тро...»? В него включены и Троица, и звук очищающий, и царственность трона, и корень чуткого глагола «тронуть». Героиня стихотворения, написанного в мае 2010 г., — прабабка Станислава Минакова Иулиания Дроздова, ставшая в далеком 1911 г., 4 (17) сентября, свидетельницей обретения мощей св. Иоасафа в Белгороде.

В произведениях С. Минакова выражено неподдельное и понятное чувство трагического сиротства и одиночества, особенно сильно болящее в России. Есть милая старина, но при этом нет никакой украшательской стилизации, которой не доверяешь.

С горечью наблюдает поэт картины возрождения нации: «уходят люди в несознанку — / в глухую оторопь, в кретины». Тем не менее в предсказание автора «Невмы» (или предупреждение?) о мрачной будущности самого сердца народа — его языка — верить не хочется: «Русский язык преткнётся, и наступит тотальный хутор». Будем считать антитезой мраку строчки, завершающие эту книгу: «И продлится — как светоч — несокошенный сумраком Логос, / меж любовью и смертью качаясь на кончике бритвы».

Тому же скитальцу поэт предлагает отыскать на небе звезду своей матушки родимой, чьи молитвы в сознании Минакова как будто бы соотносятся с благословением Матери Божьей. Вот как душевно поётся об этом в стихотворении «Никакой надел не хочу делить»:

**Много-много звёздочек в небесах.
Отчего же матушку жальче всех?
Погляди, скиталец, сквозь сор
метельный.
И видна ли зиронька, не видна,
Но хранит тебя лишь она одна.
Как един, на ниточке,
крест нательный...**

Подкупает в поэзии автора «Невмы» и естественность, отсутствие надрывного плача о Руси. О ней не надо плакать, её надо разгадывать, постигать.

**Этот мир — золотой. Подступивший
так явственно, близко,
Но, как тайная тайна,
в светящийся кокон свитой...**

Трепет перед тайной... А тайна не есть ли Он? И это всё... о Нём?

Поэт чующий точнее поэта определяющего, поскольку дальше от рассудка и ближе к сердцу...

Когда Гоголя спросили, воскреснут ли «мертвые души» в финале второго тома, писатель загадочно улыбнулся и ответил: «Если захотят».

Зульфия АЛКАЕВА

АВТОРЫ НОМЕРА

Агаманов Геннадий Иванович родился в 1950 г. в городе Бийске. Член Союза журналистов России. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

Балков Ким Николаевич родился в 1937 г. в станице Большая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия. Окончил Иркутский государственный университет. Член Союза писателей России с 1971 года. Автор более двадцати книг прозы. Лауреат Государственной премии Бурятии. Живет в Иркутске.

Казарин Юрий Викторович родился в Свердловске в 1955 г. Автор нескольких книг стихов и монографий, посвященных исследованию поэтического текста. Доктор филологических наук, профессор. Живет в Екатеринбурге.

Креков Виталий Артемьевич родился в 1946 году в Бийске. Работал на стройках. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Сибирский тракт», «Огни Кузбасса». Автор четырех поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Лаптева Татьяна Александровна — музыковед, композитор, музыкальный критик. Автор вокальных, инструментальных, хоровых произведений, опубликованных и исполненных в разные годы. Дипломант международных и всероссийских музыкальных и театральных конкурсов. Член Союза композиторов России. Живет в Пскове.

Петров Виктор Михайлович родился в 1949 году в Томске. Окончил Томский государственный университет, историко-филологический факультет. Совершил пятнадцать исследовательских экспедиций по Чулыму, Чети и Кие; участник археологических раскопок в Минусе, Барабе, Притомье и на Оби. Автор ряда поэтических книг и книг о Древней Руси и о русских религиозных мыслителях. Член Союза писателей России.

Стручкова Нина Николаевна родилась в 1955 году в деревне Погореловка Моршанского района Тамбовской области. Окончила Литературный институт имени Горького. Автор поэтических книг и множества публикаций в периодических изданиях, коллективных сборниках и антологиях. Член Союза писателей России.

Чванов Михаил Андреевич родился в 1944 году в деревне Старо-Михайловка Салаватского района Башкирии. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Автор более 20 книг прозы и публицистики. Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом Почета. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Уфы, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, президент Аксаковского фонда, директор уфимского Мемориального дома-музея Сергея Аксакова, лауреат Большой литературной премии России, премий имени Константина Симонова и Сергея Аксакова.

ВНИМАНИЕ!

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «**СИБИРСКИЕ ОГНИ**» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров или в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА уведомляет авторов, что к рассмотрению принимаются только рукописи, выполненные на компьютере и распечатанные на принтере, с обязательным приложением CD-диска, либо присланные по электронной почте, ранее нигде не печатавшиеся и исполненные без грамматических ошибок – согласно нормам и традициям русского языка. Вместе с текстами присылать краткие биографические данные для рубрики «**Авторы номера**». По электронной почте принимаются тексты объемом не более 10 а.л. (400 000 знаков).

**630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, а/я «Сибирские огни»,
тел.: 8-903-901-1644, e-mail: sibogni@sibogni.ru,
сайт: www.сибирскиеогни.рф**

Сдано в набор 12.02.2014 г. Подписано в печать 31.03.2014 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п.л. 18,2. Тираж 500 экз. Заказ №